

АНАТОЛИЙ

МАРКУША



ОБЛАКА

ПОД

НОГАМИ



ОБЛАКА ПОД НОГАМИ



ПОВЕСТЬ

P2
M27

ОБЛАКА ПОД НОГАМИ

АНАТОЛИЙ
МАРКУША

ПОВЕСТЬ
И РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
1969

10522

Биржеское
издательство

Жизнь складывается из многих дней.

Ромен Роллан

О том, как начиналась жизнь, и
о том, для чего написана эта книга

Комната большая и жаркая. Собственно, большая не вся комната — только потолок — целое поле, желтоватое, в змеящихся трещинах, с обитой лепниной на краях. И еще запомнилась лампа. Не очень яркая, прикрытая металлическим абажуром; лампа чуточку покачивается и горит каким-то странным радужным светом.

Пола я не вижу и мебели тоже, а от стен вижу только верхушки. Как ни странно, но верхушки колеблются, плавно и редко... Это потому, что мама баюкает меня на руках.

Мне три года и вообще-то баюкать такого здоровенного парня не полагается, но я болен. Чем — не помню. Знаю только, что болен сильно и, кажется, давно. Мне все время жарко, очень хочется пить и еще больше хочется вылезти из одеяла. Плакать не могу, нет сил плакать, и по-

том что-то случилось с горлом. Горло шершавое и сухое. Пожалуй, это самые первые связные ощущения. Ими начинается жизнь.

Мама подходит к окну. Окно до половины затянуто ледовым узором: на стекле нарисованы звезды, будто сахарные, и еще лес, тоже сахарный, и сахарные птицы. Все сплелось и перекрутилось, как нитки в кружеве. За окном заснеженная улица. Очень белая, наверное, очень холодная и очень странная. Там, где всегда ходят трамваи, — черная плотная лента людей.

Идут, идут, идут... Бесшумно, медленно. Над людьми облачка пара, неподвижные, застывшие.

— Куда все идут? — спрашиваю маму.

— Что ты сказал?

— Куда все идут?

— Ленин умер, — говорит мама. — Идут прощаться.

— А Ленин — это кто? — спрашиваю я.

— Ленин — вождь, — говорит мама.

Раньше я никогда не слышал слова «вождь» и не понимаю, что это слово значит, но мне почему-то делается страшно. Может быть, потому, что с улицы не доносится никакого шума. Черная лента медленно, еле заметно скользит по белому снегу; над людьми стынет пар...

Я стараюсь заглянуть в мамино лицо. Вижу только глаз — карий, большой, влажный. Мама не смотрит на меня, она смотрит за окно — на людей, что бесшумно идут к Ленину.

И тут гаснет свет, исчезает потолок, исчезаю я сам... Исчезаю надолго, чуть не навсегда.

Врачи с трудом отходили меня.

Так начиналась жизнь.

Было это давно, больше сорока лет назад.

И вот теперь, оборачиваясь к прошлому, я думаю о моих молодых читателях, о друзьях-сменщиках, о сегодняшних мальчишках и девчонках, которым 1924 год кажется годом чуть ли не «древней истории»...

«Ну, сейчас начнет: в наше время не такая молодежь была... Мы семнадцатилетними уходили на войну...»

Если ты думаешь так или примерно так, спешу предупредить — ошибаешься! Меньше всего я собираюсь докучать поучениями, наставлениями, лезть со своими советами.

Повесть моя о воспитании чувств, о событиях подлинных,

иногда более, иногда менее значительных, о том, что было, и о том, что непременно всегда бывает.

Я не стану рассказывать историю целой жизни день за днем, событие за событием, хочу поделиться только самым острым житейским опытом, хочу рассказать, как мальчишка стал летчиком, какие ошибки совершал в жизни, как справлялся с собственными промахами, как медленно и не легко поднимался от зеленой нашей земли к белым облакам, как перешагнул за эти облака, как узнал радости и огорчения и нашел свое счастье...

Ни одной строкой повести я не собираюсь утверждать: «поступай так» или, напротив, «так не делай ни в коем случае». Просто, прожив уже порядочно на свете, я, как мне кажется не без оснований, могу предположить: если так было с одним человеком, то так может случиться и с другим. Вот я и решил предоставить в распоряжение читателя свой жизненный опыт, предоставить для того, чтобы читатель мог оценить, критически осмыслить, что называется, «намотать на ус» факты и сделать собственные выводы.

Понимаю — не каждый стремится стать летчиком, и это вполне естественно. Но уверен — у каждого должны быть свои зовущие вдаль облака, высокие, труднодостижимые, манящие, порой ласковые, порой суровые. Без таких облаков жизнь превращается в унылое и утомительное существование.

Всем друзьям-читателям я желаю высоких облаков и верного курса к счастью. Если же мой опыт, вложенный в эти страницы, поможет кому-нибудь хоть раз выкрутиться из затруднительного положения, подскажет хоть одно разумное решение, предостережет хоть от одного бесполового шага, я буду считать, что жизнь наградила меня еще одной большой радостью.

Пожалуй, все, что я собирался сказать вместо предисловия, сказано, но, прежде чем продолжать повесть, мне хочется еще привести здесь мудрые слова замечательного человека и одного из самых удивительных наших писателей, Юрия Карловича Олеси: «Быть человеком трудно». Да, трудно! Не обольщайтесь, знайте наперед — вам, точно так же как и тем, кто жил до вас, будет много раз трудно в жизни. Не огорчайтесь, не охайте, не ропщите на судьбу, ведь в кон-

це концов самая замечательная способность, что дана человеку, — это способность к преодолению трудностей, покорению преград, короче — борьба и победа!

А теперь я возвращаюсь к истокам жизни.

О жуке, деловом человеке и ужасном происшествии со сметаной

В ту далекую пору мне было без чего-то пять или, может быть, пять с чем-то. Великолепное время! Начало познания огромного, удивительного, полного таинственных превращений мира. Я уже знал, что за штука автомобиль; не раз видел в полете большую неуклюжую птицу — самолет; умел разговаривать по телефону и краем уха слышал, что есть на свете такой аппарат, по которому слова и музыка передаются вовсе без проводов.

С предметами неодушевленными все обстояло довольно просто: новые понятия — большие и маленькие, повседневные и редкостные — входили в жизнь, занимали определенные, отведенные им места и не очень волновали воображение.

Не знаю, может быть, я рос недостаточно любопытным, может быть, бог не наградил меня технической жилкой, но так или иначе тогда я ни у кого не спрашивал, почему ездит автомобиль. Сделали — вот и ездит. Меня не беспокоило, почему летает самолет. Самолет — как птица, вот и летает...

Гораздо труднее было постигнуть мир существ одушевленных.

Например, я отчетливо понимал: коровы выдуманы для того, чтобы давать людям молоко. И был очень удивлен и до крайности перепуган, когда пестрая Катька без всякого предупреждения взяла и приперла меня к забору. За что? Я ведь не сделал ей ничего плохого! Хотел погладить, а она почему-то разозлилась...

Еще труднее было разобраться в поступках людей. Про одного знакомого бабушка говорила: «Он — жук».

Но Михаил Григорьевич, высокий, сухой, лысый, совсем не походил на жука. Я спросил:

— Почему вы жук, Михаил Григорьевич?

Он ужасно покраснел, обозлился и тоже спросил:

— Кто это сказал такую глупость?

— Бабушка сказала. И мама так говорит. И тетя Рая...

Михаил Григорьевич заморгал, глубоко и шумно вздохнул, а потом — что было уже совсем странно — громко хлопнул дверью и навсегда покинул наш дом.

Но этим еще ничего не кончилось! Он ушел, а бабушка, мама и тетя Рая принялись меня ругать.

— Ужас! При этом ребенке нельзя слова сказать.

— Пора бы поумнеть и не болтать, чего не понимаешь...

Меня воспитывали долго и дружно. Но я так не понял самого главного: за что? Сами всегда говорили: «Михаил Григорьевич — жук» — и ничего, а я только раз сказал — и уже раскричались...

Разве я чего-нибудь наврал? Или чего-нибудь перепутал? Ох и трудно было маленькому человеку понять взрослых! И наверное, поэтому хотелось поскорее вырасти...

И еще мне не давали покоя слова: деловой человек.

Дело — понятно, человек — тоже, а деловой человек никак не хотел укладываться в сознании.

Однажды утром мама сказала:

— Держи горшок, держи двадцать восемь копеек, ступай в лавочку (тогда еще были частные лавочки) и на все деньги купи сметаны. Понял? Ты уже большой, пора становиться деловым человеком.

Я был очень доволен. Во-первых, всегда приятно, когда тебя называют большим; во-вторых, я надеялся, наконец, понять, что ж это такое — деловой человек.

Улица была голубая. Деревья — нежно-зеленые. Солнце раскалилось до полной белизны, и только пушистые, будто взбитые из мыла, облака казались белее солнца.

Мне было хорошо на голубой улице, под нежно-зелеными деревьями, под пушисто-белыми облаками. Я прыгал то на одной, то на другой ноге и пел какую-то дикарскую песню без слов и без мотива.

Вот и лавочка. Я дернул за дверную ручку, где-то внутри зазвенел колокольчик. Странно, я и раньше слышал этот звон, когда приходил с мамой или бабушкой за молоком, но на этот

раз звон показался совершенно особенным. Колокольчик сказал:

— Здравствуй! Рад тебя видеть!

И я ответил:

— Здравствуй! Я тоже рад тебя слышать. — После этого я смело вошел в лавочку. Здесь все было белым-пребелым: пол, потолок, стены. И продавец был тоже белый — в широком жестком халате, совсем как доктор.

— Добрый день, — сказал я продавцу (так учила мама). — Пожалуйста, взвесьте мне сметаны на двадцать восемь копеек. — Я приподнялся на цыпочки и осторожно поставил горшок на гладкий мраморный прилавок.

Продавец зазвенел гирьками, ловко сманеврировал большой ложкой и пододвинул на край стойки полный горшок сметаны.

И тут произошла катастрофа.

Только теперь я вспомнил, что деньги — двадцать восемь копеек без сдачи — лежат на дне горшка...

Ну и что же? Продавец меня знал, и я знал его. Наконец, сметану можно было вылить и достать эти несчастные копейки... Но разве деловой человек оставил бы деньги в горшке?

Плакать можно по-разному — это знает каждый из своего личного опыта. В тот день я ревел до икотки.

С превеликим трудом, как я теперь понимаю, продавцу удалось разобрать причину моих диких слез.

Но он был добрым и веселым человеком, этот белый, похожий на доктора продавец, потому что, уразумев, в чем дело, не стал ругать меня, а расхохотался и сказал:

— Ступай домой, деньги принесешь потом. Ничего! Со всяким может случиться.

Дома надо мной тоже смеялись. Больше всех бабушка:

— Нет, не выйдет из тебя делового человека, нипочем не выйдет! — приговаривала она при этом и утирала глаза краем пестрого ситцевого фартука.

С тех пор прошло много, очень много лет, и я знаю: бывают дни горше и огорчения существеннее, но это был первый несданный в жизни экзамен, первое поражение, а все первое запоминается с особой силой.

И еще мне казалось тогда, что раз я не справился с этой задачей, то не сумею решить и никакую другую. Печальной представлялась мне будущая жизнь — жизнь неделового человека.

О горечи пренебрежения, коварной мести и счастье признания

Но солнце продолжало всходить по утрам, как обычно. На соседней крыше дрались горластые воробьи. Иногда над городом перепадали веселые дождики. Словом, все шло своей обычной чередой. Постепенно я стал забывать о происшествии в молочной лавочке.

И все-таки какой-то неприятный осадок остался, не исчез, не растворился до конца.

К сожалению, у меня никогда не было родных братьев и сестер. Но я рос «на параллельных курсах» с двумя двоюродными братьями, так что жаловаться на одиночество не приходилось. Тем более что детство наше протекало в одном доме.

И надо же было случиться, что один из моих братьев чуть не с пеленок считался человеком одаренным и выдающимся. Трех лет от роду он начал сниматься в кино. Его имя постоянно упоминалось в афишах, кинокритики называли брата не иначе как «советским Джекки Куганом».

Современный читатель вряд ли знает, что за птица Джекки Куган, а сорок лет назад это имя было, пожалуй, не менее популярно, чем имя Чарли Чаплина. Восемилетний Джекки Куган был признан американской кинозвездой первой величины...

Прежде всего в гениальность моего брата поверили его родители, потом ближайшие родственники, поверил и он сам.

Брат ни при каких обстоятельствах не хотел признавать мне старшего, хотя я родился почти на год раньше. Он ни на что не соглашался уступить мне даже в пустяке. И взрослые всегда его поддерживали. Мне говорили:

— Не нервнирай человека. Отдай, принеси, не трогай — у него завтра съемки.

И действительно, на другое утро его увозили на киностудию. А я оставался дома. Только, пожалуйста, не думайте, что я умирал от зависти. Нет! Чего не было, того не было. Я отлично понимал: все справедливо. У брата была круглая, словно по циркулю изготовленная, голова, и эту голову украшала роскошная челка. Совсем как у пони. У меня же на плечах росла продолговатая, покрытая непокорными рыжими вихрами тыква. Руки и ноги у брата были пухлые, в перевязочках, совсем как у младенца. А я ходил на длинных жердочках и размахивал не руками, а обыкновенными граблями. Брат мог представить кого угодно: солдата, попа, кондуктора, старого доктора Гитмана, а я никого изобразить не мог...

Словом, я всегда был убежден, что силы расставлены правильно и брат мой родился актером. Обижало только пренебрежение, которым он меня потчевал изо дня в день, и чем дальше, тем больше. Обижался я и терпел долго, пока одна мальсенья капля не переполнила мальчишеской души. Не помню, по какому поводу, брат заявил однажды:

— Молчи! Я артист, — он не выговаривал букву «р», — а ты никто...

«Никто» — это было уже слишком!

Почему я никто? Никто — это те, кто ничего не умеют, ничего не могут, ничего не хотят делать. Так, во всяком случае, внушали мне взрослые. А я умел подметать пол большой неуклюжей щеткой, мне разрешали ходить в булочную за хлебом и иногда доверяли целый рубль! После горького происшествия со сметаной я успел подрасти и кое-чему научиться. Я даже сам вытаскивал гвозди из ящичных дощечек и щепал лучину для самовара, и мне обещали скоро купить настоящий перочинный ножик. Нет, я должен был немедленно доказать, что я вовсе не никто. Пусть я не родился артистом, но я совсем даже не никто.

Выбрав подходящий момент, когда никого из взрослых не было дома, я предложил:

— Давай играть в театр.

— В театр? А кем я буду?

— Ты будешь главным артистом и придумаешь себе самую главную роль. Если хочешь, ты можешь играть даже профессора.

— А ты?

— Я буду делать грим, освещать сцену, и еще я буду за публику.

Видно, в этот день у брата было хорошее настроение, потому что он нисколько не спорил и сразу же согласился на звание главного артиста и на роль самого главного профессора. Больше того, он даже милостиво обещал два выхода на сцену мне. Один раз я должен был изображать шофера. Мне следовало выйти и сказать:

— Машина подана!

В другой раз я возводился в ранг помощника. И мне предстояло, подняв трубку воображаемого телефона, ответить строгим голосом:

— Профессора нет дома.

Все шло как нельзя лучше. Без препирательств мы расставили стулья для публики, натянули веревку под занавес и приступили к репетиции.

Улучив подходящий момент, я сказал:

— Давай я тебя причешу, пусть волосы назад будут. А то профессор с челкой — не годится.

— Чеси, — сказал брат. — Только остоложно.

Он уселся перед зеркалом, и я взялся за гребенку.

Чесал осторожно и старательно, но его знаменитая, прославленная на афишах челка никак не хотела покоряться расческе.

Сколько я ни загибал волосы к затылку, они все равно падали на лоб.

— Намочи глебенку.

Это указание было исполнено самым добросовестным образом, но челка все равно не подчинилась. И тогда я предложил:

— А давай подклеим кончики сзади? Как в настоящем театре. — Признаться, я был совершенно не уверен, что в настоящем театре делают так, но мне было очень нужно, просто позарез необходимо, чтобы делали. И, кажется, я попал в точку.

— Ладно. Только, смотли, остоложно, — согласился великий артист.

Большого я и не ждал. Флакон наилучшего, густого, как мед, канцелярского клея-синдетикона был мгновенно вылит ему на голову. И голова великолепно причесалась — волосок лег к волоску...

Результат превзошел все, даже самые смелые мои ожидания.

Три дня брата не выпускали из ванной. Ему мыли голову обыкновенной водопроводной водой, и раствором спирта, и нашатырем, и какими-то еще сильнодействующими химическими снадобьями.

Но все было напрасно.

Роскошная челка, скрепленная патентованным клеем-синдетиконом, посерела и стояла торчком.

Трижды откладывались съемки!

Меня ругали самыми страшными словами, мне пытались внушить, что таких злых, бессердечных, коварных людей надо изолировать от общества, держать чуть ли не в клетках... Но все слова отлетали от меня, как мячик от стенки.

— А что он говорил: ты — никто? Почему я никто?

Я был выпорот. Но это нисколько не огорчило меня. Поэтому, что теперь решительно все жильцы нашего большого старого дома знали — я не никто. Меня стали звать парикмахером.

Гордость просто-таки распирала меня. Хотелось кричать на всю улицу: да, я парикмахер! И имейте в виду: обыкновенный парикмахер может остановить работу целой студии. А никто ничего не может.

Потом мы помирились с братом и долгие годы были дружны. А когда мне случилось вспомнить об этой истории спустя много лет, уже во время войны, брат сказал:

— По-моему, ты все это выдумал, я лично ничего такого не помню.

Я не стал настаивать...

**О некоторых странностях взрослых,
встрече с коровой и попутных переживаниях**

А время шло. И новые события сменяли друг друга. Маленькому человеку приходится подниматься на цыпочки, чтобы увидеть обыкновенную скатерть на столе; он вынужден задирать голову, чтобы заглянуть в глаза взрослому человеку. Вероятно, поэтому так не просто бывает потом,

спустя годы, правильно оценить масштаб тех или иных явлений, с которыми тебя сталкивала жизнь.

Больше всего хлопот мне, шестилетнему, доставляли по-прежнему взрослые. Помню отчетливо такую историю. Сначала взрослые играли в карты. Какой им был интерес спорить, кричать, в душах шлепать нарядными блестящими королями и валетами по столу, этого я никак не мог понять. Вообще взрослые были людьми странными — в карты они могли сражаться целый день, а купались, например, всего пять минут. Разве это нормально?

Успокоились взрослые как-то сразу. Бросили свои любимые карты на комод и стали пить чай из старого пузатого самовара. Потом они пили, как сказал усатый, краснолицый и ужасно шумный дядька — не то товарищ, не то начальник отца, что-то «более существенное».

Тогда я еще не умел ни читать, ни толком считать, поэтому затрудняюсь сказать, как называлось это «более существенное» и сколько его было. Помню только цвет бутылок — темно-зеленый и цвет этикеток — густо-красный с золотым виноградом. Бутылок было много. Больше пяти — это точно.

А потом... потом, собственно, все и началось. Краснолицый шумный дядька, не то товарищ, не то начальник отца, — не стану упоминать ни его имени, ни фамилии: сводить счеты с покойным нехорошо, — назову его просто Краснолицым, вышел во двор и запел пронзительно высоким голосом:

Тореадор, смелее в бой...

Мне сделалось смешно, и я расхохотался. Он перестал петь и спросил:

— Ржешь?

Я не понял и тоже спросил:

— Что?

— Надсмехаешься, говорю?

— А тореадор — это чего? — полюбопытствовал я.

— Дурак!

— Тореадор — дурак?

— Дурак — ты, а тореадор — эт-то человек! Эт-то герой! Тореадор быкам раз-раз и хану делает. Понял?

— Нет, — сказал я, — не понял.

— Не понял, потому как ты глуп. Вот и все. А теперь пошли.

Он взял меня за руку и повел куда-то. Помню пыльные акации с маленькими замшевыми листочками, мимо которых мы шли, помню застиранное, совсем бледное небо над головой, здоровенную влажную и горячую ручищу Краснолицего, которой он сжимал мою ладошку.

За домом был пустырь. Кусок бурого выжженного поля, обнесенный белой стеной из ракушечника. В дальнем углу этого загона, понурившись, стояла корова. Она была густо-рыжая со светлой кляксой на лбу. Корову жрали мухи, и она то и дело хлесталась собственным грязным, размочаленным хвостом.

— Наблюдаешь? — спросил Краснолицый.

— Что? — не понял я.

— Или ты глухой? Или ты совсем болван? Что, что? По-русски спрашиваю: чего наблюдаешь? — и он показал пальцем на корову.

— Это корова, — сказал я.

— Правильно. Именно корова. А можешь вообразить, что она — бык?

— Могу, — сказал я и глупо хмыкнул. Как ни мал я был, но разницу между коровой и быком все же улавливал.

— Теперь гляди! — сказал Краснолицый. — Тореадор подходит к быку и делает первую веронику... — Выпустив мою руку, он смешно подскочил к корове и завертелся волчком.

Корова повела на Краснолицего грустным чернильным глазом, коротко мыкнула и шагнула в сторону.

— Отступает! — заорал Краснолицый. — Готовится к прыжку! Тореадор, смелее в бой! — И он закрутился еще злее.

Корова еще раз мыкнула, взмахнула хвостом и тихонечко пошла прочь.

— А-а-а! — заорал Краснолицый, выпучив глаза и широко разинув рот. — А-а-а! Ты так? Мулету! Подай мне мулету!

— Чего? — спросил я.

И тут Краснолицый окончательно взбесился:

— Болван! Сапожник! Ты, ты не знаешь, что такое мулета? А еще в тореадоры лезешь! — Он схватил меня под мышки,

и три прыжка настиг отступавшую корову и посадил меня ей на голову, точно между рогов.

С перепугу я схватился обеими руками за могучие коровьи рога и отчаянно задрыгал ногами. Бедное животное скакнуло в сторону и попыталось избавиться от непонятного груза. Вероятно, я был цепким мальчишкой, а может быть, цепким был мой страх, но так или иначе стряхнуть меня с первой попытки корове не удалось. И она помчалась к белой стене из ракушечника.

Земля то уходила далеко вниз, то валилась на меня откуда-то сбоку, а стена все приближалась, все росла, закрыла больше половины бледного неба...

На всю жизнь остался в памяти сухой хруст, с которым коровьи рога вошли в ракушечник, и холодное прикосновение шершавого камня к голым коленкам, и горячая дрожь то ли коровьего, то ли моего собственного тела.

Прибежали какие-то люди и вызволили меня.

2850,
Так я и не понял тогда, кто же такой тореадор. Зато узнал, как становятся зайками. Правда, зайканье через несколько дней прошло, а вот неприязнь ко всему рогатому сохранилась и по сей день.

Краснолицего я запомнил тоже надолго. И понадобилось прожить на свете не один год, повстречаться со многими хорошими, веселыми, трезвыми людьми, чтобы его недобрая тень утратила трагическую окраску и сам он превратился в персонаж скорее комический, чем серьезный. И все равно пьяных и невзлюбил навсегда.

О культуре, искусстве и неожиданном повороте событий

В детстве надо мной часто смеялись, смеялись по разным поводам. Задевало это меня мало. Скорее всего потому, что сам я не чувствовал себя смешным. Смеются — пусть! Значит, им смешно. И вообще промахи свои, неудачи, ошибки я переносил легко. И только где-то глубоко-глубоко в душе шло, видно, медленное, постоянное и незримо «материала», из которого с годами отливается самолюбие.

Сколько я себя помню, мама всегда мечтала приобщить меня к большой культуре.

Большая культура для шестилетнего мальчишки, как теперь принято говорить — дошкольника, должна была складываться из беглого чтения, уроков немецкого языка и посещений балетной школы.

Можно бы рассказать и об упражнениях в чтении и о немецких уроках, но бог с ними, с этими элементами культуры. Лучше я расскажу о балетной школе, потому что школа эта оставила неизгладимый след в памяти.

Однажды меня привели в высокий прохладный зал с окнами, забранными деревянными решетками, раздели до трусиков, майки и носков, после чего поставили в общий строй. Кстати, строй этот был по-своему неповторим — двенадцать тощеньких девочек и два пузатых мальчишка. Я оказался самым маленьким и потому самым последним.

Потом в зал вошла немолодая женщина в длинном черном трико и черной обтягивающей тело фуфайке. Женщина сказала:

— Здравствуйте, дети! Сегодня мы начинаем наше первое занятие. Я буду показывать, что делать, вы — повторять. Все упражнения выполняются по команде. Вы меня поняли?..

И мы стали повторять все, что показывала нам женщина: прыгали на пальчиках, оперев руки в бока, ходили гуськом, высоко поднимая колени и добросовестно оттягивая носочки вниз.

Это был еще не настоящий балет, а, я бы сказал, вводная часть, или предисловие к великому искусству хореографии. Предисловие затянулось надолго — на целый год. Признаться, мне очень нравилось ходить на пальчиках, прыгать через веревочку и делать пирамиды с худенькими девочками.

На второй год уроки пошли под музыку. Теперь в прохладном зале появлялись две женщины: одна в тренировочных доспехах балерины, другая — толстая и добродушная — в старом шелковом платье-халате — пианистка.

Прыгать и ходить под музыку мне нравилось еще больше, чем без музыки, и я не ждал никаких огорчений, но тут мне велели прийти на занятия с мамой.

А дальше... дальше началось что-то совершенно непонятное.

Мама долго разговаривала с нашей руководительницей, потом с папой; потом звонила по телефону сначала тете Рае, потом еще другой тете и кому-то, кого я не знал. Наконец мама сказала:

— В воскресенье мы пойдем в консерваторию. Там тебя проверят.

Я не понял, что значит чудное слово «консерватория», не понял, почему меня будут там проверять, но не испугался. Проверять так проверять, легкомысленно решил я. Пожалуйста!

В воскресенье меня одели в коротенькие плюшевые штанишки, белую рубашку с бантиком, тщательно расчесали — это было самое неприятное — и повели в консерваторию. Там собралась целая толпа чистеньких мальчишек и девочек, все жалось к своим мамам и с опаской поглядывали друг на друга.

Потом мальчишек и девочек усадили в зале, а мамам велели остаться в коридоре, который назывался очень смешно — фойе.

К нам в зал вошел высокий седой мужчина в черной бархатной толстовке. Он стал выкликать мальчишек к роялю.

Каждому седой человек говорил несколько слов — каких, я не слышал, — после чего мальчик начинал играть. Мне очень нравилось, как они играли, и я вовсе не ждал беды.

Может быть, десятым, а может быть, и пятнадцатым вывали меня.

Седой человек заглянул в бумажку и велел мне отвернуться от клавишей. Я послушно отвернулся, и тогда он ткнул пальцем в какую-то ноту и сказал:

— А ну!

Я помчался по бело-черному полю, как борзая по следу, но... напрасно — мне никак не удавалось угадать, куда же ткнул пальцем мой экзаменатор.

— Да ты не волнуйся, — сказал он, — а ну, еще раз!

Но я снова не взял следа.

И тогда седой человек спросил:

— А петя ты умеешь?

— Нет, — сказал я, — петя не умею.

— Так-таки совсем не умеешь? Ничего? И «Интернационал» не можешь?

— «Интернационал» могу, — сказал я.

— А ну!

Я набрал побольше воздуха в легкие и что было мочи выкрикнул: «Вставай, проклятый заклейменный...»

И тут случилось что-то странное: все, ну решительно все мальчишки и девочки в зале захохотали, они гоготали как сумасшедшие, заливаясь и взвизгивая. Кто-то даже топал ногами. Почему? Я не знал.

— Хватит, — сказал седой человек. Это он мне сказал. — Ступай. — Больше он ничего не прибавил, только грустно улыбнулся.

Но это был еще не конец испытания. Потом в коридоре седой человек (он оказался профессором) медленно говорил моей маме:

— Простите, я тридцать шесть лет служу музыке, но никогда еще, даю вам слово, ни одного раза не встречал такого феноменального отсутствия слуха. Мне очень жаль, но... — и он смущенно развел руками...

Удивительно, но я не расстроился, не огорчился, не переживал.

Нет слуха — не надо.

О тяжести одиночества, переходящей в ужас, и внезапном избавлении

Когда взрослые опять уселись за свои дурацкие карты, меня прогнали на балкон. Дыши морским воздухом, думай и, конечно, самое главное, никому не мешай.

Прогнали — ну и пусть! Не первый раз. Велели дышать свежим воздухом — ладно, я дышал. А думать не хотелось. И о чем можно думать, когда на балконе такая скука? Даже смотреть не на что.

Море? С верхотуры оно казалось бесконечно далеким и совсем сухим. Просто здоровенное стекло. Блестит — и только.

Деревья? Да какие же это деревья? Обыкновенные кучи пыльных листьев. Стволов и то не видно.

Двор? Но двор с высоты пятого этажа выглядел заброшенным колодцем, большим и грязным...

Мне велели: «Не морочь голову!» — я и не морочил. Всего

только один разок спросил: «Можно на улицу к ребятам?» Но меня не пустили.

— Сиди на балконе! В другой раз не будешь шляться неизвестно где и торчать в море до посинения. Сто раз предупреджали! Не слушаешь — сиди. Понятно?

Ну что ж: я сидел на пустом балконе и больше ни о чем не просил. Только мне было ужасно скучно, потому что человек не может просто так сидеть и совсем-совсем ничего не делать. Интересно, почему взрослые вот этого не понимали?

Проторчав в своей ссылке минут десять, а может быть, и больше, я принялся изучать черепичную крышу. Оказалось, что крыша подступает к самому балкону справа и слева, нависает шатром над головой, и еще я запомнил форму потемневших красных черепиц — они были похожи на маленькие остановившиеся волны. На этом с крышей было покончено. И я стал пересчитывать ласточкины гнезда.

Гнезда лепились на крутых черепичных скатах. Гнезд было семь: шесть действующих и одно брошенное. Добраться до ласточкиного жилья не представлялось возможным. Высоко. Нечего и думать.

Тогда я повернулся в другую сторону и без особого труда разглядел далеко-далеко в море неподвижный двухтрубный пароход.

Все. Больше делать было решительно нечего.

А взрослые как ни в чем не бывало играли в свои дурацкие карты. Скорее всего они просто позабыли обо мне (ведь им никто не морочил голову!) и, наверное, были очень довольны.

Позабыли — и пусть! Если я им не нужен, то и они мне не очень-то нужны, пусть не думают! Обойдусь. Только скучно одному. Как это говорят: «Со скуки человек на стенку лезет»? Правильно. Честное слово, правильно. Я и полез бы, да не было подходящей стенки. И тогда я стал раскачивать крайнюю черепицу. Зачем? Ни за чем. Просто так.

Черепица была шершавая, старая и поддавалась с трудом. Но я очень старался и в конце концов вытащил ее. В красной чешуе крыши появился светлый прямоугольник, а в руках у меня — увесистая, горбатая и совершенно не нужная черепичина.

Как раз в этот момент в комнате зашумели, заспорили. Кто-то засмеялся. Кто-то визгливо запрочитал:

— Нет уж, нет уж, нет уж, увольте от такой поддержки! Чего вы козыряли? Чего?

Им было весело.

А мне? Мне хотелось лезть на стенку. Мне хотелось... Я и сам толком не знал, чего хотел. И тогда я поднял черепицу над головой и со всего размаху ухнул ее вниз с балкона.

Зачем? Просто так. Ни за чем. С отчаяния, должно быть.

Ну, а дальше произошло что-то непоправимое.

Во дворе раздался дикий, как говорят, душераздирающий вопль. По гулкому асфальту затопали чьи-то тяжелые шаги. А секундой позже разногласо загомонили какие-то люди.

«Убил», — решил я.

И сразу поверил в это ужасное предположение. Что значит убить, я понимал тогда плохо, не видел еще ничьей смерти, никогда не думал об этом. Может быть, поэтому меня не взволновало, кого я убил.

Убил — и все.

Впрочем, и это было достаточно страшно. За убийство ведь полагается отвечать. Убийц сажают в тюрьму и даже самих убивают. Казнят. Раньше, когда казнили, отрубали голову топором, теперь расстреливают...

Мир сделался совсем-совсем пустым.

Мне хотелось исчезнуть, улетучиться, ничего больше не узнать. Все равно теперь конец. Конец морю, свету, ласточкиным гнездам, даже этой крыше и ненавистному балкону... Исправить, вернуть, изменить ничего уже нельзя.

Бочком, на цыпочках я протиснулся в комнату и тихонько прилег на диван. Меня знобило.

А взрослые играли в карты.

— Семь первых.

— А я — вторых.

— Вторых? Так-так-так... Ну, а если я скажу — третьих?

— Восемь первых.

— А я — пас.

— Вы пас? А я? Я тоже пас...

Взрослые играли в карты. Точно так же, как вчера, как позавчера, как всегда. Только теперь они — и взрослые и их карты — почему-то не казались мне такими противными. Ну, играют... Им нравится...

В дверь постучали.

«За мной», — решил я. И совершенно отчетливо почувствовал, как мое круглое-прекруглое сердце кубарем покатилося в пятки. Я закрыл глаза и притворился спящим. Это не поможет, хитрость мою сейчас же разгадают. Но все равно смотреть ни на что не хотелось. И потом смотреть было еще страшнее.

— Войдите, — сказал отец.

Дверь открылась. На пороге появились двое. Как ни странно, я их увидел — смеженные веки сами собой чуточку разошлись. Мужчины. Один в галифе. Другой в соломенной шляпе.

— Простите, — сказал тот, что был в галифе, — разрешите балкончик ваш осмотреть.

— Зачем? — спросил отец.

— Да цирк, извиняюсь, приключился. В ресторане кошка мясо утащила. Повар за ней с ножом... — Это говорил тот, что был в соломенной шляпе.

— А тут ка-а-ак грохнет! Прямо бомба! Повар как заорет...

— И кошка тоже как заорет!

— А оказалось, черепица с крыши рухнула. Вот мы и пришли посмотреть, в чем дело. Как бы чего еще не поехало. Могло б ведь и человека убить.

— Смотрите, — сказал отец.

Мужчины прошли на балкон, а я лежал и медленно думал: «Раз он сказал могло, значит, никого не убило. Но раз никого не убило, наверное, мне ничего не будет...»

— Удивительно, — сказал человек в галифе, возвращаясь в комнату, — как сорвалась? Прямо цирк.

— Что? — спросил отец.

— Чудеса, говорю, и с чего это она свалилась? Кругом все крепко.

— Да-да-да, — сказал отец, — бывает. Дмитрий Ильич, ним сдавать. Работайте, работайте, дорогой мой, нечего зря время терять.

Галифе ушли, и соломенная шляпа тоже ушла. В дверях они еще раз почему-то извинились.

— Шесть первых.

— А я скажу — вторых.

— Вторых? Так-так-так-так... В трефах я — пас...

Взрослые играли в карты.

А я заснул. Заснул тяжелым, нездоровым сном.

Когда меня разбудили, за окнами уже было темно. В комнате горело электричество. Взрослые расходились.

У меня болела голова, и я никак не мог сообразить, что же со мной случилось...

**О том, какими мне запомнились
разные города, о снегире над Москвой
и свободном человеке**

В детстве мне довелось пожить в разных городах — в одних дольше, в других меньше. Города эти я запомнил плохо, во всяком случае общий облик улиц, характерные черты площадей, очертания памятников, знаменитые соборы и бульвары со временем испарились, почти не оставив следа. А вот отдельные подробности сохранились и даже теперь, через многие годы, видятся совершенно отчетливо.

Киев вспоминается так: большой серый дом, чугунная за-тейливая решетка, протянувшаяся во всю длину фасада. За оградой — угольный склад, а перед оградой — часовой. Фамилия часового — Киселев. Помню его лицо — широко-скулое, чуть тронутое оспинами, красное и бесконечно доброе. У Киселева была огромная винтовка (во всяком случае, тогда винтовка казалась мне очень большой). Помню граненый, потертый до белизны штык и блестящее испарпанное ложе этой винтовки. Помню запах винтовочного ремня — кисло-ватый, маслянистый... Каждый день, выходя на улицу, я разговаривал с Киселевым и с завистью разглядывал звезду на его шлеме-буденовке. Почему-то мне кажется, что именно от Киселева я услышал впервые: «Вплоть от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильнее...» Впрочем, песня эта появилась позже. Значит, в сознании произошел какой-то сдвиг, но это не так уж важно, важно другое: Киселев был для меня Красной Армией, той, что прогнала буржуев, той, что улыбалась мне каждое утро, той, что я любил всегда...

Одесса запомнилась не столько морем, портом и знаменитой лестницей, хотя и море, и порт, и лестницу я вижу совер-

шенно отчетливо, сколько золотыми якорьками на форменной тужурке дяди Яши. Дядя Яша часто приходил к отцу, и всегда вместе с ним в дом врывался какой-то веселый, шальной ветер. Он рассказывал такие истории, что взрослые покатывались со смеху (я ничего не понимал, но хохотал вместе со всеми, чем, между прочим, особенно потешал всех присутствующих). Дядя Яша любил петь странные песни.

Мама делала большие глаза и говорила:

— Яша, при ребенке? Ты с ума сошел...

— А что? Неужели ты думаешь, что ребенок может испортиться от песни? Ерунда!

Дядя Яша пел:

С Одесского кичмана
бежали два урана,
бежали два урана тайново...

Пианино под его живыми быстрыми пальцами вздыхало, замирало и рассыпалось такими трогательными пассажами, что хотелось плакать. Почему-то кичман представлялся мне громадным фиолетовым кораблем, а ураны — какими-то веселыми, смелыми, отчаянными людьми. Однажды я спросил у дяди Яши:

— А ты тоже урган?

Мама всплеснула руками:

— Этого еще не хватало!

Но дядя Яша не обиделся, не обратил на мамин мелодраматический жест ровно никакого внимания и очень серьезно мне ответил:

— Нет, я не урган и вообще к уголовному миру никакого отношения не имею. Я простой одессит, приятель, и люблю душевные песни.

Больше всего мне понравилось, что дядя Яша назвал меня «приятель».

Это — Одесса.

А все крымские города — Севастополь, Ялта, Алушка, Евпатория и Феодосия — соединились в сознании в один город. Очень большой, очень горячий, очень густо обсаженный зеленью, очень шумный и какой-то праздноватающийся город. Отдельно запомнилась громадная зеленая гора, голубое, неестественно блестящее море и белый-пребелый дворец. Полная женщина в соломенной шляпе, розовом сарафане и распле-

паннных сандалиях объясняла:

— Обратите внимание, товарищи, на это сооружение! До революции в этом прекрасном уголке Крыма отдыхал царь со своим семейством. Теперь здесь открыт санаторий для трудящихся крестьян... — вероятно, это была экскурсия в Ливадию.

Меня поразила бессмысленная роскошь царских спален и красный бархат в уборной его императорского величества...

Из дворца мы ходили на виноградник. Проклятый солнцем старик продавал прямо с кустов янтарные полупрозрачные гроздья (замечу, между прочим, никогда и нигде после этого я не видел такого винограда).

— Кушай на здоровье, — говорил старик, — большой расти, до самого солнца расти, выше тех облаков расти. Хорошо?

— Хорошо! — самоуверенно обещал я доброму старику, совсем не подозревая, что когда-нибудь на самом деле сумею приблизиться к облакам. Просто старик мне понравился...

Города! За жизнь я прошел улицами множе-



ство городов, видел вздыбленных чугунных коней над площадями, мраморных ангелов, поднятых над зеленью парков, видел каменные поэмы, сложенные великими зодчими, видел рыжие космы Вечного огня, зажженного над могилами безвестных героев, и все-таки лицо города не в памятниках, не в роstralных колоннах, не в полете мостовых арок, не в сверкающих шпилях соборов, не в сиянии церковных куполов, даже самых древних; лицо города всегда в его людях.

И флаг любого города — встречи, иногда долгие, чаще мимолетные, запоминающиеся, волнующие, неожиданные.

Много позже судьба привела меня в Ленинград.

Кажется, это был Сестрорецкий пляж. Очень просторный, вылизанный бесновавшимся накануне штормом. Пляж казался бесконечным, веселым и праздничным.

В мелкой мутноватой воде кувыркались мальчишки, галдели, как грачи, радовались теплу и солнцу. Нашли какой-то железный бурый шар и пытались вытащить его на берег. Но шар был тяжелый и никак не поддавался ребячьим рукам.

И вдруг в море ринулся высокий, сильно загоревший, весь сплетенный из мускулов человек.

— Все на берег! — страшным голосом закричал мужчина и склонился над шаром. Через каких-нибудь десять минут пляж опустел. Шар оказался миной, вынесенной к берегу вчерашним штормом. Человек — моряком.

Имени того моряка не знаю, звания тоже не знаю и, как очутился он на берегу, не могу сказать. Но я собственными глазами видел, как этот стремительный человек уничтожал смерть: голыми руками разоружил моряк заблудившуюся мину и ушел своей дорогой.

Может быть, тогда я впервые понял, что такое Ленинград. КстатИ сказать, это случилось за много лет до начала Отечественной войны...

Города! Я всегда с жадностью разглядываю незнакомые лица ваших обитателей, прислушиваюсь к чужой речи, принимаюсь к незнакомым запахам ваших пристаней, парков, цветов. Пожалуй, сегодня я не смогу даже сказать, какой из всех городов земли кажется мне самым лучшим, самым красивым, самым близким сердцу. Самый мой город — Москва. И потому, что я здесь вырос, и потому, что в конце концов всегда

возвращаюсь в Москву, и потому, конечно, что Москва — это Москва!

Давно, очень давно отправился я на Миусский рынок (теперь и следа от этого торжища не осталось). Мне разрешили купить птицу, любую, какая понравится, и дали сколько-то денег. Я долго ходил по рядам и никак не мог решить, на чем остановиться.

Огромный черный дядька, не человек, а прямо-таки глыба, бойко расхваливал свой товар:

— А вот снегири, снегири, снегири! Не птица — генерал! Снегири, снегири, снегири... Первый сорт, первый сорт снегири...

Я остановился перед снегирями и не мог больше сдвинуться с места. Красногрудые взлохмаченные красавцы совершенно покорили мое воображение. Я слатывал набегающую стюпу, топтался на снегу, как застоявшаяся лошадь, и в конце концов купил снегиря.

Нес снегиря домой в крошечной клетке-садочке. Заглядывал сквозь проволочные прутьики и радовался. И где-то на одной из Тверских-Ямских улиц повстречал девочку. Девочка была в сером пальто, в красной пушистой шапке. Она была похожа на моего снегиря — такая же взъерошенная, с такими же быстрыми черными глазками. Я поднял высоко над головой клетку-садок и... ничего не успел сказать. Девочка опередила меня:

— У-у-у, живодер!

— Почему — живодер?

— Потому, вот потому...

Лицо у девочки стало злым, а круглые глазки-бусинки неожиданно сузились, превратившись в тоненькие колючие щелочки. Я опешил.

— Тебя бы в клетку посадить, на замок запереть...

Я поглядел на своего снегиря, и он показался мне совсем даже не веселым. Снегирь забился в угол, повернул головку набок, вроде бы прислушивался к разговору. Между прутьиков жалко торчало серое перышко. И радость моя куда-то исчезла, мигом выветрилась.

— Ладно тебе, чего пристала? — сказал я.

— А ничего! Хочу и говорю. Я свободный человек, чего хочу, то и говорю, имею право. Понял?

Свободному человеку было лет восемь. Мне — примерно столько же. И я, конечно, считал себя не менее свободным человеком.

- Ладно, — сказал я, — хочешь, выпущу?
- Хочу! Только ты не выпустишь. Закалешь,
- Я закалею?
- Ты закалешь!
- Кто это тебе сказал? Закалею?
- Знаю! Закалешь! Вот точно — закалешь!

Признаться, мне было действительно до смерти жалко выпускать птицу. Но я все-таки отомкнул дверку и сказал:

— Давай лети!

Снегирь, видно, не сразу понял, в чем дело. Встрепенулся, подскочил раз, другой, третий, осторожно выглянул на улицу, подумал о чем-то своем, покрутил головой и вдруг резко рванул вверх. Его красная манишка мелькнула сначала над сугробами, потом над старой голой липой, и вот он уже оказался выше крыш, выше белого дыма, валившего из печной трубы... Еще немного я видел сразу потемневшую в небе точку, а потом и она растаяла. В холодном синем небе остались только облака — огромные, пухлые, молчаливые. Мне хотелось зареветь, но я не заревел.

— Ну, — сказал я, — закалел?

— Не закалел, — сказала девчонка. — Я так и знала — не закалешь...

Опережая время, скажу: потом мы учились с этой девчонкой в одной школе. Недели две я был серьезно влюблен в нее. Потом это прошло. Мы выросли и никогда уже больше не виделись. Знаю: она была на фронте. Снайпером. Она убила много фашистов. И погибла в самые-самые последние дни войны.

Теперь в Москве есть улица ее имени, это теперь. А тогда была Москва, снегирь, высокие облака в высоком небе и два свободных человека на заснеженной земле...

О напрасных хлопотах, честолюбии, настойчивости и ошибке, чуть-чуть не испортившей всего

Знаю, я нарушил строгую последовательность событий. Но что сделаешь: когда память листает прожитые страницы, трудно быть педантичным. И случайный образ, мимолетное воспоминание, даже едва заметный намек порой оказываются сильнее самой убедительной хронологии. Мне купили пенал, ручку-вставочку и дерматиновый портфель с двумя блестящими замками. Мне сшили новую курточку из старого дядиного макинтоша и достали в закрытом распределителе ЗРК (были такие особые магазины) мальчишковые ботинки на резиновом ходу... Все эти роскошные доспехи предназначались к первому сентября.

Но пенал вместе с ручкой-вставочкой остался лежать на отцовском письменном столе, дерматиновый портфель с сияющими замками поник у стены, а курточка и новые ботинки так и не были вынуты из шкафа. В конце августа я заболел и с небольшими перерывами провалялся в постели до середины зимы. Первый учебный год был безвозвратно потерян.

На следующий год предстояло снова собираться в первый класс. Но у меня был младший брат — вундеркинд (о нем я уже рассказывал), и тогда нам пришлось бы сидеть в одном классе. Примириться с этим я не мог. Ведь он младше! Младше на целых десять месяцев!

Все лето я учился писать буквы, осваивал сложение и вычитание и, когда пришло время определяться в школу, решительно потребовал, чтобы меня записали во второй класс.

Родители не соглашались, я настаивал. Родители сердились, я плакал и все время повторял: «Но я же старше, я же старше как раз на год».

После долгих препирательств был учинен домашний экзамен, и меня порешили все-таки записать во второй класс.

С дерматинового портфеля стерли пыль, на курточке расставили пуговицы, и я был готов.

Впрочем, тут необходимо сделать небольшое, но весьма важное отступление.

Накануне первого учебного дня родные взяли меня наставлять и инструктировать.

Начал отец. Он сказал:

— Тебе следует учесть, что ты идешь не в первый, а во второй класс, поэтому тебя встретят как новенького. Понимаешь ли ты, что это значит?

Разумеется, я не понимал. И тогда, вспомнив традиции екатеринославской гимназии конца прошлого века, отец поведал мне несколько живописных сцен.

Из его рассказа я понял: всех новеньких непременно бьют и дразнят; у новеньких обязательно отбирают завтрак, принесенный из дому; с новенькими стараются меняться (пуговицами, марками, тетрадками и даже ластиками) и, конечно, их бессовестно обманывают при этом...

Мне стало грустно и где-то глубоко в душе пушистым хвостом вильнуло сомнение: а стоило ли лезть во второй класс? В первом-то все новенькие. Но отступать было уже поздно.

Спасибо дяде. Дядя, человек мягкий, этаким домашний философ, очень успокоил меня. Дядя сказал:

— Юридически, с точки зрения закона, ты, конечно, новенький. Но, — он поднял указательный палец, — но никто не может тебе помешать держаться так, будто ты уже тысячу лет подряд ходишь в школу. Ясно?

Нет. Тысяча лет в школе? Это было совершенно неясно. И я сказал:

— Не понимаю. Тысяча лет? А как это — тысяча лет?

Моя бестолковость не удивила и не рассердила дядю, он стал терпеливо объяснять что к чему, а я старался изо всех сил ничего не позабыть и ничего не перепутать.

В конце концов с помощью нашего домашнего философа я усвоил:

Если меня кто-нибудь ударит, надо немедленно дать сдачи, и покрепче. Иначе будет плохо. Иначе все поймут: новенький тихоня, трус и слюнтяй. И тогда уж меня будут бить до самого окончания школы.

Когда входит учитель, полагается вставать. Вставать, но не вскакивать самым первым. Иначе меня примут за подлизу, а такое не прощают во веки веков.

Завтраком, взятым из дому, следует делиться с соседом по парте. Если при этом окажется, что у соседа хлеб с маргарином, а у меня хлеб с селедочным форшмаком, все равно

оба бутерброда надо ломать ровно пополам. В прогивном случае я прослышу жадиной и плохим товарищем.

С кем бы мне ни пришлось разговаривать в первый день — держаться надо смело, на вопросы отвечать громко и отчетливо, но не перебивать других и не стараться показывать, что я знаю все на свете, если я даже на самом деле знаю...

Вооруженный мудрыми советами дяди, первого сентября я пришел в школу.

Разумеется, меня никто не провожал: мамам полагается провожать только первоклассников, а второклассники, даже если они новенькие, должны ходить в школу сами.

Подавляя холодный ужас, внезапно охвативший все мое утро, я вошел в школьный двор и голосом командующего парадом спросил у какой-то тетеньки:

— Скажите, пожалуйста, а где тут будет второй «А»?

Тетенька вздрогнула, удивленно глянула на меня, но ответила. Позабыв поблагодарить любезную женщину, я опрометью ринулся на третий этаж, отыскал вторую дверь справа и влетел в класс...

Мое стремительное появление было встречено дружным воем:

— Новенький, новенький, новенький, новенький!

Прикрывая спину, я прижался к стене. Через весь класс по главному проходу между партами мчались пятеро. Впереди всех — долговязый взлохмаченный мальчишка в зеленой, как канцелярский абажур, визаной кофте.

Мне показалось, что зеленый мальчишка орет: «Дам в рожу!» Потом, правда, выяснилось, что он кричал: «Даем, Жора!» А Жорой оказался он сам.

«Даем, Жора!» — это был его воинственный клич, без труда переделанный из звонких слов: «Даешь Перекоп!», «Даешь Магнитку!», «Даешь 5 в 4!». Но все это я узнал потом, а пока, вспомнив отцовский инструктаж, решил: сейчас он будет меня бить.

Точных указаний, что делать в таком положении, у меня не было, но совершенно интуитивно я решил последовать суворовской науке: лучшая оборона — нападение. Поэтому, когда дистанция между мной и долговязым Жорой сократилась до одного шага, я вскинул дерматиновый портфель над головой и что было сил огрел возможного обидчика.

Результат превзошел все ожидания: одна половина класса немедленно признала меня полноправным членом сообщества, и слово «новенький» иссякло само собой. Другая половина пошла еще дальше и наперебой стала предлагать соседство по парте.

Занятно: право «сильного» не вскружило мне голову. Наверное, потому, что сам-то я прекрасно понимал — не сила и отчаянная отвага выручили меня, а ошеломляющая внезапность.

К тому же, избавившись от первой угрозы, действовать дальше я мог по дядиной инструкции.

Усевшись на учительском стуле, я заложил ногу на ногу, вытащил из портфеля бутерброд с селедочным форшмаком и громко спросил:

— У кого хлеб с маргарином? Подходи меняться!

Желающих оказалось шестеро. Такой вариант не предусмотрел даже мудрый дядя, и мне пришлось действовать на собственный страх и риск.

— Кусай, — сказал я первому. И тот безропотно повиновался. — Теперь давай я кусну. Подходи следующий...

Операция товарообмена протекала вполне нормально, пока не завершал звонок. Со ртом, набитым хлебом и маргарином, немного опалевший от пережитого, но страшно гордый собой, я очутился на последней парте.

С трудом проглотил хлеб и, чуточку отдышавшись, подумал: «Пока все идет хорошо».

Учительница понравилась. Она была маленького роста, как мама, только седая и в больших круглых очках. При ее появлении я не забыл подняться со своего места секунды на три после всех остальных, и, кажется, эта пустяковая подробность не прошла мимо внимания класса.

Учительница меня вызвала.

— Где ты учился раньше? — спросила она.

— Нигде, — выкрикнул я, — раньше я болел!

— Так. А до скольких ты умеешь считать?

— До скольких хотите! — рявкнул я и уставился учительнице прямо в рот.

— Если можешь, отвечай немножко потише и начни считать с девятисот семидесяти трех.

Я начал. Теперь я понимаю, что так, как выкрикивал цифры я, орут только на аукционах: «Девятьсот семьдесят четы-

ре — раз! Девятьсот семьдесят четыре — два! Девятьсот семьдесят четыре — три! Продано, господа!» Но тогда мне казалось, что я просто внятно, очень толково и чуть громче обычного считаю.

На тысяче учительница остановила меня.

— Деление знаешь?

— Знаю, — сказал я, — могу уголком, могу через точки.

После того как я разделил шестьсот пятьдесят восемь на двадцать один и объявил, что в результате получается тридцать один и семь в остатке, учительница отпустила меня.

А через неделю, когда я уже пообтерся в классе, перезнакомился со всеми и подружился со многими, стала известна потрясающая, сверхъестественная повесть.

Но все по порядку, все по порядку.

Через неделю учительница принесла в класс стопу новеньких тетрадей, раздала каждому по одной клетчатой тетрадке (до этого мы писали на чем придется — с бумагой было тогда трудно) и сказала:

— Теперь все вместе надпишем наши новые, настоящие тетради. — И стала диктовать: — Тетрадь ученика (или ученицы), дописывайте, что нужно: «ка» или «цы», дальше цифровой: «третьего класса», дальше русское «с», что означает латинское «ц»...

Я был поражен и подавлен. Оказывается, первого сентября я взбежал на третий этаж вместо второго и завернул во вторую дверь справа вместо третьей и по чистой случайности оказался учеником третьего, а не второго класса...

Но с тех пор прошла уже целая неделя, я привык к ребятам, и ребята привыкли ко мне.

В первый день были они и был я. Теперь были — мы. Расставаться с этим «мы» не хотелось.

«Что же будет? — думал я. — Что же будет? Неужели выгонят?» Нет, меня не выгнали, и ничего ужасного не случилось. Просто никогда уже я не был ни первоклассником, ни учеником второго класса. И кажется, уже тогда понял — вознес меня случай, и гордиться нечем. Ведь случай — ненадежный друг: может поднять, а может и скинуть с высоты. Никогда в жизни я так не старался, как в 3-м классе «С»: очень не хотелось катиться вниз. Очень.

Впрочем, таким высокосоизнательным товарищем я был не всегда и далеко не во всем.

О «воспитательной мере», отчаянии и потерях, которые восполняются с годами

За окном падает медленный большой снег. Мне кажется, снег думает: падать или перестать? И никак не может решить, что же в конце концов делать.

И я тоже не знаю, как быть. Сидеть на скрипучей неудобной табуретке посередине комнаты ужасно противно, но встать нельзя: меня наказали.

Читать пять страниц вслух, да еще с выражением, тоже противно, но эти пять страниц объявлены воспитательной мерой.

«Воспитательная мера» — звучит очень серьезно. И я совсем не знаю, что бы такое сделать, чтобы разрушить устрашающую значительность этих слов.

Пожалуй, лучше бы меня просто выпороли (выпороть есть за что, с этим я вполне согласен). Но родители против средневековья, против насилия в грубых формах, против варварства. Они, к сожалению, сторонники «интеллигентного» воспитания...

И вот я сижу на скрипучей табуретке, смотрю в книгу и ровным счетом ничего не понимаю.

Буквы кажутся черненькими дисциплинированными муравьями. Муравьи выстроились на парад: строчки — шеренги, абзацы — батальоны. Муравьиный парад замер в ожидании.

Делаю над собой отчаянное усилие и почти по складам разбираю: «Наступила суббота. Летняя природа сияла — свежая, кипящая жизнью».

И снова бессмысленно гляжу в книгу. Какая суббота? Почему суббота? Сегодня воскресенье. И откуда взялась эта дурацкая сияющая летняя природа, когда за окном все падает и падает большой медленный снег?

Пять страниц вслух! Нет, это невыносимо. Ведь я прочитал только полторы строчки и уже изнемог.

Мне жаль себя. Мне бесконечно жаль кудлатого мальчишку, ерзающего на табуретке, нелепо выставленной на самую середину комнаты. Я вижу себя со стороны — маленького, сгорбившегося над толстой книгой, — и мне хочется пла-

кать. Но реветь нельзя, реветь можно девочкам, а я мужчина. И плакать я все равно не буду, как бы им того ни хотелось, не буду! Они — это, разумеется, родители. И я глубоко убежден, что мои слезы должны доставить им величайшее наслаждение.

Не буду реветь.

Не буду.

Не буду.

Все равно не буду.

И не реву. Встряхиваю головой и делаю еще одно отчаянное усилие, читаю:

«В каждом сердце звенела песня, а если сердце было молодое, песня изливалась из уст».

Ну, это уж просто издевательство!

Такую книгу я не желаю читать. Я смотрю в окно. Снег все еще падает. Упорный, спокойный снег. Его нельзя остановить, его невозможно пересилить, он, если захочет, может завалить поля, уничтожить все дороги, он может даже города превратить в сплошные сугробы... Тихий, беспшумный снег — страшная сила.

— Почему ты не читаешь? — этот негромкий вопрос, обращенный ко мне, звучит неожиданно и резко, словно выстрел.

Молчу. Мне решительно нечего сказать.

— Тебя спрашивают: почему не читаешь?

Снова молчу. Ну как мне объяснить, что сейчас я ненавижу все книги на свете, что я с удовольствием уничтожил бы эту дурацкую выдумку взрослых — их субботу, наступающую в воскресенье, их летнюю природу, кипящую в декабре, их сердца, в которых звенят песни. Я не умею высказать того, о чем думаю, и поэтому просто молчу.

— Ты что, оглох?

К сожалению, я не оглох. К сожалению, я все очень хорошо слышу, но от этого никому не легче. Убейте, разрежьте на куски — я не знаю, что говорить. И поэтому продолжаю молчать.

— Ко всему ты еще не хочешь отвечать, когда к тебе обращаются? Очень мило! Показываешь характер? Ладно! Учти, теперь ты будешь сидеть на этой табуретке до тех пор, пока не прочитаешь десять страниц. Как только не стыдно!..

Взрослый парень, ученик — и не понимаешь, что тебе надо читать. Тебе, а не нам это нужно.

Нет, мне было ни капельки не стыдно, и я действительно не понимал, чего добивались родители.

Сколько еще прошло времени, сказать трудно. Табуретка начала как-то подозрительно раскачиваться, окно, ставшее темным, утратило четкость очертаний.

Глаза слипаются, и по всему телу ползет дремотная слабость.

Спать, мне очень хочется спать. Только бы уснуть — вот все, о чем я мечтаю...

Ненавистную книгу я прочитал много лет спустя. Все-таки узнал, о чем «звенела песня... изливаясь из уст». И книга эта оказалась одним из самых выдающихся созданий литературного гения — «Приключениями Тома Сойера».

Как ни странно, читал я «Тома Сойера» двадцатилетним. Читал, сидя в кабине дежурного истребителя, затянутый подвесными ремнями парашюта, пристегнутый к сиденью, украшенный пилотскими очками «бабочка» и кислородной маской. Читал в двух шагах от государственной границы СССР, готовый стартовать через минуту после того, как в небе разорвется зеленая сигнальная ракета. Читал с каким-то пьянящим сердце восторгом, то и дело улыбался, а местами хохотал во все горло.

Мой механик недоумевал:

— Неужели ты до сих пор не читал «Тома»? Это ж детская книжка!

Что я мог ответить? Пожаловаться на родителей? Не хотелось. Ответил уклончиво:

— Так уж получилось — не читал раньше. Не пришлось...

О лыжах, строгом командире и Тойво Ноолвинене из Карелии

В следующую зиму мне купили лыжи, первые настоящие лыжи, и я довольно скоро научился управляться с ними. Лыжи были длинные и узкие — теперь таких не делают. Лыжи надевались на пьексы — чудные башмаки с крючковатыми носами, жесткими, как орлиный клюв, — теперь таких тоже не делают.

Кататься мы ходили в Петровский парк. Нынче там дома, дома и дома, а раньше сразу же за мостом, перекинутым над железной дорогой, начинались деревья и нетронутые, голубеющие, бесконечные снега.

Чаще всего на лыжные вылазки мы отправлялись впятером — Женя, Таня, Жорка, Миша и я. Дистанция от моста до Беговой аллеи считалась короткой; переход до старинного Петровского дворца — средним, а если нам случалось добраться до большого леса, того самого, в котором стояла Тимирязевская академия, мы чувствовали себя почти Амундсенами — отважными путешественниками, отчаянными ребятами и вообще молодцами.

Лучше всего ходить на лыжах было по воскресеньям. В эти дни Петровский парк кишмя кишел народом, и лыжня накапывалась до воскового блеска — это раз. В воскресенье можно было не возвращаться домой до позднего вечера — это два. И наконец, самое главное: в праздничные дни в Петровском парке всегда катались красноармейцы. Здоровые, плечистые, очень похожие друг на друга люди — они были предметом нашего преданного и застенчивого обожания. Словом, воскресенья были самыми лучшими лыжными днями.

Но воскресенье, о котором я собираюсь рассказать, началось плохо.

Мишу мать заставила сидеть дома. Мишиной матери показалось, что сыночек ее кашляет, что лобик у него потеет и глаза какие-то невеселые. Словом, по маминому прогнозу Мишка должен был обязательно заболеть!

Таня не захотела ехать без Мишки. Конечно, прямо она этого не сказала, но мы не такие уж ослы — сами поняли...

Ну, а Женя не поехала без Тани.

В конце концов в строю остались только Жорка и я. Но Жорке тоже не повезло. Он сломал лыжу на первых же ста метрах: умудрился угодить в канаву и вместо того, чтобы сразу отработать полный назад, дал полный вперед. Носок лыжки крикнул и обломился.

Пять минус четыре — один. Одним оказался я.

Поднял голову: солнце, небо синее-синее, черными запятыми кружат в небе вороны. Поглядел совсем немножко, и глазам стало больно. Сощурился. Опустил голову. Увидел —

снег блестит, переливается, весь-весь из кристалликов! Все-таки здорово!

Пошел по лыжне. Одному, конечно, скучно, но и возвращаться не хочется. Такой день потерять жалко. Где-то около «Межрабпома» — так кинофабрика называлась — увидел красноармейцев. Они, видно, только-только на лыжи встали и теперь тихонечко вытягивались в цепочку. И я сразу позабыл обо всем: и про Мишку, и про девочек, и даже про своего лучшего друга Лобку.

Пристроился к красноармейцам, иду.

Задние трое, замыкающие, не очень мастера были, я даже обогнал их.

Миновали пруд, пересекли поле, оставили позади Петровский дворец, начался лес. Тот большой лес, в котором Тимирязевская академия стояла. Мне сделалось жарко: расстегнул куртку, спихнул шапку на макушку, спрятал в карманы варежки. Все равно жарко.

В лесу остановились. Красноармейцы сбились в кучу, а я отошел в сторонку — стеснялся подходить близко.

Командир пересчитал бойцов и говорит:

— Опять Габуня! Опять Сухалишвили! Опять Багдасаров! Безобразия. Ждем пять минут.

Прошло минуты три, идут. Оказались те самые красноармейцы, которых я еще сначала обогнал. Пыхтят, отплеиваются, пар от них валит, как из самовара. Со стороны посмотреть — просто смешно.

Командир стал их ругать.

— Всю колонну задерживаете! Сколько раз объяснять: скользите, длинней шаг, палками отталкивайтесь... Неужели непонятно?

— Я их скольжу, а они почему-то друг на дружку лезут. Я понимаю — они не понимают!

— Разговорчики, товарищ Габуня!

И колонна двинулась дальше.

Первым шел командир. За ним человек двадцать красноармейцев, потом я, замыкали строй Габуня, Сухалишвили и Багдасаров.

Лес, лес, лес. Казалось, вся земля заросла лесом. Сколько мы шли, не могу сказать. Признаюсь откровенно, я порядком устал, но оторваться от красноармейцев, отстать — нет, такого нельзя было допустить. Отстать значило сдать. А в ту по-

ру я уже знал твердо: врать — нехорошо, но иногда все-таки можно; пообещать и не сделать — тоже плохо, но в крайнем случае всегда найдется какое-то оправдание: очень хотел, но так уж вышло... Сдаваться — нельзя. Тут оправданий нет!

Сдаться — значит предать...

Через какое-то время колонна опять остановилась. И командир снова пересчитал бойцов. Не хватало пятерых: Габуня, Сухалишвили, Багдасаров, Новиков и Омельченко.

Командир был недоволен:

— Так мы до ночи не дойдем. Сегодня тренировка, а если завтра сложится боевая обстановка? Тоже, значит, отстанут?.. Черт знает что! — И тут он поглядел на меня. Поглядел строго и удивленно. — А ты чего увязался?

— Я? Я — так.

— Так только вороны летают. Ты откуда?

— Как откуда?

— Ну, живешь где?

— На Тверской живу.

— В Москве, значит?

— Конечно, в Москве.

Командир свистнул. Это было очень неожиданно. Такой строгий командир — и вдруг свистит. Свистит, как мальчишка.

— Слушай, а ты знаешь, сколько мы от заставы прошли? — спросил командир.

— Не знаю, а что?

— Как что? Мы же километров двадцать отмахали. Или ты возвращаться не собираешься?

— Собираюсь, — сказал я и испугался: в километрах я еще не очень разбирался, но сообразил, что двадцать плюс двадцать будет сорок, а сорок — это очень много.

Тут подошли отставшие, и командир, кажется, позабыл обо мне.

— Скользить надо! Тянуть шаг надо! Палками работать надо! И не раскисать, как малахольные барышни. Вон пацан за нами тянется, а вы здоровенные мужики, бойцы Красной Армии...

Я посмотрел на небо. Солнце убралось за лес. Тени стали длинными и резкими. Вороны куда-то подевались. В вершинах деревьев тихо хозяйничал ветер.

И только тут я сообразил: день переломился и давно уже катится к вечеру.

Развернувшись на сто восемьдесят градусов, я пошел в сторону Москвы. Вспоминая строгого командира, я добросовестно скользил, как мог растягивал шаг, изо всех сил старался четко отталкиваться палками, но идти все равно было трудно.

Неуютно шумел лес. Лыжня петляла. Чувство времени окончательно улетучилось.

Я шел словно заводная кукла. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Но завод слабел. Завод должен был скоро кончиться. Совсем кончиться.

Ветер незаметно спустился с макушек деревьев и закрутил по земле снежные сухие хвосты. Хвосты были длинными и жесткими. По открытым местам они проносились с тихим, едва уловимым свистом.

Больше всего я боялся потерять лыжню.

Может быть, прошел час, а может быть, и все сто лет, не знаю.

Показалось, что кто-то меня догоняет. Сначала я хотел остановиться, но не остановился, подумал только: «Даже ножа нет».

Прошло еще сколько-то времени и, обдав меня запахом пота, мокрой кожи и горячим чистым дыханием, откуда-то из-за деревьев вынырнул красноармеец.

— Идешь? — прохрипел он.

Я утвердительно мотнул головой. Горло было сухим и горячим. Слова застревали.

— Давай палки. Командир велел сопроводить тебя до трамвая, а потом догонять своих. Давай палки.

И он отобрал у меня палки, ловко схлестнул их со своими — кольца в кольца — протянул мне буксир и скомандовал:

— Держись!

Теперь красноармеец шел впереди, а я, словно прицеп, волочился за ним. Мне было немного стыдно и... легко на душе. Подумал вяло: «Нет уж, об этом я никому не расскажу, даже Жорке».

Когда мы подкатили к трамвайному кругу, было уже совсем темно. Снег свистел громко и уныло. Вокруг столбов вы-

росли белые-пребелые конусы. Фонари окутались радужными шарами — из света и снега.

— Ну, все. До свидания, — сказал красноармеец, расцепляя палки.

— Спасибо, — сказал я. — А можно спросить, как вас зовут?

— Тойво. — Сказал он. — Тойво Коолвинен.

Я вытаращил от удивления глаза: отродясь не слыхал ни такого имени, ни такой фамилии.

— Карел я. Знаешь Карелию?

Стыдно признаться: я не знал.

Тойво махнул на прощанье рукой и исчез.

В трамвае я заснул и проспал свою остановку. Нет, мне не снилась Карелия, я спал, как чугунный.

И все же я узнал Карелию. Увидел наяву.

На войне я был летчиком Карельского фронта. Правда, это произошло много-много лет спустя.

О золотых рыбках, сказочном старичке и радости быть щедрым

Не думаю, что в этом есть какая-нибудь закономерность, но почему-то именно зимой со мной случались самые памятные встречи, встречи, наложившие отпечаток на всю жизнь.

Помню: переулочек был узеньким, тихим и, как мне кажется теперь, всегда заснеженным. В переулочке стояли старые облезлые дома, все с одинаковыми фасадами, одинаковыми подъездами и пустыми скучными окнами.

Впрочем, не все окна пустовали, одно было особенным. За прозрачной тюлевой занавеской, светясь золотыми огоньками, медленно плавали диковинные рыбы: вуалехвосты, телескопы и какие-то еще неведомые красавицы.

Конечно, золотые рыбки плавали не в самом окне, а в громадном аквариуме, таком большом, что с улицы не удавалось разглядеть ни его голубых металлических бортиков, ни его усыпанного белым зернистым песком дна.

Всякий раз, попадая в этот переулочек, я прилипал к вол-

шебному окошку. Зеленоватая подсвеченная вода, замысловатая скала из корявых серых камешков, ласковые кудрявые растения, медленно колыхавшиеся из стороны в сторону, и гибкие стремительные тела рыб казались сбежавшими из сказки.

Иногда мне особенно везло: тюлевая занавеска оказывалась отдернутой, и тогда зеленовато-золотой таинственный мир делался еще ближе, еще заманчивей.

Но случались и неприятности: стоило приложиться носом к холодному оконному стеклу, как чья-то недобрая рука опускала глухую соломенную штору. И сказка исчезала. Для чего опускалась штора, понять было невозможно. Назло? В это не хотелось верить. Ведь ничего плохого я не делал — ни рыбкам, ни их хозяину, да и не мог сделать, даже если бы захотел...

В такие дни я ждал. Ждал подолгу. Мерз, топтался на снегу, но чаще всего напрасно. Опустившаяся штора не поднималась. Приходилось уходить от занавешенного окна, уходить с тяжелым сердцем. Помню, шел и боялся: а вдруг соломенный полог так никогда больше и не поднимется?

Странно — о золотых рыбках, живших за стеклом чужого окна, я думал постоянно, о людях, которым они принадлежали, — никогда. Наверное, я был еще слишком мал, чтобы пытаться соединить сказку с настоящей жизнью. Но сказка и без моей помощи сама побраталась с жизнью.

Вот как это случилось.

Три дня подряд над городом свирепствовала отчаянная метель. Снег остановил трамваи, снег наглухо залепил переулки, местами оборвал провода. А потом сразу унялся, осел и начал таять. Пришла весна. Весна жила в небе — посиневшем, набравшемся солнца; весна жила на крышах, только что сбросивших снежные шапки и едва заметно паривших. Правда, под ногами снег еще хлюпал, но его подтачивали первые талые воды. И снег доживал последние часы...

В доброе время пришел я к заветному окошку и, как всегда, ткнулся носом в стекло.

Стекло было не очень холодным. Весна успела приласкать даже стекло!

Прямо на меня ринулся лупоглазый телескоп. Он смешно разевал рот и очень грациозно шевелил хвостом.

Я залюбовался рыбиной и не заметил, как над головой открылась форточка. Совершенно неожиданно услышал:

— Мальчик, мальчик, зайди-ка в четвертую квартиру. Со двора ход. Первая дверь направо. — Голос был старческий, слабый.

Сначала я вздрогнул, потом попытался разглядеть звавшего меня человека, но так ничего и не разглядел. Наконец решил: раз зовут, надо идти.

Четвертая квартира оказалась старой, захламленной берлогой. Хозяин ее — маленьким, сгорбленным старичком. Не знаю даже, на кого он был похож. Пожалуй, больше всего на недоброго гнома из старой немецкой книжки. Говорил старичок быстро, не очень разборчиво, с придыханием. Наверное, он страдал астмой.

— Ну-ну-ну, входи-входи-входи... Не бойсь, не бойсь, не бойсь. Шапочку снял? Молодец-молодец-молодчина... Все ходишь к моим страшилам? Все глядишь? Все интересуешься? Давно приметил, давно. Да-да-да. Сядь-кося, сядь-кося, сядь! — Говоря так, старичок суетливо двигался по комнате, что-то переставлял, открывал какие-то ящики в старом буфете-кресости, гремел ключами.

А потом...

Потом он сунул мне в руки литровую банку, в которой медленно кружили два пятнистых красавца вуалехвоста.

— Под пальтишко, под пальтишко уברי. Согревай до дому. Нежные они, твари. Им и градус — мороз. Вот, книжечку держи. Держи-держи-держи шибче! Весь уход там прописан. Ну-ну-ну... На здоровье, на здоровье, а теперь беги. Беги-беги. И Афанасию моему не попадайся. Жадина Афоня. Отнимет. Беги...

Конечно, надо было поблагодарить старичка, может быть, хоть из приличия, отказаться от подарка, но я до того растерялся, что ничего вообще не мог выговорить... Вуалехвостов я благополучно доставил домой. Долго любовался ими, все искал посуду побольше (аквариума у меня не было).

И снова я думал о рыбках, а не о хозяине — странном щедром старичке.

Много воды с той поры утекло, много случилось разных

встреч, а тихий переулочек, лугоглазые золотые рыбки и старичок-гномик помнятся мне и сегодня. И каждому я ото всей души желаю своих золотых рыбок. Пусть хоть один раз в жизни!

О первой смерти, увиденной близко, грустном сигнале пионерских фанфар и смысле жизни

Рассказывая о своем мальчишестве, я многое опускаю. И вовсе не потому, что хочу что-нибудь скрыть, приукрасить, представить в розовом свете. Передать все невозможно. И потом, мне кажется, самое главное случается с нами не каждый день и даже не каждую неделю. А моя цель рассказать именно о самом главном, о том, что не просто промелькнуло перед глазами и случайно запомнилось, а вошло в жизнь, повлияло на характер, определило судьбу...

Утром в школе разнесся слух: убит Ваня Колышев.

Сначала никто не мог понять: как убит? почему убит? кем убит?

Потом картина прояснилась. И если передавать случившееся сухим языком протокола, то вот как выглядело несчастье.

К Ване Колышеву пришел его друг Валера. Мальчишки были дома одни. Сначала готовили уроки, потом стали играть. Ваня подобрал ключи к отцовскому столу и вынул из запертого ящика наган. Валера испугался и сказал, что это нехорошо — подбирать ключи, и вообще с наганом шутки плохи. Но Ваня его успокоил: дескать, с оружием он обращаться умеет и ничего страшного произойти не может. «Поиграем и уберем на место. Никто не узнает».

Ваня вытащил патроны из барабана, прицелился в воображаемого противника и спустил курок. Наган мирно щелкнул. Ваня сказал:

— Вот видишь, не стреляет. — И еще раз щелкнул.

У Валеры разгорелись глаза.

Ваня был не жадина.

— На, — сказал он, — поцелься ты.

Валера прицелился, нажал на спусковой крючок и... Ваня был убит наповал.

Хоронили Ваню Колышева всей школой.

Помню нашу пионерскую комнату в хвое и трауре. Помню маленький гроб на столе и фарфоровое лицо Вани. Помню красный пионерский галстук на его неподвижной груди. Помню — и это было страшнее траура, страшнее гроба и даже страшнее Ваниного фарфорового профиля — окаменевшее лицо Ваниного отца.

Мы стояли в почетном карауле: Жорка, Миша, Кирилл и я.

Мне казалось, что все происходящее я вижу со стороны. Было страшно и как-то пусто на душе.

Нет больше Вани, совсем нет. И никогда не будет. А накануне мы менялись марками. Он обжилил меня: за двух зебр Конго всучил одну бракованную треуголку Испании. Пусть бы он меня еще сто раз обжилил, пусть, я бы ему с удовольствием даже Того отдал... Но его нет, нет совсем, навсегда нет.

Никогда прежде я не видел смерть так близко.

Я не думал о боли, о страдании, о нелепости... Просто мне очень-очень-очень хотелось, чтобы Ваня был жив!

И может быть, именно тогда, в пионерском почетном карауле около маленького гроба, в котором лежал Ваня, я впервые подумал: а зачем вообще живет человек?

С той поры всю жизнь я стараюсь (впрочем, как и все люди на свете) ответить на этот самый важный вопрос. В разные годы отвечал по-разному.

Думаю: человек живет для радости, для созидания, для борьбы.

Знаю: радость — это дружба, дороги, работа, щедрость, любовь, это хорошая жизнь для всех; созидание — это не только новые дома, плотины, электростанции, заводы, сказочные урожаи, это еще и книги, и талантливые фильмы, и картины, и песни, и обязательно чей-то воспитанный характер, чья-то спасенная жизнь, чье-то возвращенное здоровье; борьба — это бой за настоящую правду, это уничтожение несправедливости...

Тогда я не умел еще высказать того, что думал, глядя на красивый Ванин галстук, — надо любить жизнь, надо беречь жизнь, надо жить с толком...

И навсегда остался в моей памяти дрожащий сигнал пионерских фанфар, которыми провожала школа нашего Ваню Колышева.

О мелком мошенничестве, научной комиссии и ее выводах, которые были отменены

Горе уходит, жизнь продолжается. Так бывает всегда. В городе строились новые дома, проектировался метрополитен — чудо из чудес (по тому, конечно, времени), наши летчики устанавливали новые мировые рекорды.

Все чаще я стал задумываться о взрослой жизни. Все меньше увлекался обычными ребячьими играми. Вслух не спрашивал: «Кем я буду?» — но подспудно думал об этом и старался угадать.

Мой отец работал бухгалтером. Почему он выбрал себе такую специальность, я не знал и, насколько теперь помнится, никогда не пытался узнать: бухгалтер так бухгалтер, наверное, ему нравится... А мне? Нет, мне не нравилась работа бухгалтера. Всю жизнь сидеть за одним и тем же столом, каждый день щелкать на счетах, без конца складывать рубли и копейки, начислять проценты и писать в скучных бумагах скучные цифры... Лично я на такую работу не был согласен.

В пять лет мне нравились полотеры. Они приходили в дом, шумно переворачивали все вверх тормашками, брызгали рыжей краской, проворно, словно танцуя, шмыгали по паркету жесткими щетками. Иногда они пели и всегда зубоскалили. После полотеров в квартире оставались сияние, легкий скипидарный запах, праздничная чистота.

Я тоже хотел быть полотером, как дядя Вася — здоровенный, веселый, неутомимый мужик, самый надежный предвестник таких замечательных дней, как Новый год или Первое мая.

Потом я познакомился с Тарасом Ивановичем. Тарас Иванович починял примусы, паял кастрюли, мог при случае наладить отопление и привести в порядок задуривший водопро-

водный кран. Он звенел гаечными ключами, сыпал прибаутками и смешно ругал вещи, которые починял. Например, он говорил примусу:

— Шипишь, а гореть я буду! Американец! Культурный! — При этом Тарас Иванович проворно отворачивал головку, в два счета заменял сносившуюся прокладку и, завершая ремонт, резюмировал: — И не идиётничай больше! Ясно?

В семь лет я решил совершенно твердо: буду как Тарас Иванович — все чинить.

В восемь лет мне захотелось стать шофером, в девять — краснодеревщиком, в десять — электромонтером, в одиннадцать — механиком-универсалом. Словом, мне нравилась работа, дающая видимый, осязаемый результат.

В моем мальчишеском понимании лучшими и самыми нужными на земле людьми сделались рабочие люди. И не потому, что подобную мысль нам постоянно внушали в школе — на уроках обществоведения и на пионерских сборах, — а по простой очевидности: рабочий человек делает из ничего что-то, а если он берет в руки негодную, испорченную, сносившуюся вещь, то уж, будьте уверены, не выпустит ее до тех пор, пока не восстановит, не заставит снова служить людям.

Вот так или примерно так (возможно, несколько проще) я думал в ту пору, когда у нас в школе появился высокий угрюмый человек, смотревший на мир через строгие, неприятно блестящие очки. Про него говорили:

— Районный педолог. Представитель комиссии по профотбору.

Мы, мальчишки и девчонки, не очень-то понимали, для чего он сидит на уроках, что записывает, почему не выпускает из рук секундомера. Поглядывали на него с опаской. И даже Женя — девчонка, передразнивавшая всех на свете, — не рисковала изображать странного представителя высокой инстанции. Даже Женя старалась не попадаться ему на глаза.

Примерно через неделю кое-что стало проясняться. Районный педолог отобрал двадцать мальчишек и двадцать девчонок и повел нас на профотбор.

Предварительно нам объяснили: «Сначала вас осмотрят врачи, потом вам дадут контрольные упражнения. Эти упражнения надо выполнить очень внимательно, на совесть. Изучив результаты, особая комиссия определит, у кого какие умст-

венные способности и врожденные склонности. Заключение научной комиссии поможет вам выбрать правильную дорогу в жизни».

Так нам сказали, и мы, конечно, поверили. Очень уж убедительно звучали слова: научная комиссия! Все-таки научная комиссия, а не обыкновенный педсовет или какой-нибудь там родительский комитет.

Профотбор проходил в районной поликлинике. И наверное, поэтому мне до сих пор кажется, что это странное «мероприятие» имело острый запах какой-то препротивной дезинфекции.

Упражнений было много. Некоторые я запомнил. Надо было, например, втыкать спички в дырчатую медную пластинку. Чем больше, тем лучше. Время, естественно, ограничивалось. Я схитрил: начал выполнять задание раньше команды и хватал спички не одной, а сразу двумя руками.

Кажется, мне удалось установить спичечный рекорд в нашей группе.

Потом нам дали палки. В метровых круглых палках были просверлены отверстия. К одному концу этого странного орудия следовало привязать веревку и потом «прошить» ею возможно большее число отверстий. Мне очень хотелось блеснуть своими способностями и в этом упражнении, поэтому я незаметно прицепил к веревке предварительно разогнутую канцелярскую скрепку и «прошил» все дырки чуть ли не в три раза быстрее нормы...

Упражнений было много, упражнения были, откровенно говоря, достаточно бессмысленные и скоро нам надоели. Вероятно, поэтому, когда дело дошло до «умственных» заданий — надо было решать всякие арифметические, логические и бог знает какие еще задачи, — энтузиазм подопытных кроликов заметно поостыл, и мы понесли такую чепуху и околесицу, что уже с самого начала были обречены на звание дефективных.

Впрочем, мне еще повезло, ученая комиссия по профессионально-техническому отбору сочла меня не полным идиотом и выдала такое письменное заключение: «Умственные способности ограниченные. Память скованная. Имеет ярко выраженную склонность к портновской профессии».

В переводе на обыкновенный, общечеловеческий язык это

означало: шести классов образования достаточно. Дальше следует учить ремеслу, лучше всего — ремеслу портного.

Я ликовал. Однообразие школьных уроков порядочно надоело. Что такое фабрично-заводское обучение, я толком не знал и хотел верить, что в ФЗО куда интереснее и веселее, чем в обычной школе.

Родители возмущались:

— Ну, как это можно давать такие заключения? Решать судьбу человека на сомнительных опытах? Человека, не кролика...

И откуда нам было знать, что пройдет не так уж много времени и про педологов напишут в Энциклопедическом словаре: «Педология — реакционная лженаука о ребенке... В СССР разоблачена и ликвидирована постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 года».

Вот почему я не стал портным. И из школы меня не забрали, а заставили учиться дальше — до завершения полного среднего образования.

О жажде деятельности, а также о теории и практике короткого замыкания

Но кем-нибудь я решил стать немедленно, потому что просто ученик — это очень-очень мало. Почти ничего... Правда, точного плана действий у меня не было. Помог случай.

В школе мы начали знакомство с основами электричества. Рассуждения учителя о положительных и отрицательных зарядах, о статическом поле, кулонах и вольтах как-то не особенно увлекли меня. Думаю, что учитель не был в этом виноват, просто я не находил конкретного применения столь высоким материям. Зато рассказ о коротком замыкании сразу же поразил мое мальчишеское воображение: тут все было предельно ясно. И я сразу схватил суть дела: если согнуть гвоздь буквой «П», засунуть его в гнездо розетки, результата долго ждать не придется — немедленно погаснет свет, выключится утюг, замолчит дверной звонок.

Вот это было понятно!

Дальше мой неокрепший мозг работал примерно по такой

схеме: согнуть гвоздь в виде буквы «П» — пустяковое дело (для этого есть тиски и есть пассатижи), засунуть перемычку в розетку — тоже ерунда, но... Но источник замыкания будет немедленно обнаружен и тогда... Впрочем, каждый может себе представить, чего я опасался тогда.

И все-таки, хорошенько поразмыслив над теоретическими выкладками нашего физика, я нашел выход из затруднительного положения. Вместо гвоздя взял обыкновенную иголку, осторожно захватил ее с тупого конца кусочком изоляционной ленты и аккуратно воткнул в провод, приблизительно на метр выше розетки.

И все произошло в строгом соответствии с наукой: в коридоре раздался чуть слышный треск, и свет в квартире погас.

Признаюсь, я был очень доволен!

Но самое интересное и самое неожиданное оказалось впереди.

Мама зажгла огарок свечи. Отец вытащил из уборной шаткую стремянку и полез чинить пробки.

Однако пробки не поддавались. Предохранительный щиток плевался голубыми искрами, злобно трещал и ни за что не хотел включать свет.

Отец начал тихо ругаться.

Мама сказала:

— Лучше, наверно, позвать Тараса Ивановича, а то ты еще пожар устроишь.

Тогда отец разобиделся. Он сердито слез со стремянки и сказал маме:

— Если в этом доме мне не доверяют, можете приглашать хоть самого Томаса Альву Эдисона. Дальше я пас... — и он ушел курить на балкон.

А я в этот момент понял: никто, кроме меня, пробок починить не сможет! Никому и никогда не найти иголку, тем более впотьмах! Даже Эдисону не найти.

Это было сладостное чувство: впервые в жизни я ощутил могущество точных знаний.

Действительно: ни всемогущий мастер Тарас Иванович, ни мобилизованный в помощь сосед, инженер Борис Григорьевич, ни великий механик нашего дома пятнадцатилетний Славка ничего не сделали.

Все они оказались пас...

Пробки починил я!

О велосипеде, строгом запрете, клятве на крови и верности

До сих пор я почти ничего не рассказывал о своих друзьях. И вовсе не потому, что друзей у меня не было. Конечно, были! И в пять, и в восемь, и в десять лет. Просто до какого-то времени человек не пытается разобраться в людях, его окружающих. Есть с кем гонять мячик — хорошо! Нет — плохо.

А потом приходит новое чувство, новый, я бы сказал, обостренный интерес к человеку, шагающему с тобой рядом. Хочется понять своего сверстника, проникнуть в его духовный мир, увидеть жизнь его глазами и сравнить это виденье со своим собственным. Это время трудное, оно сопровождается постоянными открытиями и неизбежными разочарованиями.

Первые дни нашего знакомства почему-то не удержались в памяти. Куда-то ходили вместе, о чем-то разговаривали... А больше, больше ничего не запомнилось.

Теперь мне кажется, что счет настоящей дружбы начался с того солнечного тихого утра, когда Мишка появился во дворе с красным двухколесным велосипедом.

Велосипед был ярко-красный, словно облитый кровью, на дутых шинах, с двумя ручными тормозами...

Современный мальчишка, пожалуй, удивится: подумаешь, какая невидаль — велосипед! Даже если двухколесный, даже если на дутых шинах, даже если с двумя ручными тормозами. Ну и что такого? Действительно, теперь в этом нет ничего особенного, а тогда это было событием. Да еще каким!

Вам покажется невероятным, — в стране почти не выпускали велосипедов. Самолеты уже строили, автомобили тоже строили, дома возводили, электростанции... А вот до велосипедов просто руки не доходили. Не «велосипедное» было еще время.

Я подошел к Мишке и сказал:

— Здрóво!

— Здрóво! — ответил Мишка.

— Твой? — спросил я и кивнул в сторону велосипеда.

— Мой.

— Мировая машина.

— «Пежо», французская, — сказал Мишка.

Мы замолчали.

Какие-то люди проходили по двору. В небе зависли ватные ленивые облака. Где-то за воротами, на улице лязгал трамвай. Но все это оставалось теперь вне моего сознания. Мир нелепо уменьшился: кроваво-красный велосипед и Мишка — вот и все, что осталось от большого, многоцветного, разноголосого обыкновенного мира.

— Прокатиться хочешь? — спросил вдруг Мишка.

— А ты?

— Я — потом.

— Нет, — сказал я, — не хочу.

— Ну да! Это почему же?

— Я, я... я не умею.

— Ерунда, — сказал Мишка, — на велосипеде каждый дурак может. Надо только на педали как следует нажимать и не смотреть на руль. Понял? Как посмотришь на руль, так сразу завалишься. А так — очень просто. Давай садись! Я подержу.

Нажимать на педали оказалось действительно не так уж и трудно. А вот не смотреть на руль сначала мне никак не удавалось. Проклятый блестящий руль притягивал как магнит. И стоило опустить глаза — равновесие тут же исчезало. Мишка был прав.

Потный, взъерошенный, он руководил моими действиями. Руководил весьма решительно:

— Давай! — кричал Мишка, поддерживая велосипед за седло. — Жми сильнее! Вперед, вперед смотри! На дорогу смотри. Вот черт бестолковый! Говорю — вперед, на дорогу, неужели непонятно? Еще давай!

— Не могу, — сказал я, — ничего не получается.

— Как это не можешь? А почему я могу? Вот смотри! — и он вскочил на велосипед и дал круг по двору, разворачиваясь с такими кренами, что я чуть не задохнулся от зависти.

Завернув еще два роскошных круга, Мишка затормозил перед самым моим носом, спешил и приказал:

— Давай!

Он бился со мной чуть не до самого обеда. В конце концов я все-таки поехал. Вихляя из стороны в сторону, панически шарахаясь от препятствий — действительных и мнимых, стра-

дая и радуясь одновременно, я пересек двор по диагонали, остановился около забора, дрожащими руками повернул велосипед в обратную сторону и, подбадриваемый Мишкиными руководящими указаниями, повторил свой маршрут.

На этом мы расстались.

Как ни странно, но дома мои восторги сочувствия не встретили.

— А если ты поломаешь чужой велосипед, что тогда будет? Миша умеет кататься, а ты не умеешь, значит, у тебя шансов вывести машину из строя по меньшей мере в сто раз больше, чем у него. Ты думал об этом? — спросил отец.

— Нет, не думал.

— Очень жаль, надо думать!

— А если ты с этим дурацким велосипедом угодишь под трамвай или под машину? — спросила мама.

— Во дворе трамвай не ходит, — сказал я.

— Сегодня ты катался во дворе, а завтра полезешь на улицу, что, я тебя не знаю!

— Ну что вы хотите от человека? — сказал дядя. — Ну покатайся на чужом велосипеде, так уж сразу и разговоры... Подумаешь, проблема! — Но дядина реплика осталась без внимания.

— Короче говоря, — сказал отец, — поставим точку: больше ты не будешь брать чужих вещей. брать чужие вещи вообще нехорошо, тем более дорогие. Надеюсь, ты понял?

— Да, — сказал я. Весь этот разговор мне ужасно не нравился, но как сказать, что я чего-нибудь не понял, когда все слишком просто, чтобы не понять?

На другое утро я был снова во дворе. И снова пришел Мишка.

— Здрово! — сказал я.

— Здрово! Ну как? Ноги болят?

— Болят.

— У меня сперва тоже болели. Ничего!

— И плечи болят?

— Болят.

— Точно! У меня тоже болели. Потренируешься — все пройдет. Давай!

— Нет, тренироваться я не буду.

— Почему?

Что было делать? Ссылаться на отца — не разрешает брать чужую вещь — стыдно; сказать, что мама боится, как бы я не угодил под трамвай, смешно! Не найдя никакого разумного объяснения, я стал мямлить что-то бесконечно нудное и совершенно бессмысленное.

Сначала Мишка слушал, пытаюсь, видимо, понять хоть какую-то часть моей речи, потом решительно вскочил (он был вообще резким парнем) и сказал:

— Ты что? Не хочешь со мной дружить? Да? Не хочешь?

— Хочу. Почему не хочу?

— Тогда не ври. Тогда скажи, почему ты на самом деле не хочешь тренироваться. Только прямо говори. Ну? Давай говори!

Делать было нечего. Пришлось передать ему разговор с родителями. Правда, мамини опасения я опустил, а отцовские доводы несколько приукрасил.

— И ты испугался? Да?

— Почему? Я не испугался. Только, может быть, это правильно — вдруг я правда поломаю?

— Ни черта не правильно! Ничего твой отец не понимает. Ясно? Мы друзья? Друзья! А раз друзья, значит, все общее. Дорогая вещь! Подумаешь, дорогая вещь! Что же ее теперь, в музей поставить? Может быть, под колпак? Да? И зря ты с папашей своим согласился... Но ничего, я знаю, что мы сейчас сделаем: мы пойдем и напишем клятву. Понял?

— Какую клятву?

— Обыкновенную. Клятву на вечную дружбу. И распишемся кровью. Понял? Тогда уже никто ничего не сможет сделать. Потому что клятва на вечную дружбу — это такая штука, которую нельзя изменить или взять назад никаким способом. Согласен?

— Согласен, — сказал я, хотя не очень поверил во всемогущество клятвы, подписанной кровью.

И в тот же день был составлен соответствующий документ.

Потом мы прокололи пальцы иголкой и расписались под текстом высокого соглашения собственной кровью.

После этого клятва была закупорена в бутылку из-под уксусной эссенции и спрятана в вентиляционной отдушине.

Странно, но с этого момента нарушать родительский за-

прет мне было совсем нетрудно. Видно, кровь имеет какую-то особую силу. Даже капля крови!

Взрослый человек, я и теперь не смеюсь над далеким, ушедшим навсегда прошлым. Больше того, я горжусь тем, что мальчишескую клятву не нарушил ни один из нас. И хотя клятва эта больше не действует: осенью 1944 года Мишка был убит осколком противотанковой мины, — я берегу веру в великую силу дружбы, веру, доставшуюся мне в наследство от Мишки.

О сомнительном выходе из положения, медицинском термометре и непредусмотренной реакции окружающих

Говорят, время стирает подробности, затушевывает детали, а другой раз и вовсе вычеркивает из памяти события. Это верно. Так бывает. Но бывает и по-другому: случается, что время высвечивает минувшее, как проекционный фонарь старую пленку. И тогда — казавшееся пустяковым давно — видится вдруг спустя годы отчетливо и ярко...

Это началось во время второго урока. Вдруг на меня накатил тоска — щемящая, удушливая, совершенно невыносимая. Украдкой глянув на часы, подумал: «Через двадцать минут прозвенит звонок, перемена проскочит и не заметишь как, а там — русский. Будут спрашивать. Меня вызовут. Обязательно вызовут, и — начнется...» О том, что начнется, не хотелось даже и думать.

В конце концов не так уж страшна очередная двойка по родному языку. Неприятно, конечно, но пережить можно. Хуже другое — я отчетливо представлял себе мышинные зубки нашей учительницы, ее румяные, иссеченные склеротическими жилками щечки, ехидные глазки, высокую, на черепачовых шпильках прическу; и я заранее слышал елеиный, тоненький голосок:

— Друг мой, вы снова, да-да, снова, демонстрируете свою полную несостоятельность в предмете. Вы показываете весьма досадную в вашем возрасте, друг мой, леность ума и,

как ни прискорбно констатировать, ограниченность способностей...

Учительский голосок будет журчать и переливаться, а мне придется стоять столбом и прятать глаза и сдерживаться, чтобы снова, как в прошлый раз, не брякнуть такого, что окончательно выведет ее из себя.

Ох, как противно, прямо-таки тошно!

Тренькнул и взорвался звонок. Второй урок кончился. Сейчас промелькнет перемена — и тогда держись!

Даю слово, двойки я не боялся. Боялся сорваться. А вдруг я все-таки не удержусь и ляпну:

— А почему, собственно говоря, вы называете меня «друг мой»? Я лично не вижу к тому никаких оснований...

Или:

— Если уж вы так уверены в моей умственной ограниченности, то стоит ли меня держать в нормальной школе? Говорят, есть специальные школы для придурков... Пожалуйста, переводите!

Я знал совершенно точно: говорить так не следует. Но поддержки мне постоянно не хватало. А ведь это совершенно разные вещи: одно дело — знать, совсем другое — уметь. Уметь вести себя соответственно обстоятельствам...

Я вышел в коридор. Тоска не отпускала. Поглядел в окно, за стеклом виднелись белые заснеженные крыши, над крышами жило чистое голубое небо. И внезапно меня осенило: а почему бы не заболеть?

Вот пойду к доктору и, как дважды два, докажу, что у меня грипп. А? Кажется, у меня и на самом деле побаливает горло, и голова какая-то тяжелая, и все тело в холодной липкой испарине...

У Жорки такой номер проходил не раз. Жорка был великодушным импровизатором, ему ничего не стоило соорудить жалкие глаза и подкатиться к нашей школьной врачихе. Почему бы и мне не попробовать?

Приняв столь неожиданное и столь мудрое решение, я даже повеселел.

Врачебный кабинет находился на втором этаже. Перепрыгивая через три ступеньки, чуть не сбив с ног поднимающуюся по лестнице Таню, я понесся вниз. Перед дверью с минуту постоял, отдышался и деликатно постучал.

Школьный доктор, старенькая Берта Исааковна, посмотре-

ла на меня подозрительно. Впрочем, она на всех нас смотрела без особого доверия.

— Ну, что случилось? — спросила Берта Исааковна и наклонила блестящий электрический чайник над граненым стаканом.

— Да вот не знаю, вроде заболел, — сказал я.

— Вроде или на самом деле заболел? — спросила Берта Исааковна и понесла чайник к раковине.

— Голова, доктор, и горло тоже...

— Голова? Наверное, много занимаешься и мало спишь? — Берта Исааковна достала из стеклянного шкафчика термометр, страхнула ртуть, близоруко щурясь, долго проверяла, хорошо ли страхнула, и, наконец, подала мне градусник. — Мерь. Посмотрим.

На помощь этого точного медицинского прибора я не очень рассчитывал. А о бестемпературном гриппе в те годы никто еще ничего не слышал. Надо было срочно разводить демагогию: любыми средствами растрогать старушку. Я уже открыл было рот, готовясь излиться жалобами, но Берта Исааковна повернулась ко мне спиной — пошла мыть руки. (Перед чаем, как перед всяким другим приемом пищи, полагается мыть руки с мылом!)

И тут меня осенило. Осенило во второй раз!

Движением циркового фокусника я выхватил градусник из-под мышки, окунул ртутный конец в стакан с докторским чаем и поставил термометр на место.

Теперь можно было не плакаться и не мусорить жалкими словами. Точный прибор есть точный прибор! Я закрыл рот и сидел совсем тихо, понурившись, отрешенно глядя в окно.

Берта Исааковна принялась размешивать сахар в чае. Тихо звякала ложечка. Потом она посмотрела на часы и сказала:

— Ну, давай!

Я равнодушно протянул термометр.

Если вы не переживали землетрясения, или тихоокеанского тайфуна, или в крайнем случае новороссийской боры, вам никогда не представить, что произошло дальше.

Стоило Берте Исааковне взглянуть на градусник, как она буквально взорвалась, перепрыгнула через половину кабинета, схватила меня за шиворот (откуда только в старушке взялась такая сила?) и со скоростью артиллерийского снаряда потянула по коридору.

Все пятьдесят метров, что отделяли докторский кабинет от дверей учительской, Берта Исааковна отчаянно ругалась и кричала. Кажется, изо всех классов, мимо которых мы пролетели, выскакивали перепуганные педагоги.

Наконец она толкнула меня в учительскую и повалилась на диван.

В учительской было тихо. Как на грех, у длинного зеленого стола сидела Мария Николаевна — физик и наш классный руководитель.

— Ваш? — еле переводя дух, спросила Берта Исааковна. — Полюбуйтесь! — и она сунула чуть не в нос Марии Николаевне свой проклятый градусник. — Этот босяк, этот паршивец записал градусник в мой чай!

На этом энергия Берты Исааковны, видимо, кончилась. Старая докторша разрыдалась и выбежала из учительской, отчаянно хлопнув дверью.

Мария Николаевна молчала. Я тоже молчал.

— Так, — сказала она наконец. — Выкладывай все по порядку.

Выкладывать было нечего.

— Ты на самом деле плохо себя чувствуешь? — спросила Мария Николаевна.

— На самом, — сказал я, избегая ее глаз. Мне действительно казалось, что чувствую я себя неважно, даже очень неважно...

— Это точно?

— Точно.

— Давай дневник.

— Дневник в классе.

— Ладно, потом дашь. Можешь идти домой. Отпускаю. Но в дневнике я поставлю тебе двойку по физике.

— По физике? Почему по физике?..

— Потому что не знать температуру кипения воды — это, это... черт знает что. Такое безобразие ни в какие ворота не лезет. Ступай!

Я ушел смертельно обиженный. С Марией Николаевной мы дружили, если ученику вообще возможно дружить с учителем. К тому же я любил физику и знал. И вот...

Удивительно, Марию Николаевну я осуждал, себя — нет. Больше того, считал себя пострадавшим.

О привязанности к лошадям, поездке в лес и слепой ненависти

Родился и вырос я в городе, потому, как ни грустно признаваться, мальчишкой не разбирался ни в травах, ни в птицах, был довольно-таки равнодушен ко всякой живности. Хотя, если быть точным, не совсем ко всякой: почему-то я всегда любил лошадей.

Лошади мне нравились любые: и те, что были запряжены в извозчицьи пролетки, и те бронзовые, что венчали тяжелую и торжественную Триумфальную арку, и цирковые — нарядные барышни с разноцветными плюмажами на головах, и обыкновенные ломовые битюги.

Да, лошади мне нравились. Нравились — и все. На них всегда хотелось смотреть, хотелось трепать их длинные гривы, хотелось скармливать им сахар. Лошадей я несколько не боялся.

И все же моя лошадиная привязанность была хоть и постоянной и сильной, но долгое время оставалась чисто теоретической. Сесть верхом на живого коня я мог разве что во сне. Проскакать на вороном иноходце по головоломной горной тропе — только в кино и только мысленно. Даже погладить живую лошадь негде было.

Но я все равно любил лошадей. Любил преданно и нежно. А проявить эту любовь на практике мне случилось самым неожиданным образом.

Как-то уже под осень сколотилась у нас компания. Решили ехать за город, по грибы.

Решили — поехали.

Долго ходили по лесу, шарили под кустами, как полагается, аукались, но почти ничего не набрали. В довершение всего попали под проливной дождь и сильно вымокли.

— Летать рожденный не может ползать! — сказал Мишка и первым повернул оглобли. Мишка любил афоризмы, иностранные слова, и вообще ему нравились независимые позы.

— А как же грибы? — спросил Жорка. Он стоял посреди дороги, длинный, весь мокрый, напоминающий вопросительный знак. Отступать Жорка терпеть не мог, даже в мелочах.

— Пусть пока растут, — сказал Мишка. — Дождь им полезен. Так свидетельствуют авторитеты и корифеи.

— К маме захотелось?
— К тете...
— Перестаньте, мальчишки, — сказала Таня. Она боялась споров и постоянно старалась помирить нас. Правда, не всегда лучшим способом. — Давайте-ка споем.

Но петь никто не стал. Чертыхаясь, скользя по раскисшей дороге, мы понуро побрели к станции. Ни радости, ни простого удовольствия никто не испытывал. И мечтали все об одном — скорей бы забиться в вагон электрички и ехать, ехать, ехать домой.

Мы уже выбрались из леса и подходили к станции. Здесь, на открытом месте, грязи было еще больше, чем в лесу. Грязь просто-таки поровила нас разуть.

Перед самым станционным буфетом — мы увидели это все сразу — в глубокой, вдрызг размокшей колее застрял воз с сеном. Рыжая, потемневшая от дождя и пота лошадь напрасно билась в упряжке — телега словно вросла в глинистую жижу.

Несколько зевак наблюдали за лошадьёю из-под навеса, а рослый лохматый дядька — возница неистово дергал вожжи, нахлестывал несчастную конягу кнутом и препохабно ругался.



Все вижу как сейчас: серый, какой-то гнусный пейзаж, рыжую замученную лошадь с надувшимися на животе веревками-жилами, озверевшего возчика — тупого, бешеного, вроде незрячего...

Это первый кадр. А следующие вспоминаются так:

Вот лохматый человек подскакивает к забору. Выдергивает из редкой осиновой изгороди кол.

Вот крупно: вожжи, затоптанные в грязь. Старые ременные вожжи.

Вот взлетающий над лошадью кол. Потом падающий, и снова взлетающий, и опять падающий...

Удар по голове. Удар по животу. Удар по спине.

Дрожащая, словно в мелком ознобе, лошадь.

И еще удары, удары, удары, гулкие, барабанные.

Вот лошадь медленно, очень медленно опускается на колени.

И тогда, именно тогда — ни мгновением раньше, ни мгновением позже со мной сделалось что-то странное: весь я стал совершенно сухим, горячим и очень легким; голос исчез, будто выключился; мир сузился, словно перед глазами резко задернули диафрагму, — я видел только часть лошади, руки возчика и свистящий осиновый кол.

Все, что произошло следом, мне известно из сбивчивого рассказа ребят.

Говорят, я молча ринулся к детине. Остановился, выждал, когда он в очередной раз опустил кол, и прыгнул.

Говорят, я вцепился ему в горло.

Возчик, не ожидавший нападения, поскользнулся, потерял равновесие, и оба мы рухнули в лишнюю грязь.

Тут откуда ни возьмись набежала целая толпа народу. Говорят, меня с трудом оторвали от лохматого верзилы и никак не могли привести в себя. Говорят, я все время повторял: «Убью гада! Все равно убью!»

Сам я ничего этого не помню, какие-то секунды я будто и не жил. И все, что делали мои руки, ноги, тело, совершалось без участия разума...

Воз вытолкнули всем миром. Мужика изругали тоже всем миром.

С первой же электричкой мы уехали в город.

Вот, кажется, и все.

Но за всякими внешними событиями жизни непременно скрываются явления внутренние.

В этот день я совершенно отчетливо почувствовал: даже маленький человек может оказаться вполне реальной силой, если он не рассуждает, не размахивает руками, не пылит душепоспасительными словечками, а действует. Действует решительно. Действует активно.

И еще я понял, но это уже, пожалуй, позже: в человеке живет подспудная, скрытая, взрывная энергия. Мера ее во много раз больше, чем можно вообразить. И правильно управлять этой отчаянно острой силой, чтобы она служила только справедливости, трудно, но очень нужно.

О поисках славы, диком споре и его весьма плачевных результатах

Любопытно, когда я полез вступаться за лошадь, у меня и мысли не было: «Вот сейчас отличусь!» И кажется, я сделал все так, как надо было сделать. Но сколь ни досадно в том признаваться, отнюдь не всегда я действовал бескорыстно...

Была в мальчишеской жизни целая полоса — душная, неприятная, нервная, — когда я все время мечтал показать себя. В чем — неважно. Для чего — тоже не имело значения. Вот умри, а отличись. Заставь окружающих говорить о тебе, указывать на тебя пальцем, шептать: «Это тот самый Валька...» И даже не «Валька», а «Валентин».

Пробовал прославиться в науках. Но из этого ничего не вышло. Когда я до потемнения в зрачках учил очередное задание, меня, как назло, просто не спрашивали. А вот если я не успевал заглянуть в книжку, тут-то меня непременно вызывали к доске. Быть может, я не нашел правильной системы чередования (учить все подряд регулярно мне просто не приходило в голову), а возможно, учителя разгадали мои честолюбивые порывы и каким-то тайным способом умудрились парировать все «кавалерийские наскоки» нетерпеливого претендента на лавры.

Так или иначе — прославиться в науках не удалось.

Пробовал отличиться на спортивном поприще. Кое-чего, пожалуй, достиг: стал, например, лучше других в классе прыгать в длину и высоту, но на турник забирался все равно с грехом пополам. И тут уж мои жалкие потуги не могли идти ни в какое сравнение с блестящими достижениями Жорки. Стервец Жорка, жилистый и гибкий, как кошка, свободно подтягивался на перекладине шесть раз подряд. При этом он еще держал преднос!

Словом, в спорте мне тоже пока не везло.

А в голову словно бес какой-то вселился: «Отличись, ну хоть в чем-нибудь отличись! Неужели ты хуже всех? Придумай что-нибудь особенное, что-нибудь такое, чтобы все ахнули...»

Взрослая жизнь преподавала неограниченное число примеров для подражания: газеты каждый день печатали портреты лучших сталеваров, шахтеров, машинистов. Их называли тогда стахановцами (по имени знатного донецкого забойщика Алексея Стаханова). Кино прославляло героических участников многочисленных лыжных, велосипедных, конных пробегов, совершавшихся чуть не ежедневно. Все мы, мальчишки и девочки, знали имена лучших летчиков и лучших капитанов страны. Казалось бы, ясно: славу приносят труд и упорство, дерзание и расчет...

Трудиться я собирался в будущем, дерзать тоже собирался несколько позднее, а пока...

Вот что было пока.

Черчение нам преподавал старенький, подслеповатый и самый безобидный на свете человек — Семен Григорьевич. Отчаявшись поразить мир научными и спортивными достижениями, я выдумал такую штуку: когда Семен Григорьевич появился в дверях класса, я встал и сказал громким, противным голосом:

— Привет, Сеня! Как дела?

Тридцать шесть человек, все ребята нашего класса, замерли. Впрочем, и я тоже замер вместе со всеми. Но добродушный Семен Григорьевич или не расслышал моих диких слов, или подумал, что я обращаюсь вовсе не к нему, а к Сеньке Яблонскому. Как бы там ни было, но он даже ухом не повел. Сказал совсем обыкновенно:

— Прошу садиться. Начинаем урок.

Вместе со всеми опустился на место и я. Сел совершенно

уничтоженный. И такой номер не прошел! Снова я не прославился. Что же делать?

Настроение было испорчено на весь день. К тому же я ужасно опасался насмешек, но никто не стал надо мной издеваться. Только Мишка сказал на перемене:

— Ну и дал же ты! — Понимать это можно было как угодно: при желании — восторженным восхищением, при желании — сдержанным осуждением.

Уточнять я не стал...

Когда мы после уроков выходили из школы, кто-то из мальчишек предложил:

— А давайте спорнем, кто подойдет к первому встречному и задаст самый чудной вопрос.

Предложение было принято, и мы тут же поконались. Начинать досталось Жоре, потом должен был показать себя Мишка, за ним Ким и я...

Жора без долгих размышлений подошел к пожилому мужчине и очень вежливо спросил:

— Скажите, пожалуйста, который час?

Разумеется, он получил такой же вежливый ответ и вернулся к нам, сияя, как новенький полтинник. Но все заявили, что спросить у прохожего время может каждый дурак, что ничего чудного тут нет, и единогласно постановили: Жору из игры вывести. Кажется, он даже остался доволен таким заключением. Во всяком случае, не спорил и не возражал.

Мишка смело направился к постовому милиционеру. Мы замерли и на всякий случай приготовились убежать. Но ничего особенного не случилось и на этот раз. Миша спросил:

— Товарищ милиционер, а не известно ли вам, паче чаяния, где тут находится Трехпрудный переулок? — и тоже получил нормальный ответ.

Ким выбрал объектом нападения шофера. Подошел и стал расспрашивать, какой мотор стоит на машине, сколько в нем лошадиных сил, какие цилиндры и много ли оборотов развивает коленчатый вал.

Шофер оказался словоохотливым дядькой и весьма дружелюбно отвечал на все вопросы Кима. Они беседовали никак не меньше пяти минут, и мы вынуждены были признать, что Ким переплюнул всех и пока занимает безусловно первое место в нашей затее.

После Кима наступила моя очередь.

Что произойдет через минуту, я не имел ни малейшего понятия, но в одном был почему-то убежден: сейчас или никогда...

И тут из булочной вышел человек с длинной седеющей бородой. Он был высокий, сутулый, некрасивый. Лицо его казалось мне недобрый, каким-то птичьим.

«Ты подойдешь к нему, — сказал я себе. — Ну!» — и пошел. Пошел на деревянных, негнущихся ногах.

Сердце колотилось часто-часто.

Рот сделался сухим.

Но я шел и глядел прямо в недоброе лицо высокого бородача.

Когда расстояние между нами сократилось шагов до трех, я в последний раз вздохнул и сказал очень громко:

— Гражданин! Продайте бороду!

Мужчина остановился, посмотрел на меня не то удивленно, не то сочувственно и тихо спросил:

— А на что тебе моя борода?

Вот это был номер!

Я ждал чего угодно: отчаянной ругани, скандала, немедленной отправки в милицию, но только не такого миролюбиво-делового вопроса.

И... растерялся.

Открыл рот, захлопнул, еще раз открыл и опять захлопнул...

Тогда мужчина сказал:

— Вот видишь, ты и сам не знаешь, зачем тебе борода. А просишь — продайте! Надо бы тебя, молодой человек, доктору показать. По-моему, ты того... Малость псих... — И он как ни в чем не бывало пошел своей дорогой.

А я?

Я, наконец, добился своего. Прославился!

Только ох и горькая ж это была слава: с того дня вся школа звала меня не иначе как Психом.

— Здорово, Псих! Задачку решил?

— Эй, Псих, пошли мячик постукаем!

— Марками будешь меняться, Псих? У меня Конго есть.

Даже Женя, самая лучшая девчонка в школе, и та иногда, наверное нечаянно, просто незаметно для самой себя, стала называть меня Психом...

И обижаться было решительно не на кого.

О любви, вспыхнувшей неожиданно
и угасшей с позорным счетом

До поры до времени я не страдал, не мучился из-за девчонки, хотя влюблялся часто и, казалось, по-настоящему. Первый раз это случилось лет в шесть. Ей было больше, наверное, лет одиннадцать. Я увидел ее в цирке, на арене. Голубая девчонка танцевала на лошади. Старый Труцци, руководитель конной труппы, щелкал длинным тонким бичом — шамбарьером, здоровенный белый битюг мчался по кругу, а на его могучей спине танцевала игрушечная, сказочная тонкая девчонка. И оркестр играл сладкую музыку. И осветители крутили глазастые диски перед софитами, и арена становилась то розовой, то желтой, то бледно-зеленой...

Как звали девочку, не знаю. Но любил я ее отчаянно — дней пять подряд: мне казалось, что я обязательно должен ее встретить где-нибудь на бульваре, может быть, просто на улице. Что будет тогда, я не знал, но ждал этой встречи... Увы, встреча не состоялась. По ночам девочка снилась мне. И тогда мы скакали на белом битюге вдвоем, и я совершал такие отчаянные штуки, что даже старый Труцци приходил в изумление и ронял свой щелкающий шамбарьер на желтые опилки арены...

А потом все прошло. Как-то сразу.

Одно время я был влюблен в Катю. Катя бегала лучше всех мальчишек нашего двора, играла в футбол и говорила удивительно низким голосом, почти басом. Я не мог спокойно смотреть на ее круглую, всегда загорелую физиономию. При Кате мне почему-то хотелось с кем-нибудь подраться, блеснуть удалью. Однажды в ее честь я забрался по пожарной лестнице на крышу нашего пятиэтажного дома. Странно, но Катя не оценила этого, а отец, получив соответствующую информацию от дворника, приказал мне снять штаны и лечь на диван. Судя по тому, что в руках он держал канцелярскую линейку, ничего хорошего меня не ожидало. Я сбежал из дому и до позднего вечера скрывался у соседей. Урегулировала конфликт мама.

Катю я больше не замечал. Решил: девчонки не стоят моего внимания.

Так или примерно так случалось много раз. Почему-то моя любовь не находила ни сочувствия, ни понимания, ни ответа.

Может быть, мне просто не везло, а может быть, это была и не настоящая любовь. Впрочем, теперь нет уже смысла доискиваться истинных причин. Дело прошлое.

Ну, а потом, потом я влюбился снова.

В каком это случилось классе — в восьмом или девятом, — точно не помню. Кажется, в восьмом. К нам назначили новую учительницу немецкого языка — Марию Карловну. Высокая, полная, необыкновенно румяная, она была очень молода. Едва ли ей исполнилось в ту пору двадцать четыре года.

Мария Карловна не скрывала — мы были первым классом, который ей доверили. Теперь я убежден, что немка опасалась нас гораздо больше, чем мы ее.

В педагогическом институте, с которым Мария Карловна только-только рассталась, ей пять лет подряд внушали такую важную, проверенную многолетней практикой мысль: первооснова учительского авторитета есть дисциплина! И Мария Карловна изо всех сил старалась реализовать эту идею на практике: на своих уроках она насаждала дисциплину самого высшего сорта.

Мы старались ей не мешать, она нам нравилась. Не дисциплина, разумеется, а сама Мария Карловна.

И вряд ли нашей молодой учительнице приходило в голову, что за глаза все называли ее «нашей Машей», а девочки с азартом обсуждали ее прически, кофточки, юбки, чулки и милую манеру щурить глаза. Впрочем, это вовсе не означает, что женская часть класса относилась к «нашей Маше» хуже, чем мужская.

Со мной же на ее уроках делалось что-то странное.

Во-первых, на уроках немецкого языка я безнадёжно глупел: ответить на вопрос: «Вельхер таг ист хойте?» — я мог только с третьей или четвертой попытки.

Во-вторых, все, что говорила «наша Маша», отскакивало от меня, как мячик от ракетки. От звонка до звонка мне хотелось смотреть на нее. Смотреть, как она держит книжку, громко, с выражением читая текст нового упражнения — этого юбунг нумер... Смотреть, как она наклоняет голову, слушая ответ очередного балбеса — альзо вайтер вайс их нихт... Смотреть, как она стряхивает мел со своих длинных наманикюренных пальцев...

В конце концов я сделал ужасное, прямо-таки потрясающее открытие: я влюбился в «нашу Машу» — в Марию Кар-

ловну Кугель, преподавательницу немецкого языка, очаровательную женщину, только, по горькой ошибке судьбы, родившуюся лет на восемь раньше меня.

Простейшее решение такого конфликта в облегченной повести для детей младшего и среднего возраста выглядело бы, вероятно, так: он делается первым отличником и тем самым обращает на себя ее внимание, а она, умно и тонко чувствуя переживания соплевого Ромео, деликатно переключает его увлечение с рельсов детской любви на рельсы комсомольской дружбы, и все заканчивается назидательной, чуточку грустной прогулкой по осеннему парку культуры...

Однако жизнь плохо укладывается даже в хорошие схемы.

Поняв, что влюбился, промучившись над этим неожиданным открытием с неделей, я решил объясниться.

В настоящих романах, в тех самых, про которые говорили, что читать их нам еще рано, влюбленные всегда объяснялись.

Из всех возможных способов объяснения я выбрал самый безопасный — письменный. Так появилось на свет божий письмо следующего содержания:

Дорогая и несравненная М. К.!

Вы можете наказать меня своим презрением, но молчать я все равно больше не в силах. В тот день, когда Вы появились в нашем классе, в тот день, когда я услышал Ваш голос, увидел Вас, вся моя жизнь решительно перевернулась на сто восемьдесят градусов.

Пожалуйста, не смейтесь надо мной и дочитайте это письмо до конца...

Дальше я сообщал «нашей Маше», что мне, разумеется, и раньше случалось влюбляться, но все бывшие мои увлечения просто детский лепет в сравнении с теми чувствами, которые она зажгла в моем бедном сердце... И так далее и тому подобное.

Заканчивалось же письмо так:

И в том и в другом случае умоляю Вас ответить на это письмо. Свой ответ положите под бюст Максима Горького на площадке третьего этажа.

С превеликим трудом письмо было переведено на немецкий язык, переписано, выверено по четвертому изданию словаря Павловского и вложено в очередную контрольную работу.

Два следующих дня я не жил. На третий помчался к назначенному месту. Убедившись, что никто за мной не наблюдает, я осторожно приподнял бюст. Представляете, на красной тумбочке-пьедестале лежал голубой конверт. Похолодевшими пальцами схватил я это послание, торопливо надорвал край...

В конверте находилось мое безумное послание. Синие строчки были аккуратно выправлены красными учительскими чернилами.

Красных пометок: восклицательных знаков, галочек, запятых было полно. Как клюквы в болоте (в урожайный год). А в самом конце четвертой страницы значилось: «Содержание — 3, исполнение — 2. Ошибки подчитай сам. М. К.».

Так бесславно окончилась еще одна моя любовь. Но в отличие от всех предыдущих увлечений это оставило довольно прочный след в жизни. Я понял — для Марии Карловны я был просто учеником, еще одним учеником. И все: А любить можно только самого главного человека на свете. (Самого главного, конечно, для того, кто любит.) Но прежде надо было сделать человеком. И по возможности человеком настоящим.

О краске, «цыганском торге» и честных медалях

К сожалению, не все взрослые и не всегда помогают нам стать настоящими. Может быть, потому, что это совсем не просто.

При начале разговора мне присутствовать не пришлось, но не надо обладать особенно богатым воображением, чтобы представить себе, как протекала беседа.

В кабинет директора школы вошел широкоплечий, средних лет мужчина, сдвинул с головы кепку-воосьмиклинку, представился и сказал:

— Так вот, директор, значит, какое дело получается — нашему ДСО... Не улавливаете? Добровольное спортивное общество — в этом смысле ДСО... Значит, нашему ДСО не хватает для парадной спортивной колонны сорок восемь мальчиков ростом по сто семьдесят два — сто семьдесят три сантиметра. Принципиально мы этот вопрос утрясли и согласовали в гороно

и в других районных организациях. Так что не сомневайтесь — все как полагается, то есть законно! И теперь на вашу долю, вернее, на вашу школу приходится восемь мальчиков. Прошу распорядиться, указав персонально, кто будет выделен...

Надо думать, что директор не пришел в восторг от этого неожиданного сообщения, но, поскольку вопрос был уже «утрачен и согласован», распорядился.

Двенадцать с половиной процентов упомянутого числа мальчиков составил я.

Все назначенные на парад ребята были довольны. Да и как не быть довольными, когда мы получили пять свободных от занятий дней на загар, и еще — бесплатные кремовые трусы с лампасами, красные, как огонь, майки, белые спортивные туфли и носочки с кантиками. Плюс участие в первомайском параде на Красной площади. Поди, плохо!

Правда, все эти радости надо было отработать: не думайте, что сорок восемь человек могут вот так вдруг выстроиться в шеренгу и запросто пройти триста метров, не сбившись с ноги и не потеряв равнения. Мы тренировались до конского пота, до ватных ног. Конечно, тренировки были утомительным, но все же более приятным занятием, чем надоевшие уроки в школе.

Словом, мы радовались и веселились как могли. И я вовсе не ожидал, что спортивная «карьер» не окончится для меня в день праздника.

После генеральной репетиции к нам с Жоркой подошел известный руководящий товарищ (то, что товарищ был руководящим, мы без труда определили по его цвету масла шерстяным брюкам и такому же пиджаку). Товарищ спросил:

— Вы, ребята, по разверстке?

— Чего? — не понял Жорка. Жорка любил в жизни ясность. Вероятно, поэтому он не проявил особой любезности. И его «чего» прозвучало далеко не галантно. Но руководящий товарищ не обратил ровным счетом никакого внимания ни на тон Жоркиного ответа, ни на его независимый вид.

— Ну, из школы, подкрашенные?

Действительно, перед генеральной репетицией нам ровняли загар и подмазывали нас каким-то пахучим маслом.

— И что же? — спросил я. «Подкрашенные», да еще поставленное под ударение, мне, откровенно говоря, не понравилось.

— Ничего. Просто интересуюсь. А ну-ка, согни руку. Так. Теперь присядь. Хорошо. Повернись. Сколько лет? Нормально. Давай ты...

Он вертел нас с Жоркой и так и этак. А мы, обалдевшие от неожиданности, никак не могли понять, чем все это кончится. Наконец руководящий товарищ заявил:

— Пожалуй, вы мне годитесь. Ищу кандидатов в юношескую гребную команду. Интересуетесь? Или через всю жизнь собираетесь на подкраске топтать?

— Так разве ж это мы придумали? — сказал Жорка.

— И не я, — перебил его Кузнецов (он назвал нам свою фамилию, пока крутил нас и ощупывал, словно цыган лошадей), — понимаете — не я. Поладим?

Никогда в жизни я ничего не слышал об академической гребле. Понятия не имел, чем скиф отличается от клинкера и что байдарка — «это уже совсем из другой оперы»... И чемпионские лавры меня не прельщали, то есть лавры-то, пожалуй, и устроили б, а все предшествующее — тренировки, распорядок, строгий контроль, упорство, кровавые мозоли на ладонях, неизбежные поражения и снова тренировки... Нет, на это я не считал себя способным.

И все-таки мы поладили.

Почему это случилось, объяснить мне трудно, почти невозможно. Загипнотизировал нас Кузнецов, очаровал или покорил — не могу сказать. Знаю, что он крепко и надолго забрал нас в свои тренерские руки.

Так я стал гребцом.

И если кто-нибудь усомнится в этом, могу предъявить пять потемневших от времени, но очень дорогих мне спортивных медалей. При этом готов присягнуть — на медалях нет ни грамма «подкраски».

Но дороже всех медалей, всех памятных призов и грамот сознание того, что я был воспитанником Льва Кузнецова, отличного гребца и отличного человека. Ведь он научил нас не просто грести (складно махать веслами, правильно врубаться в воду и лихо тянуть валики до груди), он научил нас преодолевать самих себя. Ломит спину, дрожат руки, глаза закрываются от усталости, а ты держись! Противник обходит на последних метрах дистанции, у тебя уже нет ни грамма силы, ты не дышишь, а хрипишь, как загнанная лошадь, в зрчках тем-

неет. Ни черта! Соберись, зажми себя и спуртуй, спуртуй до обморока, но не сдавайся. Вырви метр, полметра, хоть пять сантиметров, а победи... Вот чему научил нас Лев Кузнецов.

Я не фаталист, я не суеверный и все-таки думаю иногда: если все мы, парни, работавшие в юношеской команде Кузнецова, вернулись с войны живыми, в этом есть что-то и от кузнецовской выучки.

Ну, и кроме того, я хочу сказать, что со временем полюбил греблю, полюбил прочно, хотя однажды чуть не изменил веслам...

О вреде уступчивости, очаровании ринга и печальном расставании

В нашем классе учился Ким Лойко. Ким постоянно «взрывался» каким-нибудь новым увлечением: то физикой, то кружком юных друзей музеев революции, то его кидало в археологию, то в фотографию. Мы не очень дружили (Ким — не Жорка и не Миша), но, как говорится, подд ржи-вали вполне приличные приятельские отношения, тем более что мы были не только одноклассниками, но и соседями по дому.

Однажды мы возвращались из школы. Вдруг Ким остановился и спросил:

— Слушай, а что ты знаешь про Матье, про мсье Поля?

— Ничего не знаю. Первый раз слышу...

— Тогда ты — темнота! Ясно? Совершенная темнота. Ты просто тундра в двенадцать часов ночи. Ясно?

— Возможно.

— Не возможно, а точно! Мсье Поль бывший чемпион мира! Золотые перчатки! Ясно? Теперь, правда, он тренер и все называют его Павлом Васильевичем, а не мсье Подем, но все равно...

— Ну и что?

— Ничего! Матье живет в Москве, он тренер «Динамо». Из таких вот охламонов, как ты, делает настоящих боксеров. — Тут Ким занял стойку и стремительно провел полраунда с собственной тенью.

Посмотрев, как он подпрыгивает и молотит кулаками воздух, я понял — у Кима очередное помешательство. На этот раз бокс.

— Решено? Или ты будешь обдумывать, взвешивать и обсуждать?

— Что решено? — спросил я.

— Вот так я и знал — «что»! Хочешь к Матье? Могу свести!

— Когда?

— Опять — «когда, когда?»! Спроси еще: для чего? Сейчас хочешь идти?..

Нет, я не собирался знакомиться с Матье, я не мечтал сделаться боксером, но, как ни странно, мы все же пошли к мсье Полю.

Вы, вероятно, уже заметили — такое случалось со мной довольно часто: не собирался минуту назад куда-то идти, что-то делать, а поманили — шел.

Мне всегда было трудно отказываться. А что подумают? А что скажут? А вдруг будут смеяться?..

Наверное, если б в ту пору мне кто-нибудь сказал, что неумение отказываться — один из видов проявления слабой воли, я бы смертельно обиделся. Но это так. Получив в жизни много щелчков по носу, убедился — так...

Всю дорогу Ким оглушал меня непонятными иностранными словами — апперкотами, хугами, нокдаунами и клинчами. При этом он размахивал руками, вертелся, подпрыгивал, как наспиртованный. Он был великолепен в своем восторге!

Матье оказался седым, очень стройным старцем. Собственно, старым у него было только лицо, темное, в глубоких морщинах. Что же касается тела — я увидел его тело, когда он переодевался в тренировочный костюм, — это было тело античного бога: великолепный рисунок мышц, ни складочки жира, молодая блестящая кожа.

— Вот, Павел Васильевич, привел новичка, — сказал Ким, — он прямо умирает — хочет стать боксером и просит вас принять его в секцию.

— Этот шеловек немножко немой? — спросил мсье Поль. — Он не имеет свой язык? Или он очень пугливый?

— Нон (это было единственное французское слово, которое я знал), я не пугливый, и у меня есть язык, — сказал я, — только не такой длинный, как у Кима.

Мсье Поль засмеялся.

— Скотина, — прошипел Ким, — это вместо благодарности, да?

— Раздевайся, будем делать маленький проба, — сказал Матье.

При этих словах все окружающие почему-то заулыбались, но я не придавал сколько-нибудь серьезного значения внезапному оживлению. Торопливо скинул рубашку и брюки.

Мне забинтовали руки, напялили здоровенные боксерские перчатки. И вот я очутился на тренировочном ринге. Против меня стоял Матье.

Мсье Поль сказал:

— Пошальнойста, наноси мне самый сильный удар, какой только можешь наносить.

Я посмотрел в его добрые голубые глаза, посмотрел на его глубокие темные морщины, и мне сделалось ужасно неуютно. Ну как ударить такого симпатичного старика?

— Пошальнойста, бей. Не бойся, я не сломаюсь на две половинки.

Делать было нечего. Прицелившись в плечо (посягать на его голову не решился), я размахнулся и ударил. Странно: моя перчатка ткнулась в его перчатку, а он как стоял, так остался стоять. Меня же заметное повело в сторону.

— Не надо размахивать руками, — сказал мсье Поль, — размахивает руками только пьяный извозчик. Бей коротко, сильно и смотри, куда бьешь. Еще раз, пошальнойста.

Я старался, но все мои попытки достичь мсье Поля результата не давали. С упорством осла я стучался в его перчатки и никак не мог взять в толк, что дело тут не в моей слабости, не в моем неумении драться, а в его золотом боксерском мастерстве. Мсье Поль без всякого труда защищался от моих жалких наскоков, пользуясь элементарными приемами неизвестной мне науки.

После десятой, а может быть, и пятнадцатой бестолковой атаки Матье сказал:

— Хорошо! Теперь, пошальнойста, защищайся. Нападать буду я. Ноги поставь пошире.

Как разворачивались события дальше, я могу передать, увы, весьма приблизительно. Нежданно-негаданно в голове у меня что-то ухнуло. Лампы, освещавшие помост, переместились

с потолка на стену. Лоб ощутил прохладную и шершавую обтяжку ринга...

Меня поставили на ноги. Я отдышался и услышал:

— Это прямой удар. От него надо уклоняться в сторону, а не лезть как баран на перчатку. Понял? Еще раз прошу, пошалоюста.

Теперь лампы закрутились, погасли, снова зажглись, но я с удивлением обнаружил, что стою на ногах.

Что-то во мне взбунтовалось: да что я, правда баран! И я ринулся вперед, пытаюсь ударить мсье Поля. Ни о его добрых глазах, ни о его старческих морщинах я больше не думал. Откуда-то издали прозвучал глуховатый голос Матье:

— О-о-о! Хорошо, ошень хорошо, мальшик.

На этом проба закончилась.

Павел Васильевич сказал на прощанье:

— Если ты послезавтра будешь приходить опять, тогда я, может быть, буду тебя брать в секцию. Пошалоюста, отдохни и подумай — нравятся ли тебе бокс?

Не буду врать: бокс мне не понравился. Во-первых, у меня еще долго гудело в голове; во-вторых, ныло плечо; в-третьих, болело колено, и вообще я чувствовал себя так, будто сначала был разобран на сто восемьдесят пять отдельных частей, а потом при сборке какие-то детали перепутали...

Но тяжелее всех, так сказать, физических недугов оказались мысли.

«Пойти снова? Испытать все это еще раз? А потом еще и еще? Не идти? Но что скажет тогда Матье? Что скажет Ким? Как я сам погляжу на себя в зеркало? Может быть, заболеть? Нет уж, это совсем никуда не годится, лучше честно сказать: не могу...»

В конце концов я все-таки заставил себя пойти к мсье Полю и начал заниматься в секции. Кажется, я успел сделать даже кое-какие успехи, но боксером все-таки не стал.

Не знаю, откуда (возможно, не без участия болтливого Кима) Павел Васильевич узнал, что еще раньше я начал заниматься академической греблей. И тогда мсье Поль позвал меня в свой уголок (был у него любимый уголок в раздевалке) и сказал:

— Мне шаль, мой мальшик, но нам надо расстаться. Ты

больше гребец, чем боксер. Я так думаю, глядя на твой фигур и рисунок мышц. И потом, пошалоюста, запомни: спорт есть талант плюс терпение, плюс — это обязательно — постоянство! Как в настоящей любви. Иди, шелаю тебе много-много счастья.

И мне пришлось уйти от мсье Поля. Все в секции знали: своих решений Матье не меняет никогда.

Мне очень трудно определить момент, с которого началось наше повзросление. Может быть, такой «точки» и вовсе не было, скорее всего «график» не ломался, а плавно изогнулся. Думаю, однако, что знакомство с Кузнецовым и встреча с Матье легли в начало этого изгиба...

**О бритве, обранных носах,
прохладном великолепии кафе и
тяжелых сомнениях**

Впрочем, кроме скрытых признаков повзросления, были и признаки явные: один за другим мы, мальчишки, начали бриться, а наши девчонки обстригли косы. Очень прошу вас, не ухмыляйтесь: это важные приметы!

Что о нас думали окружающие, точно не знаю, но сам-то мы были совершенно уверены: наконец-то, наконец-то пришла наша долгожданная взрослость. Это вместо вступления.

А теперь слушайте.

В субботу, сразу после уроков, мы с Жоркой отправились к бабке Маляровой. Вредная старуха Малярова жила в соседнем подъезде и пользовалась всеобщей вполне заслуженной любовью, но... Бабка обещала подкинуть нам выгодную работенку. И мы пошли и до самого вечера, распушивая клопов и поднимая облака серой пыли, меняли электропроводку в ее затхлой комнате. За самоотверженный труд и за вредные условия работы бабка выплатила нам двадцать пять рублей. (По нормальным расценкам того времени работа стоила никак не меньше сотни, но мы не стали торговаться. Черт с ней, пусть знает — не жадные!)

Пятерку пришлось в этот же день истратить на баню. А двадцать рублей остались на воскресенье.

Мы позвали Женю, Таню, Мишку и все вместе взяли курс на новое кафе «Мороженое». Если память не изменяет, это было первое в Москве кафе «Мороженое», и попасть туда считалось не так-то просто. Часа полтора пришлось простоять в очереди, развлекая друг друга взрослыми анекдотами.

В конце концов столик был захвачен. И еще через полчаса перед нами появилась хорошенькая официантка в кружевной наkolке-короне.

И тогда Таня сказала:

— Мне сливочный пломбир.

— Мне тоже сливочный пломбир, — сказал Мишка.

— А я буду крем-брюле пополам с фруктовым, — это был Женин заказ.

— И мне тоже крем-брюле пополам с фруктовым, — это был мой заказ.

— А мне все равно, — сказал Жорка, — лишь бы холодное.

— Возьмите ассорти, — посоветовала официантка.

— Ладно, — сказал Жорка.

— А чем будете запивать? — спросила официантка. — Есть лимонад, есть минеральная вода, есть очень вкусный крышон.

— Крышоном, — сказала Таня.

Нам принесли мороженое, нам принесли бокалы с темно-красным крышоном. Над бокалами топорщились тоненькие соломинки. О стекло позванивали кубики прозрачного льда.

Мы наслаждались всем этим прохладным великолепием.

Мы наслаждались своей взрослостью.

Мы наслаждались обществом наших стриженных девчонок.

И все было очень хорошо.

С тех пор как мы научились подрабатывать кое-какие деньжонки монтерской работой, копировкой чертежей, а на худший случай — разгрузкой барж, нам доставляло особое удовольствие тратить свои «капиталы». Мишка даже выдал афоризм по этому поводу: «Деньги тем и хороши, что никогда не задерживаются...» На что Жора, между прочим, заметил: «А что их, в копилку класть? Мы не жадные. Деньги для того и придуманы, чтобы их тратить». Но я отвлекся.

Мы сидели в кафе, лизали мороженое и потихоньку тянули крышон через соломинки.

Почему вдруг Мишка, пожалуй самый непрактичный из нас, взялся изучать меню — не знаю, но результат его исследова-

ния был довольно-таки неожиданным. Повертев карточку в руках, Мишка как бы случайно вытащил из стаканчика бумажную салфетку и стал чертить на ней какие-то знаки. Потом он пододвинул салфетку мне. Я прочел: «А крышончик-то огого! — по 3 руб. 60 коп. 3 руб. 60 коп. $\times 5 = 18$ руб.!!!»

Что и говорить! Мишкино открытие не обрадовало. Ладно бы мы сидели втроем, а как расписываться в финансовой несостоятельности при Тане и Жене? Задача! Я подsunул салфетку Жоре.

Жора мельком глянул на бумажку, улыбнулся и тут же встал.

— Прошу прощения, — сказал Жора, — я вас покину на время, а вы нажимайте!

— Куда это он? — спросила Таня.

— Бывают особые обстоятельства, не будем конкретизировать, — сказал Миша и соорудил загадочное выражение.

Мороженое кончалось. Крышонные бокалы побледнели, на дне лежали маленькие, ставшие обтекаемыми льдинки.

— А я хочу орехового с боржомом! — громко сказал я.

— Я тоже хочу орехового, — сказала Женя.

— А мне еще раз пломбир и крышончик. Очень вкусно! — сказала Таня.

— И мне пломбир... только уж без крышона, — сказал Миша.

Мы сли ореховое, фруктовое, сливочное и еще какое-то мороженое. Живот у меня стал холодным, горло — деревянным, а Жоры все не было.

Положение принимало угрожающий оборот.

Девчонки, видимо, что-то заподозрили.

— Где Жора? — спросила Таня и как-то нехорошо глянула на Мишку. — Ты можешь объяснить без фокусов?

— Правда, куда он девался? — спросила Женя.

По-моему, и хорошенькая официантка в наkolке-короне стала поглядывать на нас иначе — гораздо внимательнее и далеко не так приветливо, как вначале.

А Жоры все не было.

— Больше не могу, — сказала Женя и, наклонившись к самому моему уху, зашептала: — Слушай, на сколько мы наели? Имей в виду, у меня есть два рубля сорок копеек...

— Не шептаться! — закричала Таня. — Чего вы секретничаете?

В этот момент я подумал: «Неужели Жорка сбежал?» От этой мысли сделалось очень нехорошо, просто противно. Даже не от самой мысли, пожалуй, а оттого, что она появилась. Я посмотрел на Мишку. Вид у него был достаточно кислый.

Таня, сморщив нос, допивала крушон.

«Интересно, что будет дальше? — подумал я. — Девчонок надо эвакуировать раньше, чем разразится скандал. Они-то, во всяком случае, не должны пострадать. Значит, сейчас придется все выложить».

Ох как не хотелось этого делать!

Но выкладывать ничего не пришлось.

В зале появился Жорка. Он неторопливо двигался между столиков. Подошел, небрежно плюхнулся на свой похолодевший стул, иронически посмотрел на наши постные лица и без лишнего комментария шлепнул на стол сторублевую бумажку.

— Кончай наслаждаться, — сказал Жорка, — едем в порт на разгрузку. Утром надо отдать...

С тех пор я не ем мороженого, но это, конечно, не главное.

С тех пор я никогда не позволяю себе сомневаться в друзьях.

О хорошем человеке, старой лции и неизбежности сомнений

Стоило произнести слово «дружба», и сразу же вспомнил Жоркиного отчима. Это может показаться странным, ну, хотя бы потому, что разница в возрастах — его и нашем — составляла по крайней мере лет сорок. И все же... Я всегда считал и сегодня считаю, что у Жорки был совершенно замечательный отчим. Дай бог каждому такого отца! Никогда, никому, ни при каких условиях он не читал моралей и наставлений. Но это еще не все.

Ни разу я не слышал, чтобы он сказал: «Вот в наше время совсем не такая молодежь была!» Но и это еще не все!

Дядя Яша — его все так называли — мог три часа подряд рассказывать всякие истории одну интереснее другой, сыпать шутками и анекдотами, доводя нас до того, что мы уже не сме-

ялись, а только жалобно скулили. Ему ничего не стоило махнуть с нами на каток или за город — на лыжах, или в кино. А когда мы собирались компанией у Жорки, все девчонки просто-таки умоляли дядю Яшу не уходить: вальсировал он так, что мы только икали от зависти.

И все взрослые его уважали. За советом — к дяде Яше, денег занять — тоже к дяде Яше. Для каждого у него находилось и доброе слово, и откровенная улыбка, и главное — время.

Где и кем он работал, точно не знаю. Помню только, что в особо торжественных случаях дядя Яша затягивался в крахмальный снежно-белый воротничок и шелковый черный галстук, надевал черный двубортный пиджак с золотыми оякоренными пуговицами. Стоило ему «припарадиться», и нам казалось, что в дом входило море. Седой, подтянутый, легкий в движениях и вообще легкий, он представлялся нам капитаном дальнего плавания. Правда, в Москве не было моря, тогда еще даже Московского...

Дядя Яша часто уезжал в командировки: в Ленинград, Одессу, Новороссийск, Потти. Возвращаясь, он всегда привозил диковинные сувениры — кокосовый орех, чучело попугая, какие-то непонятные предметы из бамбуковых палочек, пестрые веера и без числа и счета яркие заграничные рекламные.

Интересно: эти замечательные, экзотические вещи никогда у него не задерживались. Он все раздаривал, раздавал, иногда знакомым, а чаще еле знакомым людям.

— Пусть радуются, — говорил дядя Яша, — все-таки привет из Малайи!..

Он любил дарить радость и умел удивительно легко входить в чужие горести.

Муж обидел жену. Дядя Яша переживал, шел к поссорившимся супругам, рассказывал им какие-то подходящие к случаю истории, грозил «отбить» жену у провинившегося мужа, выслушивал обе стороны и не успокаивался до тех пор, пока в чужом доме не восстанавливались мир и согласие.

Он любил кормить людей. И обыкновенный ужин превращал в праздник. Вместе с замысловатым салатом, копченой селедкой и каким-нибудь сыром рокфор к столу подавались остроумие, шутка, жгучий, как самый крепкий перец, спор...

Обычно — я уже говорил об этом — Жоркин отчим был общительным, веселым и легким. Но иногда на него находила тоска. Впрочем, может быть, то была и не тоска, а какие-то другие приступы, сам он ничего не объяснял, и мы могли только гадать, что с ним происходит. Дядя Яша делался вдруг молчаливым, рассеянным, на окружающих глядел невидящими глазами и по многу часов подряд сосредоточенно читал лоцию. Что он там искал, было для нас тайной.

Знаю наверняка: стоило погрузиться дяде Яше, и погода, казалось, хмурилась, и мы будто бы затягивались облаками. В такую пору и не шутилось, и не гулялось, и не спорилось...

Но проходил день, другой, и он оттаивал: снова сыпал анекдотами, тащил нас на водную станцию «Динамо», или в цирк на представление Дурова, или в бильярдную.

— Мужчина должен владеть кием! Мальчишки, за мной! Верный глаз, твердая рука — и никакого жульничества. Вот что такое настоящий бильярд!

Распрашивать его о приступах плохого настроения мы не решались. Пробовали, правда, заглянуть в его любимую лоцию — думали хоть таким способом что-то понять, но ничего не поняли. Лоция оказалась нам скучнейшей служебной книгой. Не более того...

Вот так и жил рядом с нами немного загадочный, чуточку чудаковатый, всегда добрый взрослый человек, у которого можно было спросить все, которому можно было сказать все. Человек-магнит, человек-улыбка...

Прошло много лет.

Весной сорок пятого я вернулся с войны и сразу же зашел к Жоркиной матери. Навестить. Были, конечно, и слезы, и поцелуи, и множество вопросов, и еще больше восклицаний: «Так вот ты какой стал! И не узнала бы на улице! Ах, жалко-то как, что с Жориком вы не увидите — в Германии он. Служит! Да-да-да, бежит время!..»

На туалетном столике стояли две фотографии: Жоркина и дяди Яши. Жорка был в майорских погонах, раздобревший, широкоплечий, густо осыпанный орденами и медалями. Дядя Яша — в черном капитанском пиджаке, в крахмальной рубашке, парадном галстуке. Рядом с фотографией лежала лоция.

Мне не пришлось ничего спрашивать. Жоркина мать, проследив за моим взглядом, сказала:

— Погиб ваш дядя Яша. В сорок первом. В ополчении, под Вязьмой. Многие там погибли. — Сказала и сразу вышла из комнаты. А я взял лоцию, открыл где открылось и стал читать:

«Фьорд Сёуда-фьорд вдаётся в материк на 9 миль к NNO от мыса Танген. Гористые берега фьорда мало извилисты и приглубны; глубины в нем 300 м, и только в самой северной части они уменьшаются до 100—30 м», — и вдруг мне увиделся этот самый неведомый Сёуда-фьорд. Дикий серый гранит, вздыбившийся из моря, тихая зеленовато-коричневая вода, бледное, выцветшее небо. Я читал дальше: «В вершину фьорда впадают реки Нуррелъв и Сёрелъв. На берегах фьорда расположено много селений... Для плавания фьордом ночью служат освещаемые знаки Оснасет, Суланнес, Рамснес и Сёунес».

Чуть ниже этого абзаца четким рубленым почерком была сделана приписка: «Туманные сигналы подаются со светящего знака тайфоном». Строка была написана красной тушью. Строка эта остановила меня, словно знак светофора.

Где-то далеко-далеко плывут по морям и океанам незнакомые корабли. Незнакомые капитаны всматриваются в даль, ругают непутевых матросов, подсчитывают расход топлива, требуют сведений об остатке пресной воды; капитаны колдуют над астрономическими таблицами, шелестят плотными листами меркаторских карт, а когда надо посоветоваться с кем-то безусловно надежным, по-настоящему умным и безгранично честным, раскрывают лоции.

Эти мудрые книги собрали и хранят тысячи следов тысячи и тысяч безымянных мореходов. Может быть, лоции начали писать еще рыжебородые шкиперы романтических бригаantin или первые китобои, и, уж конечно, в них оставили свое слово ледовые штурманы, пересекавшие сороковые ревущие... Отчаянные люди, неизвестные герои, в час смертельной опасности они призывали господ бога, мадонну или Магомета, но по-настоящему верили только в самих себя и в удачу. Они копили опыт — крупинку прибавляли к крупинке, капельку к капельке. Их отвагой и честностью рождались первые лоции.

А потом уже в печатные строки лоций вносились рукописные поправки, дополнения, уточнения, указания, потому что жизнь не стоит на месте и даже берега с годами меняют свои очертания...

Лоции! Это же великие книги — лоции!

В них все — правда. Только правда. Правда самой высокой пробы. Все в них — жизнь. Ни слова фантазии, ни грамма выдумки, ни пылинки домысла. Только жизнь.

Вот так, держа в руках старую лоцию побережья Норвегии, волнуясь, как мальчишка, вспоминал я дядю Яшу.

Может быть, Жоркин отчим любил лоцию, потому что сам был до последнего предела правдивым и честным человеком? Или потому, что он знал толк, вкус и цену настоящей жизни — быстротекущей и переменчивой, как океанские воды в рифах?

Мальчишками мы думали, что дядя Яша читал лоцию, когда на него наваливалась тоска. Но, кажется, теперь я понимаю — то была вовсе не тоска, скорее сомнения.

Человек, даже самый ясный, не может не знать сомнений. Конечно, знал их и Жоркин отчим. Знал, знал наверняка. И вот, атакованный этой упрямой силой, он садился за лоцию и читал, читал, читал... Читал до тех пор, пока мысли не приходили в равновесие, пока жизнь не начинала ему снова улыбаться, и тогда он тоже улыбался всем вокруг...

Кажется, я начинал понимать теперь, кем был для нас дядя Яша. Лоцманом! Именно и конечно — лоцманом, человеком, знающим путь.

Он умел проходить сквозь рифы, он умел брать единственно правильный курс сквозь узкости, собственным примером он учил нас идти на свет маяков (а его маяками на земле были люди — дальние и близкие).

Даже самым искусным капитанам, даже самым опытным штурманам не обойтись без лоцмана — слишком велик океан, слишком много опасностей таят в себе воды. Как же нужен лоцман молодым и как же повезло нам, что у нас был такой лоцман!

Так я думал тогда, держа в руках старую лоцию дяди Яши.

Прошло еще много лет. Больше двадцати. Потертая лоция вот уже не первый день живет на моем столе. И хотя я не стал моряком, эта мудрая и честная книга помогает выбирать нужный курс, когда внезапным штормовым порывом житейского моря начинает вдруг нести куда-то в сторону...

Лоция дает ясность мысли. Лоция побережья Норвегии безмолвно напоминает о хорошем человеке, Человеке, на которого очень хочется быть — хоть немного — похожим.

О первом близком знакомстве
с нобом, разными точками зрения
на один и тот же предмет
и приземлении на картофельном поле

Нет, пожалуй, ничего безнадежнее, чем попытка «сактировать» жизнь или хотя бы какой-то отрезок жизни. Подсчитать — хороших дней было столько-то, удовлетворительных — столько-то, плохих — столько-то, совсем безнадежных — столько-то. Настоящая жизнь не укладывается в бухгалтерские книги. И очень часто даже самый горький день, как выясняется позже, имел какую-то положительную цену, а радость, кажущаяся безусловной сегодня, завтра, или послезавтра, или, может быть, через год оборачивается большой бедой.

Не буду «активировать» свои первые семнадцать лет. Замечу только: семнадцать прожитых лет кое-чему меня научили. Говоря коротко, я понял:

Человек — это его дело.

Нет на свете ничего дороже, чем преданность и дружба.

Горе не бесконечно, и радость тоже не бесконечна.

Можно отступать, отчаиваться, сдаваться нельзя.

Много ли, мало ли я усвоил — судить не берусь, но в одном уверен — усвоил твердо. А твердые принципы в семнадцать лет — совсем не пустяк.

Итак, мне исполнилось семнадцать, и я закончил среднюю школу. Надо было определяться, выбирать курс дальнейшей взрослой жизни.

Отец сказал:

— Я бы хотел, чтобы ты поступил в медицинский институт и со временем стал хирургом. Какие у меня причины для такого пожелания? Прежде всего: в молодости я сам мечтал о врачебной карьере, но мне не позволили обстоятельства. Тебе обстоятельства позволяют. Кроме того, врач всегда уважаемый, нужный обществу, всегда обеспеченный человек, не говоря уж о том, что медицина — интереснейшая область человеческой деятельности...

Отец говорил довольно долго, наставительно и убежденно, но, признаюсь, я не очень внимательно его слушал. Я смотрел в окно. В июньском небе громоздились облачные Гималаи. Облака давно уже не давали мне покоя: есть же счастливые лю-

ди — могут пронестись сквозь эти клубящиеся, пушистые, пенные громады, могут потрогать их рукой...

— Ты меня слушаешь? — спросил отец и недовольно нахмурился.

— Конечно, слушаю, — сказал я, мучительно пытаюсь понять, как он сумел только что соединить заслуги великого физиолога Павлова с новейшими успехами своего одесского знакомого академика Филатова.

— Тогда что ты скажешь мне со своей стороны?

— Пока, наверное, ничего не скажу...

— Что значит — пока?

— Ну-у, пока, значит, в том смысле, что мне надо еще подумать. Взвесить. — Я знал, что отец очень высоко ценит способность людей поступать обдуманно, с дальним расчетом, с учетом всевозможных «за» и «против». — Но в принципе медицина меня не особенно привлекает, хотя я понимаю...

— Ничего ты не понимаешь, — сказал отец. — Начитался всякой чепухи и думаешь, кроме Арктики и геологических исследований, на свете вообще больше ничего не существует.

Оставить такой наскок без должного отпора мне было трудно, почти невозможно.

— Почему? — сказал я. — Кроме геологов, существуют еще бухгалтеры, счетоводы, кассиры, страховые агенты, делопроизводители, бывшие департаментские чиновники, маклеры и акцизные. — Кстати, кто такие акцизные, я понятия не имел, но уж больно здорово тянуло от этого слова нафталином, и я с удовольствием ввернул его в свой непочтительный перечень.

— Тебе это кажется остроумным и, наверное, тонким? — спросил отец.

— Нет. Просто такие специальности тоже существуют, и спорить против очевидности нет смысла.

— Ты неблагодарный нахал, — сказал отец и вышел из комнаты.

Как всегда, в роли добровольной пожарной команды выступила мама:

— Чего ты цепляешься с отцом? В одном-то он безусловно прав — надо выбирать институт и готовиться к экзаменам. Надеюсь, в этом ты не сомневаешься?

— Сомневаюсь. Именно в этом я и сомневаюсь.

— Как?

— Так. Я решил стать летчиком, мама. Поэтому прежде всего мне надо закончить аэроклуб. И, пожалуйста, не говори, что я это только что придумал. Я уже давно решил. Ты не сердись, постарайся понять меня...

— Отговаривать я тебя не стану, но почему аэроклуб исключает высшее образование? Разве летчику не нужны знания, культура?

— Нужны. Но сначала надо стать летчиком. Или хотя бы попохотать небо, потрогать облака. Понимаешь?

Вряд ли я убедил мать. Слишком уж долго она мечтала увидеть своего сына дипломированным, приличным, культурным, заметным человеком. А отец, узнав о моем решении, сказал коротко:

— Бред умалишенного, — и надолго перестал со мной разговаривать.

Как он относился к летчикам вообще, я так никогда точно и не узнал. Думаю, однако, что в его представлении летчики, шоферы, цирковые наездники, жокеи и обыкновенные извозчики составляли одно сословие, разумеется нужное, но малопочтительное.

Но, как бы там ни было, разговоры иссякли сами собой, последовали действия: я устроился на первую подвернувшуюся под руку работу и записался в аэроклуб.

Доставлять огорчение родителям я вовсе не хотел и все-таки поступить иначе не мог. Побою не давало мне покоя.

Теперь я думаю иногда: «Почему мне не сиделось на земле?» И отвечаю: «Наверное, потому, что воздух тех далеких лет был наполнен ароматом героических перелетов, непрерывным штормом авиационных рекордов, потому что девизом времени стали слова: «Летать дальше всех, летать быстрее всех, летать выше всех!»

С газетных полос, со страниц иллюстрированных журналов, с экранов кино не сходили портреты героев дня. Сначала героев именovali ударниками, потом стахановцами. Герои высказывались перед каждым праздником, выступали на совещаниях по серьезным поводам и просто так. И не было, пожалуй, в ту пору имени более известного и притягательного, во всяком случае для мальчишек, чем имя Валерия Павловича Чкалова — первого летчика страны.

Мало кто из моих сверстников рискнул бы сказать: «Хочу быть как Чкалов!» — но мечтали об этом почти все.

Чкалов стал правифланговым нашего поколения.

Бороться — значило быть таким, как Чкалов!

Побеждать — значило быть таким, как Чкалов!

Не сдаваться — значило быть таким, как Чкалов!

Все мы хотели непременно бороться, обязательно побеждать и ни в коем случае не сдаваться.

Надо ли доказывать, что мечты, не подкрепленные делами, стоят дешево?

Словом, я поступил в аэроклуб. На парашютное отделение. Почему на парашютное? Очень просто — на пилотском мест не было, а мне не терпелось начать...

Месяца три мы изучали устройство парашюта, технику отделения от самолета, порядок действий в воздухе и особенности приземления на ровное поле, на воду, на лес, на местность с препятствиями.

Наконец пришел день, когда нам представилась возможность соединить теорию с практикой.

Зеленый стрекочущий У-2 оторвал меня от земли и понес в небо.

Два неуклюжих парашютных ранца — на спине и на животе — мало способствовали комфорту этого полета, но о комфорте я тогда не думал. Во все глаза смотрел на ставшую сразу далекой и необыкновенно чистой землю, на голубое небо, широко раздавшее черту горизонта, на прыгавшее перед глазами коромысло толкателя. Но интереснее всего была земля.

Выгоревшее летное поле с высоты нашего полета казалось пронзительно-зеленым. Мутная река, отразив небо, засверкала неестественной картографической голубизной. Обычный пригородный поселок, никого никогда не удивлявший чистой, казался теперь построенным из снежно-белого сахара-рафинада.

Признаться, я даже позабыл, что через каких-то шесть-семь минут мне предстоит прыгать с парашютом. Впрочем, забыл я об этом ненадолго. Сначала о прыжке напомнил двигатель нашего У-2 — резко снизилось обороты, равномерное стрекотание перешло в хлопающие неприятные выстрелы, потом сказал свое слово инструктор.

— Вылезай! — крикнул он громко и властно.

Я приподнялся на сиденье, еще раз взглянул вниз и оторопел: земля, секунду назад казавшаяся сказочно красивой, холмисто-величественной, преобразилась. Далеко под самолетом беспалаберно кособочились здания, злобно щетинился лес, нелепо петляла река.

Ничто не радовало глаз, ничто не внушало доверия.

И туда надо было падать. Вот так оттолкнуться от милого, надежного У-2 и просто падать.

— Ты что? — закричал инструктор.

— Ничего, — ответил я и приподнялся на сиденье чуточку выше прежнего.

— Давай поворачивайся, уходим с расчетной точки.

«Ну и пес с ней, с расчетной точкой, — подумал я, — может быть, лучше совсем не прыгать?» Но тут же мне представилось позорное возвращение на землю после невыполненного прыжка, насмешливые взгляды ребят, презрительно брошенное слово «сдрейфил». Такого я не мог вынести. Значит, выбора не было, оставалось прыгать! Я перекинул ногу через борт и стал выкарабкиваться из кабины.

Дальше все происходило автоматически: шаг к кромке крыла, поворот на девяносто градусов вправо, рука на кольцо...

Кто-то сказал: «Готов».

С опозданием я сообразил, что этот «кто-то» был я, просто от волнения у меня изменился голос.

— Пошел! — улыбаясь и подбадривая меня взглядом, сказал инструктор.

И тут вместо того, чтобы мужественно и деловито ответить: «Есть», шагнуть вперед — в небо, я, как последний идиот, спросил:

— Куда?

— Прыгай! — закричал инструктор. — Прыгай, а то снесет!

— Кто снесет? — полюбопытствовал я и сообразил, что сейчас, вот сию минуту, инструктор прикажет мне лезть обратно в кабину.

Кажется, он даже крикнул:

— На...

Но я так и не узнал, что он собирался сказать дальше... Я шагнул вперед и повалился вниз.

Воздух оказался плотным. Динамический удар наполнилше-

гося купола — ощутительным. Наступившая следом тишина — потрясающей.

Спускаясь на летное поле, я думал: «Я хочу любить небо там, на высоте, и вовсе не хочу падать на землю, вручая свою жизнь этому бессловесному шелковому зонтику; я хочу действовать в синем просторе, а не висеть в нем; я хочу быть как птица, а не как опавший кленовый лист...»

Основательный удар о картофельное поле не вытряхнул этих мыслей. Так я не стал парашютистом, а стал летчиком.

Правда, это случилось не в один день, но случилось.

**О переселении в новый, особый мир,
дисциплине, старшине и серьезных
неприятностях**

Летчики бывают военные, гражданские, полярные, морские, сухопутные — и это известно каждому. Я хотел быть непременно военным летчиком, и только истребителем.

Истребитель — это скорость, маневр, огонь и победа! Истребитель — хозяин неба. Истребитель всегда один и всегда ищет боя. И самое главное — Валерий Павлович Чкалов начал истребителем. Этих доводов в семнадцать лет было больше чем достаточно.

Каждому известно, что летчиков истребительной авиации готовят в училищах Военно-Воздушных Сил. Вот почему я и очутился в свое время в армии.

Странно, но об армии представления у меня были весьма сумбурные. Я видел, так сказать, внешнюю сторону службы: батальонные каре в дни парадов на Красной площади, знал, как по петлицам отличить комбрига от комдива, помнил эмблемы всех родов войск, кое-что слышал о строевом уставе. Вот, пожалуй, и все.

Меня пугали доброжелатели: погоди, столкнешься с военной дисциплиной, тогда запоешь! Но я не боялся. Думал: дисциплина — строгое выполнение своих служебных обязанностей, чего ж тут опасаться? С этим я и прибыл в одно из старейших авиаучилищ страны.

Чтобы перестать быть человеком гражданским и превратиться в человека военного, прежде всего надо было влезть в си-

ние форменные брюки покроя бриджи, облачиться в защитную диагональную гимнастерку, овладеть искусством мгновенного наворачивания портянок и надолго расстаться с буйной шевелюрой. Однако все это было только первым, и притом самым легким, этапом. Ведь форма и содержание — вещи разные.

Истинно военным человеком лицо гражданского звания делается лишь в тот час, когда оно разумом и душой постигает великую мудрость и неизмеримую глубину уставной дисциплины. А это познание приходит не сразу и ко всем по-разному.

Итак, я был зачислен курсантом военной школы летчиков-истребителей.

Позади остался уже курс молодого бойца. Я принял присягу. Научился в положенное время разбирать и собирать затвор винтовки образца 1891 года. Успешно сдал зачеты по многим уставам и наставлениям. Натренировался вполне сносно отдавать честь старшим, начиная от младшего помощника командира взвода и кончая начальником школы — прославленным героем испанского неба...

Словом, все было в порядке. Река текла в новых берегах. Река текла спокойно. И нам, новообращенным воякам, был разрешен первый самостоятельный выезд в город. По-воински это называется увольнение из части.

К этому времени мы твердо усвоили: в городе следует появляться одетым строго по форме, подтянутым и молодежатым; в городе необходимо приветствовать военнослужащих и быть безукоризненно вежливым с представителями гражданского населения; допустимо посетить кино, сфотографироваться, пройтись по парку; не возбраняется и знакомство с девушками, но при этом нельзя забывать о присяге, предусматривающей строгое хранение военной и государственной тайны.

И еще мы усвоили: в городе категорически запрещается расстегивать воротничок гимнастерки хотя бы на один верхний крючок, снимать пилотку на открытом воздухе; нельзя даже подумать о посещении пивной или какого-либо похожего заведения; абсолютно исключено опоздание из отпуска (нарушение грозило многими неприятностями, вплоть до отдачи под суд военного трибунала).

Согласитесь, река текла в строгих берегах. Но строгость была разумной и предельно простой.

В день первого увольнения в город я не нарушил формы одежды, посетил кино и сфотографировался у местного «пушкаря», еще я успел познакомиться с девушкой (студенткой педагогического техникума), и мы очень мило побеседовали о воспитательных концепциях Ушинского, Песталотци и Макаренко, при этом я не позволил себе сделать ни одной ссылки даже на несекретный дисциплинарный устав Красной Армии; в парке культуры было выпито по два стакана газированной воды с двойным сиропом и съедено по одной порции мороженого на вафлях; в расположении части я прибыл за пятнадцать минут до срока.

Казалось бы, все в порядке. Казалось! Но в этот вечер успело еще случиться кошмарное происшествие.

Пятью минутами позже меня из города вернулся курсант Соколов. Толстый, сонный малый, он возбужденно поблескивал глазками и суетливо потирал руки:

— Слушай, ты старшину Рыжова видел? — спросил Соколов.

— Не видел, — сказал я, и это была правда чистой воды и высочайшей пробы.



— Воображаешь, этот... (тут мне приходится опустить подлежащее) лакал пиво в ларьке! Я сам через окно видел. Хорош? А еще учит!

Рыжов был сверхсрочником, человеком ограниченным и недобрым. Нам, будущим летчикам, он изо всех сил старался продемонстрировать свою значительность, свою почти неограниченную власть... Не любили его все, не любили дружно и совершенно единодушно. Лучшие пытались не замечать, худшие — подлаживаться. Я старался просто не связываться со старшиной. И лакал Рыжов пиво или принимал внутрь витаминизированный вишневый напиток — меня нисколько не интересовало (в конце концов если кому-нибудь надо было волноваться, то скорей старшине обо мне, а уж никак не мне о нем), поэтому я просто ничего не ответил Соколову. Только пожал плечами. И все.

Прошло еще минут пять, и ко мне подошел другой курсант, кажется, Калашников. Тараща глаза, оглядываясь, он спросил придушенным шепотком:

— Ты как думаешь, это правда или брехня: говорят, Рыжов только что пиво пил, прямо на улице, в ларьке?

— Ну и что? — спросил я. — Ты-то чего волнуешься?

— Как чего волнуешь? Это же чепе! И потом интересно — пил или врут?

— А ты сходи понюхай его, и сразу будет ясно: пил или не пил. Самый простой способ, — сказал я.

Вскоре прозвучал отбой, и я преспокойно улегся спать. Меня не тревожили никакие сомнения, не беспокоила совесть. Словом, я не ожидал ничего худого.

Но на другое утро я был вызван командиром роты.

— Ознакомьтесь, — сказал младший лейтенант и протянул лист бумаги.

Не очень понимая, что бы это могло значить, я взял предложенный документ и стал читать. Бумага оказалась рапортом старшины сверхсрочной службы Рыжова А. И.

Из рапорта я узнал, что такого-то числа в такое-то время старшина Рыжов был «подвергнут обнюхиванию» со стороны своих подчиненных, курсантов первого звена пятой эскадрильи Соколова и Калашникова, «на предмет определения состояния старшины в смысле опьянения или нет...». Далее в рапорте говорилось, что на этот возмутительный шаг курсанты Соколов и Калашников были подбиты мной «в целях умышленного под-

рыва авторитета старшины подразделения». Рассматривая действия курсантов как противоречащие букве и духу устава, старшина требовал предать нас троих товарищескому красноармейскому суду. Он писал: «Пусть суд справедливо и строго накажет виновных и пойдет на пользу другим молодым военнослужащим, только что вступившим в первый год несения своих священных обязанностей в Красной Армии и перед нашей любимой Родиной».

Дочитав рапорт Рыжова до конца, я рассмеялся.

— А собственно говоря, чего вы, триц курсант, радуетесь, чего улыбаетесь? — спросил ротный.

— Это же несерьезно, товарищ младший лейтенант! — сказал я. И, как сумел, объяснился, честно и весьма подробно изложив события минувшего вечера.

Но, как ни странно, из всего рассказа младший лейтенант услышал только одну фразу: «Ну, тут я и сказал: «А ты пойд и понюхай его...»

— Значит, признаете? — заключил ротный. — Так и сказали: «пойди и понюхай»? Эх вы! А еще среднее образование имеете. В городе Москва росли! Будем судить, триц курсант. Приходится.

Такое решение показалось мне чудовищно несправедливым, нелепым, если хотите — анекдотичным, и я не поверил, что оно может осуществиться. Не верил до тех пор, пока не стал сначала подследственным, потом подсудимым и, наконец, осужденным.

Наказанье мне дали небольшое: товарищеское порицание, но все-таки дали. Понадобилось, однако, порядочно времени, чтобы я понял: старшина — заместитель бога на земле, и действия его нельзя брать под сомнение ни наяву, ни даже во сне.

Понял я и другое: если ты действительно хочешь летать (а я очень хотел летать!), смирись. Ничего не сделаешь — небо начинается на земле.

Мальчишкой мне казалось: армия — это сплошной парад, оркестры, знамена, эмблемы, знаки различия. В самые первые дни срочной службы произошел резкий поворот в сознании. Армия оказалась особым, строгим и отнюдь не идеальным миром. И в конечном счете здесь так же, как в любом другом нормальном мире, все, абсолютно все решали люди. А люди, как известно, бывают бесконечно разными: умными, душевны-

ми, пронизательными, ограниченными, бескорыстными, жадными, честными, жуликоватыми, великодушными, мстительными... Словом, этот перечень можно продолжать сколько угодно... Надо было учиться жить с людьми.

О «боге», найденном на земле, и попутных обстоятельствах, связанных с этим событием

К счастью, старшина Рыжов был не единственным и далеко не главным моим воспитателем. Главная фигура в летной школе, — не по должности, не по званию, а по существу — инструктор. Все инструкторы казались мне тогда людьми солидными, основательными, далеко не молодыми. Хотя, как я понимаю теперь, едва ли кому-нибудь из наших наставников было в ту пору больше двадцати пяти — двадцати семи лет.

И конечно, у каждого курсанта был свой «бог». В лучшем случае — его инструктор.

Моего «бога» я нашел не сразу. Знакомство со старшиной Рыжовым заставило меня куда внимательнее, чем прежде, приглядываться к людям, куда осторожнее доверяться первым ощущениям и очень тщательно взвешивать слова, свои и чужие.

В самом начале второго года обучения, когда позади остались уже и ПО-2, и И-5, и УТ-2, я попал в руки Артема Молчанова. Инструктор был широк в плечах, сутуловат и некрасив. Жидкие светлые волосы торчали в разные стороны, крупные неровные зубы тоже не украшали его большого бледного лица. Впрочем, внешность еще ни о чем не говорила: Молчанов был летчиком, а не кинозвездой. И где это сказано, что хороший летчик должен быть непременно обаятелен и статен?

Отчетливо запомнил я первый полет с Молчановым.

Перед стартом инструктор сказал:

— Полет выполняю я, ты мягко держись за управление и наблюдаешь.

На разбеге Молчанов неожиданно обернулся ко мне, подмигнул и спокойно продолжал взлет.

Я обомлел. Дело в том, что УТИ-4 считался самолетом исключительно строгим. На разбеге при взлете и на пробеге после посадки летчику полагалось неотрывно наблюдать за горизонтом и удерживать машину на прямой точными, обязательно двойными движениями педалей. Так, во всяком случае, говорилось в инструкции по технике пилотирования, которую нам, курсантам, положено было знать, как «Отче наш», наизусть! И вдруг Молчанов обернулся ко мне. Этот мимолетный инструкторский жест был воспринят мной как двойное сальто на проволоке, натянутой под куполом цирка...

Но это было только самое начало полета. Только мелкий аванс!

В пилотажной зоне Молчанов вертел машину с такой уверенностью, легкой грацией и непринужденностью, будто крылья самолета были продолжением его собственных рук.

— Смотри, — говорил Молчанов в переговорное устройство, — ложимся на спину (и машина послушно опрокидывалась лапками кверху), теперь фиксируем положение (земля занимала место неба, а небо расстилалось под ногами), дальше можем довернуться бочкой, можем выходить переворотом. Как хочешь?

— Бочкой, — хрипел я сдавленным голосом. (Я еще не привык летать вверх ногами.)

— Пожалуйста, доворачиваемся, — и он выводил машину в нормальный горизонтальный полет...

Ни разу Молчанов не дернул, не «подсек» самолет, не дал ему вздрогнуть нервной, непокорной дрожью. В его руках учебно-тренировочный истребитель вращался словно в масле — плавно, безостановочно, неслышно.

Мы крутились в штопоре нормальном и перевернутом, вязали петлю за петлей, впивались в небо боевыми разворотами, сваливались к земле ранверсманам и снова лезли за облака стремительной горкой...

Молчанов выполнял пилотажные фигуры, не входившие в школьную программу. И если б я не боялся громких слов, то назвал этот мастерский пилотаж гимном, симфонией, поэмой скорости и красоты... Из тысячи отличных летчиков так работать в небе может один, ну два. Не больше! Так примерно я думал тогда и так думаю теперь.

Конечно, Молчанов безукоризненно приземлился и, высадив меня из задней кабины, без передышки снова полетел в зону, повез очередного курсанта.

А я сидел на траве совершенно опалевший и подавленный не столько блистательным мастерством своего инструктора, сколько угрюмой, навязчивой идеей: «Я так никогда не сумею...»

Потом был разбор полетов. Молчанов говорил мало, коротко, не очень складно.

— Ну вот, значит, такое дело, чтобы хорошо пилотировать, надо прежде всего чувствовать машину. И не надо ее это... дергать. Ясно? Она любит, чтобы плавно, чтобы легко... Вот. И не бойтесь. Это всё врут, что она опасная. Просто нервный ероплан и требует ласкового обращения, — при этих словах Артем чуть заметно улыбнулся, а я подумал: «И вовсе он не такой уж некрасивый, как мне сначала показалось».

Постепенно мы втягивались в полеты на истребителях. И тут я заметил еще одну особенность нашего инструктора (моего инструктора) — он никогда не ругал курсантов, ни в воздухе, ни на земле. Пожалуй, Артем был единственным в своем роде. Все его предшественники, как, впрочем, и все те, с кем мне пришлось полетать после, считали своим долгом огорошивать курсантов таким лексиконом, что редкому боцману мог во сне присниться...

И все-таки «бог» стал «богом» в моих глазах не в воздухе, а на земле.

В училище нагрянула очередная инспекция. На этот раз чрезвычайно высокая. Комиссия проверяла все — от заправки коек в казармах и строевой подготовки до теоретических познаний курсантов и техники пилотирования как переменного, так и постоянного состава. Разумеется, все волновались. Нам хотелось выглядеть перед начальством возможно лучше. Одежда наглаживалась одежными щетками, сапоги были доведены до рояльного блеска, аэродром выметен и вылизан, как перед самым большим праздником. Но, конечно, вся суть, так сказать, гвоздь проверки заключался в контрольных полетах.

Молчанова проверял председатель комиссии, комбриг (по теперешним званиям — генерал-майор).

На широкой груди комбрига светили алыми пятнами орде-

на Красного Знамени. Целых три! Мы знали — ордена получены за Испанию!

Что было в полете, не знаю, что произошло после полета, на земле, видел своими глазами, слышал своими ушами.

Когда тупоносый зеленый УТИ-4 зарулил на заправочную линейку и летчики вылезли из кабин, Молчанов доложил:

— Товарищ комбриг, младший лейтенант Молчанов задание выполнил. Разрешите получить замечания?

— Ну, знаешь, орелик, так инструктора не летают, — сказал комбриг, расстегивая парашютные лямки, — так ты своих курсантов заиками сделаешь. Это цирк, а не пилотаж! Я что тебе велел?

— Ты мне велел выполнить свободный пилотаж, — ответил Молчанов, — ты сказал: «Покажи, все что умеешь»...

— Что, что-о вы сказали, товарищ инструктор?

— Я сказал: вы мне велели выполнить свободный пилотаж. Вы сказали: «Покажи все, что умеешь».

Некоторое время комбриг молчал, потом спросил:

— Ваша фамилия Молчанов?

— Так точно, Молчанов.

— Вы что ж, тот самый Молчанов?

— Вероятно, тот самый.

— Пойдем потолкуем, — сказал комбриг и, обняв Артема за плечи, увел нашего инструктора на командный пункт.

Вот именно в этот момент Артем стал для меня «богом». Я понял: Молчанов знает себе цену и бережет свое достоинство.

А загадочное значение слов комбрига: «тот самый» — я узнал позже. Оказывается, Международная авиационная федерация — ФАИ еще в предвоенные годы отметила Артема Молчанова грамотой лучшего пилотажника-планериста мира. Артем первым на всем белом свете выполнил обратную петлю на планере.

Вот какой у меня был «бог». Горжусь им и сегодня.

О празднике, который бывает только
один-единственный раз в жизни

Этого часа я ждал долго, может быть, всю жизнь. (Училище осталось позади, я служил в строевом истребительном полку. Точнее — начинал служить.) И вот свершилось.

— Иди принимай голубую семерку, — сказал комэска. Поясняю: голубая семерка была машиной — истребителем И-16; комэска — командиром эскадрильи, моим непосредственным всемогущим начальником.

— Есть! — ответил я, козырнул, повернулся через левое плечо кругом и, как понимаю теперь, вылетел из штабной землянки со скоростью, близкой скорости света.

Можно кончить три военных училища, можно иметь десять свидетельств, утверждающих, что тебе действительно присвоено высокое звание пилота-истребителя, но если при всем этом ты не располагаешь собственным, закрепленным за тобой самолетом, ты все равно не настоящий летчик. Ты скорее всего фигура условная — нечто вроде знаменитого поручика Кижж.

Итак, мне предстояло вступить во владение голубой семеркой!

Пожилой механик, старшина сверхсрочной службы, встретил меня в трех шагах от самолета и доложил тихим, спокойным голосом:

— Товарищ командир, машина прибыла из ремонта, осмотрена, заправлена, к полетам готова...

Товарищ командир — это был я.

Нет, вы еще не улавливаете главной тонкости этого обращения. Ведь механик мог сказать: «Товарищ сержант...» — и так было бы куда точнее и ближе к букве устава. Но он пренебрег буквой. Механик был настоящим человеком — с душой!

Мне очень хотелось поблагодарить его за чуткость, но я не мог этого сделать. Такая благодарность прозвучала бы по меньшей мере странно. Поэтому я сказал:

— Чудесно, старшина! Давай вместе осмотрим зверя. — Я совершенно умышленно опустил уставное «вольно!».

И он улыбнулся. Не «зверь», конечно, а старшина сверхсрочной службы.

Надо ли говорить, что голубая семерка была великолепна — курносая, подобранная, сверкающая свежей краской, не

машина, а окрыленная пуля. Мне казалось, что машина пританцовывает на месте и рвется в небо — на патрулирование, на перехват, на штурмовку, в бой, словом, к черту на рога и к дьяволу в зубы...

Механик открыл капот, отбросил смотровые лючки, и я получил полную возможность познакомиться со своей семеркой, так сказать, не только шапочно, но и вполне интимно.

Какой мотор стоял на моей семерке! М-25!

Конечно, на всех других машинах нашей эскадрильи стояли точно такие же моторы, но этот был мой и потому особенный двигатель!

А какие пулеметы притаились в ее крыльях! ШКАС!

Ну и пусть на всех прочих И-16 стояли ШКАСы! Но это были мои.

И какой прицел сверкал в козырке! ПАК-1!

Да, с таким прицелом, если вы хотите знать, не поразить противника просто невозможно. Надо только правильно определить дистанцию, взять точное упреждение, и тогда, тогда всё...

Я осмотрел машину от храповика (то есть от кончика носа) до белой навигационной лампочки (то есть до кончика хвоста) и спросил формуляр.

Поясню: формуляр — паспорт машины.

Формуляр появляется на белый свет в день рождения самолета и живет вместе с машиной до ее последнего полета.

В формуляр записывают все регламентные работы, все текущие и внеочередные ремонты, в нем отмечают болезни, капризы и происшествия — словом, ведут подробнейшую летопись самолетной жизни — от первого до последнего вздоха.

Механик протянул мне формуляр голубой семерки. По закону надо было расписаться в нем, предварительно начертав своею собственной рукой: «Самолет принял. Все в порядке».

В жизни существуют тысячи условностей, которые не могут не волновать. Скажем, получение первого паспорта, или первого письма, или первое обращение к тебе по имени и отчеству...

Вроде бы ничего не изменяется оттого, что ты получил паспорт, каким был человек, таким и остался. И все же...

Никогда я не думал, что подпись, проставленная в старом формуляре, может принести такую радость!

Я распахнул старенький, изрядно потрепанный формуляр и буквально обомлел. На первой его странице значилось:

«Самолет испытан в воздухе. Годен к эксплуатации в строевых частях ВВС. Летчик-испытатель В. Чкалов».

Так волею судьбы, волею Его Величества Случая я стал одним из законных наследников героя моих мальчишеских снов Валерия Павловича Чкалова.

О пользе точных знаний, невольной скромности и высокой оценке

Полет, еще полет, еще... Учебные, тренировочные, более простые и более сложные, в хорошую погоду и в дождь, на средних высотах, на малых и на высотах больших... Воздушные стрельбы и стрельбы по наземным целям... Маршрутные полеты и перелеты... Ко всему этому надо добавить постоянные занятия в классах и упражнения на особые приспособления — тренажерах... Так шаг за шагом человек делается летчиком не по документам, а по существу.

Первые годы летной работы почти не оставляли времени для «побочных» мыслей. Летал, набирал опыт, приглядывался к другим, старался быстрее овладеть новыми знаниями, новыми навыками, необходимым профессиональным умением.

А на себя взглянуть было просто некогда.

Когда в аттестации старшие начальники писали: «Летает решительно и смело», радовался; когда на очередном разборе полетов с меня, что называется, «снимали стружку», огорчался.

Так жил. И должен сказать откровенно — был доволен.

Случай задуматься над своим ремеслом выпал совершенно неожиданно, уже на фронте, в частях действующей армии.

Была глубокая осень. Войска Карельского фронта готовились к броску на запад. Меня вызвал командир дивизии и приказал ехать в наземные части.

— Ваша задача, — сказал комдив, — развернуть пункт наведения при штабе полковника Обыденкина и с земли помогать нашим ребятам. Вам ясно?

Задача была ясна, но, скажу откровенно, энтузиазма не вызвала: согласитесь, какая может быть радость летчику сидеть на земле и кричать в микрофон товарищам: «Довернись

влево, противник ниже... Внимание, внимание, «Мессеры» сзади...»

Летчик-истребитель вскармливается для воздушного боя, и не его это работа — каркать по радио. Но приказ есть приказ, и я поехал выполнять то, что было велено.

В штабе стрелковой дивизии встретили приветливо. Дали рацию, дали двух радистов, помогли выбрать самую высокую сосну и устроить на ней наблюдательный пункт.

И ровно через пять минут после того, как закончились все необходимые приготовления, на нас, как по заказу, налетели «Юнкеры». Правда, ни «Лавочкиных», ни «Яковлевых», ни «Аэрокобр» в воздухе, как назло, не оказалось, так что наводить на противника было некого.

Что ж оставалось? Оставалось смотреть, как пикируют и бомбят немцы, как они стреляют из пушек, как бьют по противнику наши зенитчики. Я и стоял и смотрел. Надо сказать, что в этот день «Юнкеры» бомбили из рук вон плохо. Разрывы выворачивали черные столбы болотистой почвы где угодно, но только не в районе целей. Но, как бы вас ни бомбили — метко или не метко, — глядеть на рвущиеся бомбы всегда противно. Повисев над расположением частей полковника Обыденкина минут шесть-семь, «Юнкеры» развернулись на запад и убрались восвояси.

И сразу же меня вызвали в штаб.

Сначала полковник художественно изругал всю авиацию вообще. Изругал за то, что в нужный момент истребителей не оказалось над полем боя. Потом он припнулся за меня, но тут снова закричал: «Воздух!» — и я так и не успел узнать, в чем провинился.

Вторая волна «Юнкеров» показалась над нашим передним краем одновременно со звеном «Лавочкиных».

Единым духом вознесясь на сосну, я принялся за дело. Если бы зафиксировать на магнитофонной пленке все, что тотчас полетело в эфир, получилась бы приблизительно такая запись:

— Резвый, Резвый, я Грач-два, противник слева, выше. Двенадцать «лаптей» в пленге...

— Понял, Грач, атакую...

— Внимательней, Резвый, правее пара «Мессеров»!

— Вижу, вижу, вижу! Коля, отсеки. Иван, прикрой!

— А-а-а, гады!

- За хвостом смотри...
- Резвый, слева пара! Слева — «Мессера»!
- Вижу...

Над передним краем завертелось колесо воздушного боя. Три «лаптя» — Ю-87 рухнули. Бомбы попадали куда попало. И уже через пять минут все стихло.

И снова меня вызвали в штаб.

- Молодец, — сказал полковник, — герой! Благодарю.
- Служу Советскому Союзу, — ответил я по-уставному.
- Хорошо служишь. Неужели тебе не страшно было?
- Что страшно? — не понял я.

— Ну, под бомбежкой на открытом месте стоять. Я лично совершенно не перебожу. Пусть артогонь, пусть мины, а вот бомбежка — хуже нет.

— Плохо они бомбили, товарищ полковник. А бояться? Чего ж бояться, когда видно — бомбы мимо летят...

— Как это видно? Ты что — бог?

— Никак нет, товарищ полковник. Я, конечно, не бог, но нас учили...

— Учили? Чему учили? Интересно рассказываешь! Выходит, вас учили, как раньше времени не отдать концы. А ну-ка, объясни. Объясни! Только точно. — Полковник не приказывал. Он спрашивал, кажется, не очень всерьез, но все же спрашивал.

И я стал добросовестно объяснять, что такое отставание, и что такое снос, и что такое ракурс. Мне очень хотелось, чтобы симпатичный пехотный полковник понял основной смысл маневрирования на бомбометании.

— А я думал, ты герой! — неожиданно перебил полковник. — Оказывается, ты просто грамотный, — и он засмеялся.

— Конечно, товарищ полковник, какой я герой! Это же совсем просто. Смотришь на пикирующую машину и видишь, например, что киль проектируется через левую плоскость, сразу ясно — бомбы лягут слева. И еще надо учитывать высоту и ветер...

— Ну ладно, — сказал полковник, — если прилетят еще — приду на твой эппе, покажешь на практике. Пока свободен...

Они прилетали еще раз и еще много-много раз подряд. И полковник действительно приходил на мой эппе.

Сначала, когда «Юнкерсы» разворачивались над целью и переходили в крутое пикирование, он заметно менялся в лице,

начинал нервно теребить ремешок полевой сумки, потом пообвыкся и стал определять:

— Бомбы лягут левее дороги, у речки...

Или:

— Рванет в артиллерийских тылах, около леса...

И когда прогноз оправдывался, веселел и приговаривал:

— А я думал, ты герой. Оказывается, все дело в науке!

Потом он уходил и присылал ко мне то своего начальника штаба, то начальника оперативного отдела, то заместителя по тылу. За неделю в гостях у меня перебивал весь штаб.

Теперь уже не вспомнить, сколько раз нас бомбили в ту неделю, — может быть, сорок, а может быть, и все пятьдесят. В одном я, однако, уверен: примерно после пятнадцатой бомбежки в щелях и укрытиях стало куда свободнее, чем прежде. Теперь штабисты полковника Обыденкина сначала смотрели в небо, определяли угол пикирования, ракурс, а уже потом решали: прятаться или не прятаться от пикировщиков...

Героем я не стал, но, хочется верить, в какой-то степени помог людям полковника Обыденкина преодолеть тошнотворные приступы «авиационной болезни».

Слепой страх перед воюющей бомбой — это ведь тоже болезнь, и притом тяжкая.

Никогда в жизни я не встречался больше ни с самим полковником Обыденкиным, ни с офицерами его штаба. Ну и что ж, не привелось, но, может быть, когда-нибудь еще придется. Были б живы, все остальное — дело случая.

А чтобы они были живы, я сделал столько, сколько мог.

О сложных взаимоотношениях лиц разных званий и личной ответственности, никогда не покидающей летчика

Война — самое большое и самое тяжелое горе для всех людей — многое отняла и у каждой семьи и у каждого человека. Однако было бы несправедливым утверждать, что горе только отнимает, только лишает, только угнетает человека. Горе еще и учит.

Мы получили необычное и, с точки зрения летчика действующей истребительной авиации, малоприятное задание:

приказано было собрать на лесных, оставшихся в тылу наших наступающих войск аэродромах неисправные и в свое время брошенные самолеты. Безнадёжные следовало списать и прервать в лом, поддающиеся ремонту — подштопать на живую нитку и перегнать своим ходом в пункт П.

Здесь, в П., старые машины должны были получить настоящий капитальный ремонт и обновленными снова пойти в дело. И вот началось.

Полковой инженер изучал машину за машиной, чертыхался и рассуждал вслух:

— Если с пятнадцатой снять левую драную плоскость, а с шестьдесят второй правую, то из двух калек может, пожалуй, получиться один инвалид... Но какую машину списывать, а какую восстанавливать? Задача! Одно уравнение с двумя неизвестными. Ну ладно, попробуем подлатать пятнадцатую...

И техники латали самолет за самолетом, а мы осторожно вырубали, потихонечку взлетали, собирались в перегонные группы и топали в П.

Риск был, конечно, большой, но и необходимость — тоже большая. Каждый возвращенный в строй самолет-истребитель приближал день победы. Мы сознавали: работа не сахар, далеко не сахар, но никуда не денешься. Раз нужно, значит, нужно...

Не помню ни одного перелета, чтобы все обошлось благополучно: или отказывала рация, или барахлил движок, или не выпускалось шасси — словом, что-нибудь случалось непременно.

В очередной раз мне досталось гнать вполне приличный с виду агрегат, но запись в формуляре предупреждала: «Самолет снят с эксплуатации ввиду сильного перерасхода масла. Полной заправки хватает на 25—30 минут полета».

— Ну как? — спросил комэска. — Полетишь?

— Полечу, — сказал я, — если разрешите взлетать последним, если не будете ругать за отставание от строя, если технари дадут запасную канистру с маслом, если...

— Правильно, — сказал комэска, — такой гроб надо бы перегонять индивидуально, но ты же знаешь — батя не любит штучных перелетов.

Командир эскадрильи мгновенно понял и оценил мои опа-

сения. Когда летишь один, не связанный строем, можно подобрать самый минимальный режим работы двигателя, легче следить за показаниями приборов. И вообще легче нести ответственность за порученную работу... Но вступать в пререкания с батей (командиром полка) командиру эскадрильи не хотелось. Поэтому он решил весьма мудро:

— Сделаем так: ты опоздаешь с запуском двигателя. Улавливаешь? Когда все вырулят, ты запустишь. Мы взлетим — ты рули. Я заведу группу над стартом, а ты, не пристраиваясь, сразу ляжешь курсом на П. Ясно? Мы тебя догоним на маршруте и вместе дойдем до П. Садиться будешь первым, с ходу. Ясно? Расчетное время полета двадцать три минуты. Должен дойти. Так?

— Должен, — сказал я и пошел хлопотать насчет канистры с маслом. Между аэродромом вылета и П. была промежуточная посадочная площадка. Я все время думал об этом. «Начнет падать давление масла, сяду там, дозаправлюсь, не выключая мотора, и через пять минут взлечу снова». Это успокаивало.

Но все получилось совсем иначе.

За пять минут до вылета командир дивизии объявил, что нашу группу поведет не командир эскадрильи, а инспектор воздушной армии Герой Советского Союза гвардии полковник Десницкий.

Мы, как положено, выстроились перед самолетами. Десницкий небрежно козырнул строем и браво выкрикнул:

— Веселее, орлы! Главное, держаться за железку, соблюдать место в строю и не зевать. Остальное вы и сами знаете. Твой позывной?

— Арфа-11, — сказал Маслов.

— Твой?

— Арфа-14, — сказал Яценко.

— Твой?

— Арфа-66, — сказал Кротов.

Когда очередь дошла до меня, я сказал:

— Арфа-17.

— Все! — объявил гвардии полковник. — По машинам! Через три минуты группа запустила двигателя. Я ждал.

— Арфа-17, Арфа-17, ты что, заснул? Запускай!

— Вас понял, — ответил я и не спеша взялся за ручку альвейера (пускового насоса).

Группа начала вырубивать. Ведущий командовал по радио: — Четырнадцатый, поближе, шестьдесят шестой, подтянись. Одиннадцатый, одиннадцатый, давай на взлетную. Прожигаем свечи! Взлет!

Девять машин благополучно оторвались от земли. Я запустил двигатель и резво порулил на старт.

Группа уже собралась в воздухе и проходила как раз над центром аэродрома, когда я отпустил тормоза и ринулся вперед.

— Арфа-17, сапожник ты! Сапожник! Чего отстал? Давай догоняй группу.

Ну, что я мог возразить? Объяснять, что расход масла, выходящий из всех норм, заставляет меня экономить каждую минуту? Обижаться на незаслуженного «сапожника»? Просто огрызнуться? Но согласитесь, командная радиостанция самолета-истребителя вовсе не тот прибор, при помощи которого можно выяснять отношения.

Как ни обидно было, я проглотил пилюлю. И на всякий случай не ответил.

С первого разворота лег на курс. Огляделся по сторонам и обнаружил: мой курс и курс группы разнятся градусов на 25—30. Подумал: «Может быть, компас врет? Но у кого — у меня или у ведущего?» Посмотрел на землю: железная дорога, та самая железка, о которой только что говорил инспектор, лежала под левой плоскостью. Сомнения не было — я летел правильно.

— Арфа-17, Арфа-17, где ты болтаешься? Увеличь обороты, пристраивайся! Как понял?

«Главное — масло, — подумал я. — Во всяком случае, сейчас нет ничего важнее масла», — и снова не ответил.

— Арфа-11, этот сапожник семнадцатый меня не слышит. Попробуй связаться ты. Передай ему, пусть пристраивается.

Но я не услышал и Арфу-11. Я думал о масле и летел в П. Надо сказать, что события, о которых идет речь, происходили на Севере, в краю, как известно, не обласканном природой, в краю, где погода меняется быстрее, чем настроение самой капризной красавицы.

Через пять минут после взлета облачность начала стучаться.

Через десять — пошел липкий снег, видимость резко сократилась.

Пришлось снижаться. Пришлось, что называется, цепляться за железную дорогу.

Давление масла пока еще держалось в норме, но мне показалось, что остановились бортовые часы. Это была не очень существенная, но все же неприятность. Хотел свериться с ручными часами и не смог: земля была слишком близко, в сероватой мгле нечетко вырисовывались отроги опасного хребта, а рукав комбинезона никак не отворачивался.

«Ладно, — подумал я, — к черту подробности! Железка выведет. Главное — масло. Лишь бы хватило масла».

Потом я обнаружил, что бортовые часы идут. Просто мне хотелось, чтобы они шли быстрее.

На двадцатой минуте полета стрелочка масляного манометра отклонилась несколько влево. Чуть-чуть.

«Начинается, — подумал я. — Неужели не хватит?»

Промежуточную посадочную площадку я уже проскочил.

На двадцать второй минуте давление резко упало до минимально допустимого.

Мне стало скучно. Совсем скучно. Вот-вот должен был заклинить двигатель. Что тогда делать? Рассчитывать на вынужденную посадку не приходилось. В такую погоду, когда под самым носом ничего не видно, где попало не приткнешься. Прыгать? А высота? Высоты не было. Набирать высоту, пока еще работает мотор? Но тогда я наверняка потеряю железку и...

В это время я увидел П. Сначала темное пятно в белой мути, потом очертания леса и характерную дугу озера и, наконец, сам аэродром, точнее, самолетные стоянки.

Давление масла упало ниже допустимого.

Я выпустил шасси и с ходу сел.

Отрулить с полосы не смог. Мотор заклинило на пробеге. Подбежавшие механики откатали машину руками.

Пятью минутами позже я докладывал генералу:

— Товарищ генерал-лейтенант, гвардии сержант Блыш задание выполнил, на приземлении заклинило двигатель...

— Где группа? — спросил генерал.

— Не знаю.

— А кто должен знать? Я?

— Гвардии полковник Десницкий должен знать, товарищ генерал. Он ведущий.

— Рассуждаешь? Трепло! А группу почему бросил? Что я мог сказать? Генералы не терпят длинных объяснений, а коротко обстановку было не описать. Я промолчал.

— Вот-вот! С этого все начинается. Группа куда-то делась, а он, голубчик, тут и, конечно, ничего не знает. Замечательно! Превосходно! — Генерал нервничал. Генерал был великолепным истребителем, он любил нас, летчиков гвардейского соединения, и у него, видно, не на шутку щемило сердце.

— Стоишь? Прилетел и доволен? А на группу, на людей, на товарищей наплевать? Победителем себя чувствуешь? Самым умным? Самым хитрым? Да? И еще молчишь, гордость ломаешь... — Генерал распекал меня минут сорок. Распекал до тех пор, пока начальник связи не подал ему телеграмму с аэродрома Р.:

«Группа полковника Десницкого благополучно приземлилась. Отклонение заданного маршрута вызвано неисправностью навигационного оборудования, резким ухудшением метеословий».

— Паразиты! — сказал генерал. — И еще врут! Оборудование у них отказало. А голова для чего? Для чего у них голова, Блэш? Почему тебе метеословия не помешали, а им вот помешали? — И генерал снова напустился на меня.

Но теперь, когда стало точно известно, что ничего плохого не случилось, генеральский разнос не казался ни обидным, ни страшным.

Ребята сидят в Р. Все целы. А на остальное в конце концов просто наплевать. Я даже улыбнулся.

— Смеешься?! Весело тебе? Да?! — И вдруг он тоже заулыбался. — А здорово я тебе выдал?

— Здорово, товарищ генерал.

— Ладно, считай, что получил аванс. Когда по-настоящему напортачишь, можешь мне напомнить: «А я уже получил в П.!» Все! Пошли обедать.

Ни подобный перелет, ни мои действия, ни похожее объяснение с генералом не могли бы состояться в мирных условиях. Начать с того, что неисправные самолеты были бы спокойно разобраны и отправлены в П. наземным путем.

Но военная обстановка требовала идти на риск. И последовал приказ, и мы полетели, и каждый в полной мере принял ответственность на себя.

Теперь я думаю: может быть, этот небоевой эпизод в гораздо большей степени характеризует существо моей профессии, чем десять лихо описанных воздушных схваток. Ведь в ремесле летчика нет ничего важнее, чем способность принимать решения, чем ответственность, которую нельзя ни переложить ни на кого, ни поделить ни с кем...

Об утреннем происшествии над передним краем и о трудном разговоре в ельнике

Мы сидим в мелколесье. Елочки-подростки, зеленые, пушистые, едва достигают нам до плеч. Северное мягкое солнце светит, но не очень-то греет.

Мы — это летчики первой эскадрильи. Наш командир, человек спокойный, всегда выдержанный, основательный, говорит ровным тихим голосом:

— Давай, Лебедев. Докладывай. Все подробно докладывай.

Командир звена, гвардии старший лейтенант Лебедев неохотно поднимается со своей укутанной бархатистым мхом кочки и докладывает:

— Барражировали мы над передком, — это надо понимать — над передним краем. — Восточнее развилки. Так? Бастрькин держался все время хорошо. Он вообще хорошо ходит в паре. Противника видно не было. Мотались челноком, — это надо понимать — летали туда-сюда со снижением и набором высоты, чтобы над передним краем иметь постоянный запас скорости. — В семь тридцать пункт наведения передал: «Справа ниже «Юнкерсы», восемьдесят седьмые, шестерка. Прикрывают «Мессера», звено». Я развернулся и пошел на сближение.

— Где был Бастрькин? — спрашивает комэска.

— Справа, чуть выше.

— Ясно. Дальше?

— Я атаковал ведущего восемьдесят седьмых. Он задымил. Упал или нет, не видел. Врать не буду...

— Бастрькин, — говорит комэска, — ты видел?

— Нет, не видел. Лебедева атаковал «Мессер», я развернулся в лоб «Мессеру» и отсек...

— Ясно. Дальше, — говорит комэска.

И Лебедев продолжает:

— «Мессера» сразу сцепились с нами. Одного я завалил — это точно. Одного Бастрыкин накрыл — тоже точно. И тут все они начали смываться.

— Ну?

— Мы погнались за «лаптями», — это надо понимать: за Ю-87. — И тут у меня заело ленту. Атаковал Бастрыкин. Одного завалил сразу за передком. А я делал вид, что прикрываю его.

— Когда отвалили? — спрашивает комэска.

— В семь тридцать шесть. Горючего оставалось мало. И над нами прошли Самсонов с Рухадзе...

— Дальше?

— Отвалили когда, я увидел — на парашюте фриц болтается...

— Над чьей территорией — над их или над нашей?

— А хрен его знает! Сверху точно не разберешь...

— Дальше, — говорит комэска.

— Я приказал Бастрыкину: «Рубани его, гада».

— Ну...

— Пусть он сам дальше объясняет.

— Бастрыкин, говори, — приказывает комэска и смотрит поверх наших голов куда-то на горизонт, где молодой ельник смыкается с угрюмой темной тайгой.

— А я не стал. Не стал! И никогда не стану, пусть мне хоть сам верховный приказывает. Я истребитель, летчик, а не палач. Это принцип! Можете судить, разжаловать, можете что хотите со мной делать...

— Не ори! — говорит комэска. — Мы не глухие. Дальше?

— Что дальше?

— Все по порядку рассказывай.

— А он полез его таранить...

— Кто кого?

— Лебедев фрица.

— Ясно. А ты?

— Я его обложил...

— Кого?

— Ясно — Лебедева. И он не стал рубать фрица по строкам. Потом мы вернулись.

— Дальше.

— Вы же знаете, я рапорт подал. С Лебедевым летать

больше не буду. Не хочу. И не заставляйте. Доверие у меня к нему кончилось.

— Что он, тебя в бою, что ли, бросил — доверие кончилось?

— Он не бросил и не бросит, это факт, но у нас с ним идейные несогласия. Вот и все.

Я смотрю на Лебедева. Сидит он на своей бархатной кочке, кусает еловую иголочку. Злой, как сто тысяч чертей. Лицо обтянуло, и глаза даже ввалились. Я давно уже дружу с Лебедевым и знаю о нем все. Родом Сашка из Чернигова. Семья — отец, мать, две сестренки — пропала под немцем. Сашку точит ненависть. И я понимаю Лебедева...

Я смотрю на Бастрыкина. Взъерошенный, красный, сейчас он отвернулся ото всех и палочкой ковыряет песок. Бастрыкин малый шумный, заводной, несдержанный — это на земле. В воздухе он преображается, словно закручивает тугую и безотказную пружину. Бастрыкин один из лучших ведомых в нашем полку — самоотверженный и умелый. Он не тщеславен — все знают, и каждый может подтвердить это. Наград не считает, сбитыми самолетами не очень хвастает, хотя у него такой личный счет, что дай бог каждому ведомому! Как он сказал: «Я истребитель, летчик, а не палач...» Приходится признать — его я тоже понимаю...

Я смотрю на комэска. Он должен принять решение, рассудить, кто из них прав, кто виноват. Нелегко, должно быть, командиру произнести свое слово.

Как бы я поступил на его месте? Честно говоря, не знаю. Случай, как говорится, нетипичный. Но все равно командир обязан знать, как ему быть, на то он и старший надо всеми нами.

— За нарушение порядка радиообмена, нецензурные выражения в эфире, — медленно говорит комэска, — объявляю лейтенанту Бастрыкину выговор.

Бастрыкин подтягивается и, кажется, с облегчением выслушивает решение командира. А комэска уточняет:

— Личный выговор. Временно будешь летать со мной. А ты, — взгляд в мою сторону, — пойдешь ведомым к Лебедеву.

— Есть, — говорю я. И пытаюсь представить себе, как бы я поступил на месте Бастрыкина, прикажи мне Лебедев ерубить беспомощного парашютиста. Конечно, он фашист, он враг, у нас длинный счет — за Украину, за Белоруссию, за

Крым, за центральную полосу России... И все-таки я вынужден признаться самому себе: не знаю, как бы я поступил на месте Бастрыкина. На душе делается совсем сумрачно. Почему-то думаю: «Неужели командир больше ничего не скажет?»

Но он говорит:

— Лебедев, я отдал тебе своего ведомого не за красивые глаза. Ты меня за горло взял. Попробуй только его потерять! Другого тебе не будет, до самого конца войны не будет — учти!

Как ни странно, от этих слов мне делается чуточку веселее на сердце, хотя, если разобраться, ничего особенного и не было сказано.

Тем временем командир медленно поднимается с земли, оглядывает нас всех и говорит:

— И никакого лишнего трепана не разводите! Никаких дискуссий! Дело наше — внутреннее. Обсудили. Порешили. Точка. Все свободны.

Мы идем сквозь мелколесье к самолетным стоянкам. Елочки-подростки гладят нам руки своими пушистыми, совсем еще не колючими лапками и тихонечко качают вершинами, будто говорят:

«Ничего, ничего, образуется...»

Я отстаю от всех. Иду и думаю — о ребятах, о справедливости, о себе. Комэска тоже отстает, трогает меня за кожаное плечо и, почему-то не глядя в лицо, говорит:

— Не обижайся. Постарайся понять: и Лебедева, дурака, жалко и Бастрыкина тоже. Они же такие ребята... сам знаешь. А с тобой мы еще летаем. Войне пока еще не конец.

**О воздушном бое, горячем дыхании,
ослепляющих перегрузках и голубом
небе над головой**

Прикрывать Лебедева в воздушном бою было трудно. Стоило закрутиться карусели схватки, и он переставал думать о напарнике. «Ведомый — щит героя» (был во время войны такой популярный лозунг), вот и держись! Раз ты щит героя, что бы ни случилось, обязан быть под рукой. В бою Сашка видел только противника и маневрировал и

наседал на него с таким упорством, что редкий немецкий летчик мог выдержать лебедевские атаки. Сашка с такой силой рвал машину, что с кончиков крыльев его послушного «Лавочкина» слетали голубые струйки возмущенного воздуха. Нет, я не жалуюсь на Лебедева теперь и тем более не жаловался на него тогда, просто констатирую факт: прикрывать Сашку было трудно.

Здесь мне придется опустить многие тактические подробности баталии, о которой я сейчас расскажу. Дело в том, что тактика — слишком специфический предмет, и закапываться в глубину этой науки тут неуместно, а скользить по поверхности — только путать. Скажу коротко — в очередном бою эскадрильи нам с Сашкой достался «верхний этаж» свалки, за облаками. Группа сделалась, таким образом, понятием скорее всего моральным, и крутиться нам двоим приходилось на свой страх и риск.

Сашка связал боем пару из резерва противника. Сначала мы вертелись на виражах, и Сашка все увеличивал и увеличивал крен. Дышать сделалось трудно: перегрузка, неизменная спутница глубокого виража, вжимала в сиденье, старалась опустить веки и закрыть глаза, казалось, хотела и вовсе задуть. Это означало — вертимся на пределе, еще немного, и самолет сорвется в штопор. Надо было глядеть в оба. И все-таки расстояние с противником почти не сокращалось. Немцы тоже прилично завернулись и совсем не спешили подставлять нам свои хвосты. Честно говоря, противника я видел плохо, боялся оторваться от Сашки.

Потом что-то произошло. Сначала я даже не понял что. Сашка опрокинулся на спину и стал проваливаться куда-то вниз. Я тоже опрокинулся вверх колесами и только тогда сообразил — они выполнили полупереворот и, набирая скорость, мчатся к облакам.

Двигатель взревел и стал накручивать обороты. Я затяжелил винт до упора и держался за Сашкиным хвостом.

Немцы вскинулись вверх, неожиданно и резко. Лебедев потянулся за ними. Я тоже дернул ручку на себя и моментально ослеп. Чуточку отпустил ручку, стало легче, зрение улучшилось. Я снова дернул — в глазах поплыли красные пятна, мутные и, казалось, горячие.

Сашка был впереди и слева. Немцы еще левее и несколько дальше. Сашка доставал ведущего. Красным пунктиром поло-

сонула трасса. Сашка стрелял. Яркие шарики вылетали из носа Сашкиного «Лавочкина» и, как мне показалось, упирались в машину немца. Это было красивое зрелище, но заглядываться я не мог. Надо было смотреть по сторонам. Я обернулся и увидел: снизу из облаков выскочила и тянулась к нам новая пара противника. Я крикнул:

— Сашка, снизу, сзади пара. Отсекаю!

Дал ногу до упора влево, заложил крен. Главное теперь — не потерять из виду чужую пару. Хорошо! Увидели меня, отворачивают. Отлично! Догонять немцев я не стал, хотя, вероятно, мог догнать. Я был «щитом героя», и мне полагалось быть под рукой у Сашки. С возможной оперативностью я занял свое место.

И тут ведомый Сашкиного немца отскочил от своего ведущего в сторону. Почему? А черт его знает почему! Он снижался. Я подумал: «Махнуть переворот и сесть ему на хвост?» Но я не махнул переворот. Щит есть щит...

Сверху, со стороны солнца на нас повалилась новая пара. Вероятно, та самая, что перед этим пыталась атаковать нас снизу, та, которую я отсекал. Сашка заорал:

— Смотри, сверху пара!

— Вижу! — крикнул я и резко задрал нос машины навстречу противнику. Дистанция была еще велика, и открывать огонь не имело смысла: Я ждал. И не дождался. Противник отвернул и проскочил вниз. Очень хотелось увязаться за ними и бить, бить изо всех трех огневых точек. Но... я снова вернулся на свое место, к Сашке под крылышко.

Воздушный бой пары истребителей редко длится дольше семи-десяти-двенадцати минут. Это по часам. А тем, кто дерется, минута кажется часом, а иногда и вечностью...

Сухое колющее горло, горячие глаза, влажные ладони, хрип на губах — все это только мелкие подробности воздушной схватки, свидетельствующие о «градусе» нервного и физического напряжения дерущихся.

И мысли. Очень странные мысли посещают человека в бою. Мысли эти коротки, появляются и исчезают, словно вспышки.

Когда мы крутились на виражах, я подумал: «Дурак, зачем кваса не попил?» В нашей летной столовой был отличный кисловатый квас. Хлебный квас! Я собирался попить и позабыл, отвлекся чем-то...

Когда мы лезли вверх, доставая пару противника, мне

почему-то пришло в голову: «А Женькино письмо осталось в планшете». Планшет я не любил брать в полет, карту засовывал в голенище сапога. Так мне казалось удобней и... формсистей.

Мы дрались уже года три, наверное. Я весь взмок, у меня болели плечи, ломило под лопаткой, а результата все не было. Потом что-то надломилось. Немцы потянули на запад. Видимо, у них кончалось горючее. Сашка это понял и будто осатанел. Теперь он так рвал машину, что мне казалось, вот сейчас, сию минуту у меня переломится хребет.

Немцы проскочили сквозь облака, мы тоже.

Паразиты, они таки вытащили нас на свои зенитки! Прямо перед носом небо вдруг наполнилось дымными клубками. Сначала клубки росли, вздувались, потом лопались. Зенитчики прикрывали отход своей пары. Но остановить Сашку было не так-то просто. Он пикировал на полных оборотах двигателя, подкальзывая то в одну, то в другую сторону. Мы просвистели над самой землей, в каких-нибудь семидесяти...-восьмидесяти метрах над линией обороны противника; и уже там, в чужом тылу, резко рванули вверх. Пока мы снижались как оглашенные, немцы, вероятно, потеряли нас из виду и успокоились. Но Сашка не потерял их и не успокоился.

Я думал, они столкнутся, так близко подтянулся Сашка к хвосту чужого ведущего. Трассы я не успел заметить. Видел только вспышку и темный дымный султан, вознесшийся над машиной противника.

— Есть! — заорал Сашка. — Уговорил! — И, нарушив дисциплину радиообмена, сопроводил падение «фокке-вульфа» не столь осмысленной, сколь эмоциональной тирадой.

Через пятнадцать минут мы сидели на своем аэродроме.

Я еле вылез из кабины, дрожали руки, и в ногах была какая-то противная слабость.

Первыми к машине кинулись оружейники. Я слышал, как Сашкин «щелчок» (так называли оружейников) считал:

— Шесть, шесть, четыре...

Это означало: Сашка привез сдачи шестнадцать снарядов.

Мой оружейник заглянул в снарядные ящики и удивленно спросил:

— Почему не стрелял, командир?

Ворочать языком не было сил, я промолчал.

— Задержка с перезарядкой?

— Нет, все в порядке. — И тут я прочел на прыщеватом мальчишечьем лице своего «щелчка» явное осуждение: «Эх ты, был в бою и ни разу не выстрелил! Хорош!»

В голове не было ни мыслей, ни слов. Я молчал.

Подошел Сашка. Его покачивало, будто он крепко выпил. Сашка расстегнул все пуговицы на гимнастерке, он дышал ртом шумно и часто.

— Ну, мужик, за такое прикрытие с меня причитается...

У меня шумело в голове, я слышал, как кровь торкается в запястьях, где-то в шее. Мне казалось, что весь я превратился в сплошной пульс. И почему-то прыгали губы. Сами по себе, бессмысленно и чудно — то ли пытались изобразить улыбку, то ли сложиться в плаксивую гримасу.

Я поднял голову и посмотрел вверх. Небо было чистое, синее.

Небо действовало успокаивающе, и я стал приходить в себя.

А механики поспешно осматривали и заправляли машины. Обстановка на передке складывалась так, что минут через тридцать-сорок надо было ожидать нового вылета и, вполне вероятно, нового боя.

О старом аисте, великом мужестве и человеческой красоте

Через несколько дней мы получили приказ перебазироваться на другой аэродром. На Крайнем Севере что-то готовилось, и авиацию стягивали в кулак.

Собрались и полетели.

На промежуточной площадке, где мы заправлялись горючим и маслом, выяснилось, что машина ведущего группы неисправна. На этот раз ведущим был заместитель командира дивизии. Он, конечно, не мог отстать от группы, которую вел, и приказал отстать мне. Итак, заместитель командира дивизии улетел дальше на моем самолете, а я оставался и должен был догонять своих на его машине, разумеется, после того, как эта несчастная машина будет приведена в порядок.

Стоило опустеть промежуточному аэродрому, как по неприбранному самолетным стоянкам зашелестел ветер.

Ветер этот был не веселый, не тот, что зовет в дорогу и

радует сердце, а какой-то придушенный, тоскливый, раздражающий.

Впрочем, все это я теперь припоминаю, когда пишу, а тогда мне было не до подробностей.

Группа улетела. Техники из батальона аэродромного обслуживания довольно скоро установили, что из строя вышел регулятор оборотов винта. Регулятор надо было заменить.

Чтобы не сидеть сложа руки, я пошел на склад. Регуляторов там не оказалось.

Пришлось звонить в технический отдел, бегать к старшему инженеру, выяснять, устанавливать, просить, требовать, подлизываться, телеграфировать в штаб дивизии и инженерный отдел воздушной армии. В конце концов, злой как собака, я отправился с аэродрома в город разыскивать какого-то техника-лейтенанта Штуку. Штука служил в ремонтных мастерских, и мне сказали:

— Если Штука тебе не поможет, тогда рассчитывай только на самого господ бога.

И вот, сжимая в руке бумажку с адресом всеильного Штуки, я шагал по маленькому, пронизанному ветром северному городишку. Городок меня не интересовал и, видимо, поэтому совершенно не запомнился. Дома, ветер, летящий по земле мусор, снова дома и снова ветер, ветер и ветер...

Где-то на кривой бревенчатой улочке на меня набежала женщина. Шинель внакидку, вместо армейской шапки-ушанки белая медицинская шапочка. Лицо усталое, очень бледное.

— Вы летчик? — спросила женщина, испуганно заглядывая мне в глаза.

— Ну, летчик, в чем дело?

— Настоящий летчик или просто на аэродроме служите?

— Послушайте, докторесса, какого дьявола, собственно говоря, вам надо?

— Не сердитесь. Простите меня. Пойдемте, я вам сейчас все объясню. Вы поймете. Пожалуйста, всего на пять минут, вот сюда. Раньше это была школа, а теперь госпиталь. Сейчас вы все поймете.

— А что все-таки случилось?

Но она так толком и не ответила, ухватила за кожаный рукав куртки и потащила в бывшую школу, превращенную в госпиталь.

Не успев еще ничего сообщить, я очутился в душном, про-

пахшем лекарственными ароматами госпитальном закутке. Здесь на синей больничной койке, укрытый армейским одеялом грубого шинельного сукна, лежал незнакомый человек. Был он далеко не молод. Лицо худое, очень усталое, отмеченное двумя глубокими морщинами, протянувшимися от крыльев носа к уголкам губ. Видно было — пожил человек, пострадал. Больше я не успел ничего разглядеть, ни о чем подумать.

Женщина в белой медицинской шапочке сказала:

— Алексей Владимирович, миленький, вы летчика хотели видеть, вот привела вам летчика.

Он открыл глаза и долго смотрел на меня. Кажется, сначала он ничего не мог понять. Потом зрачки его наполнились живым светом, ресницы вздрогнули, бесцветные губы шевельнулись, и тогда он сказал:

— Сядь.

Я сел на край его синей, уютной кровати.

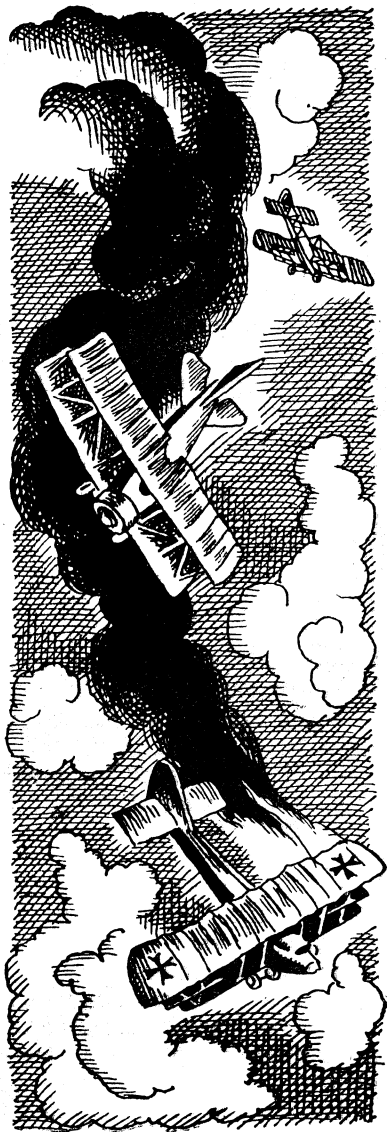
— Летчик?

— Да.

— На чем летаешь?

— На «Лавочкиных».

— «Лавочкин» — это хорошо. — Он помолчал. Говорить ему было трудно. — Я тоже был летчиком. Только давно. Очень давно. Не в эту, еще в ту войну, в германскую. Эскадрилья «Аистов» — слышал?



Секунду я колебался.

Никогда в жизни ни о какой эскадрилье «Аистов» я ничего не слышал. Признаться? Огорчу ведь человека.

И все-таки я не сумел соврать, не смог бормотнуть ничего такого: «Как же, как же — «Аисты»! Еще бы». Сказал:

— Нет. Не слышал.

— Теперь нас забыли. Мало кто помнит. А была такая знаменитая эскадрилья асов. Русско-французская. Мы во Франции дрались. И не плохо. Даже очень не плохо. — Он снова замолчал.

Я сидел тихо, боясь пошевелиться.

— Аист. Смешно? Правда, смешно?.. А потом все перекувырнулось... Сколько тебе лет?

— Двадцать три, — сказал я, — скоро будет.

Он молчал, я думал: «Человек летал еще в германскую. За семь лет до моего рождения! Это же история, а для авиации почти «древняя» история. Интересно, на чем он летал? Скорее всего на «Фармане», может быть, на «Ньюпоре» — во всяком случае, на машине из породы этажерок, других тогда просто не было. И дрался, и выжил, и был асом...»

— Тебе хорошо. Тебя не спрашивали: почему служил в царской армии? А меня спрашивали. Царя мне, кажется, простили. Но потом стали спрашивать, откуда я знаю французский. Глупо, конечно: все аисты говорили по-французски. Как было не говорить, когда мы вместе воевали — французы и русские! А потом мне предложили сообщить, что я думаю о других аистах. Я сказал: «Это были настоящие летчики и настоящие люди». И тогда мне задали самый короткий вопрос: «Все?» Я стал думать. Перебирал в памяти одного за другим. «Да, — сказал я, — все». После этого медицинская комиссия ни с того ни с сего отстранила меня от летной работы... — Он замолчал. Замолчал надолго. Лицо его стало еще бледнее, глаза закрылись.

Он молчал, я думал: «Видно, не легко тебе досталось, человек. Летать на этажерках, драться с немцами было, конечно, тяжело. Но тут по крайней мере все понятно...»

Подожшла сестра, позвенела чем-то, отвернула край одеяла и сделала укол.

— Спасибо, — сказал он, — теперь хорошо. Да-да, хорошо. Ну вот... Еще немного посидишь со мной, ладно?

— Конечно, — сказал я, — посижу сколько вам угодно.

Только не надо много говорить. Вам же трудно. Вы лучше отдохните.

— Ничего, говорить надо, ничего... Летать мне больше не дали. А один человек сказал так: «Чего ты шумишь? Благодарю бога, что тебя по медицинской части оформили, тихо, без лишних неприятностей». Я и не стал спорить, понимал — бесполезно. Я сказал: «В бога не верю. И летать могу. Я это знаю, и вы тоже это знаете...» Тогда он рассердился. Думал, наверно, что я стану его благодарить... — И снова старый аист умолк.

Я не сомневался в подлинности слов старого аиста. И незнакомый, никогда не виданный прежде человек сделался мне родным, близким. Я не знал, чем помочь ему. Если нужна кровь, я готов был предложить свою кровь. Сколько потребуется. Но кровь оказалась ненужной...

Пришел врач. Молодой военный врач. Красивый и стремительный. Нашупал пульс, припал ухом к груди аиста, послушал. Недовольно покачал головой и что-то тихо сказал сестре. Что именно он сказал, я не расслышал. Сестра сделала новый укол.

— Ты еще здесь? — спросил аист, медленно открывая глаза.

— Здесь.

— И я еще здесь, — сказал он и даже улыбнулся. — Ты чего? Э-э-э, это зря. Разве можно летчику слезы пускать? Ты брось. Лучше слушай. У нас, аистов, был хороший девиз: «Аисты умирают, но аисты не сдаются». Запомни. Пожалуйста, запомни и расскажи ребятам. Ладно?

И тут я понял: человек умирает. Это его завещание. Я видел, как гибнут люди под артиллерийским огнем, видел, как подрываются на минах, видел, как дымными факелами врезаются вместе со своими машинами в землю. Это всегда страшно. Но, оказывается, умирать в постели, беспомощно, медленно, в полном сознании, еще страшней.

В тусклое окно прорвалось весеннее солнце. Золотой зайчик вспыхнул вдруг на граненой пробке флакона, подрожал, подрожал и погас. Желтый мазок теплого света прилепился к двери, и мрачный госпитальный закуток ненадолго посветлел.

— Ничего, ничего, ничего, — сказал старый аист, — воздуха, а? Больше воздуха! А? Еще...

Я распахнул окно. С улицы дохнуло свежестью — ветром, снегом, синевой предвесеннего неба.

— Спасибо. Хорошо, — сказал он. — А теперь я — сапер. Доброволец-сапер! Смешно, правда? Саперы тоже воюют... Все в конце концов проходит... Главное... главное — драться... Понимаешь?.. Теперь скоро... Сорок четвертый, это сорок четвертый... — И он замолчал.

Только трудное дыхание говорило: человек еще жив.

Голова у меня сделалась совершенно пустой. Пустой и звонкой — ни единой мысли, никаких чувств. Ничего. Решительно ничего не осталось.

Я сидел на жестком краешке его кровати и не знал, что делать.

Летчик, сапер, солдат. Всю жизнь солдат! Он поднялся в моих глазах выше обид, выше несправедливости, выше всех сует. Он жил, чтобы драться, не сдаваясь, веря в победу. В старом, умирающем аисте была какая-то особая сила, какое-то особое достоинство. И что-то еще — очень тревожное, очень существенное.

Это что-то надо было непременно понять и непременно запомнить...

Вошла женщина, перехватившая меня на улице, но я не сразу заметил ее и никак не мог сообразить, о чем она шепчет:

— Теперь, милый, идите. Больше вы ему не нужны. Вот человек — семь операций на позвоночнике вынес, ни разу не застонал. Где ж справедливость, а-а? Спасибо вам. Идите.

Внезапно старый аист открыл глаза. Посмотрел на меня совершенно спокойными, ясными зрачками и сказал:

— Ладно, иди. Все остальное будет неинтересно. Не забудь рассказать ребятам. Пусть знают: аисты все равно не сдаются.

О самом важном дне из многих прожитых дней

Конечно, я рассказал ребятам о старом аисте, о последних его словах, о молодом военном враче (почему-то он мне запомнился очень отчетливо). Кажется, мой рассказ не произвел на ребят особого впечатления — может быть, я не сумел передать того, что пережил у постели Алексея Владимировича, а может быть, я ошибаюсь, и просто война

отучила моих друзей от лишних, ни к чему не обязывающих слов.

— Да-да, — сказал тогда Володя Жариков. — Человек.

— Аисты? — сказал Лешка Кротов. — Интересно.

— Сапером кончил? Ничего себе... — сказал Федя Яценко.

И все. Больше ничего сказано не было. Но почему-то я верю, что никто из них не забыл последних слов старого аиста: «Аисты все равно не сдаются...»

Во всяком случае, я вспомнил Алексея Владимировича 29 апреля 1945 года, когда мы, группа перегонщиков, приближались к Штаргардту.

Ведущий скомандовал:

— Сомкнись! — и через минуту, когда мы подошли друг к другу на метр, добавил: — Плотнее!

Десять дымчато-серых, что называется, с иголки истребителей «Лавочкиных», чуть не цепляясь консолями, ворвались на аэродром Штаргардта.

Мы всегда приходили так: крыло в крыло, бредущим.

В этом не было ни тактической, ни технической, ни какой-либо еще необходимости. Если хотите, подобный приход на чужое летное поле носил даже весьма определенный оттенок недисциплинированности, но безаварийной группе майора Гордеева эта небольшая вольность прощалась.

Мы знали это и гордились.

Парадный приход был визитной карточкой эскадрильи, свидетельством нашей дружбы, нашей преданности друг другу, нашего восхищения командиром, нашего молодого задора и еще многого, чего не выразишь словами.

Итак, мы ворвались на аэродром Штаргардта, с бреющего полета завернули лихо крючок (иными словами, выполнили боевой разворот) и приземлились с одного круга.

На земле нас встретили летчики гвардейского корпуса Героя Советского Союза генерала Осипенко. Встретили ликованием.

Еще бы! Мы пригнали им прямо с завода такие машины — последней серии, самые новейшие!

Командир корпуса даже умилится:

— Ну, бродяги, спасибо! За такую технику не знаю, как вас и благодарить.

Генерал не знал, но мы знали.

В каких-нибудь шестидесяти километрах от Штаргардта лежал Берлин. Впрочем, тогда Берлин чаще называли логовом фашистского зверя, а не Берлином. Логово было рядом, в воздухе уже ощутительно пахло победой, и мы сказали командиру корпуса:

— Если вы хотите на самом деле отблагодарить нас, разрешите сделать один вылет на Берлин. А больше нам ничего не надо. Один вылет.

— Нет, бродяги, все, что угодно, только не Берлин. Мои летчики заждались новой материальной части. Они разорвут меня на куски, если я пушу на Берлин вас, а не их. Это же Берлин!..

За нами ухаживали весь остаток дня. Нас кормили изысканным обедом. Нас поили вкуснейшим яблочным компотом (и кое-чем еще тоже поили). Нам все улыбались. Но... на Берлин не пустили. Пожались.

Это было двадцать девятого апреля 1945 года.

А на другое утро, чуть свет, мы погрузили парашюты в ЛИ-2, взлетели и взяли курс на Москву.

Ничего не поделаешь, под конец войны нас назначили перегонщиками. Фронт требовал новой техники. А где-то на востоке, на заводском аэродроме, перегонщиков ожидали новые «Лавочкины» и штабные штурманы готовили для нас новые маршруты.

Каждому свое — одним Берлин, другим перегонка. Обидно, конечно. Но жизнью управляют не только желания, чувства, порывы души... Есть еще — необходимость. Штука эта и вообще жесткая, а в условиях военных вовсе непреодолимая.

Улетая из Германии, мы наломали по здоровенной охапке только что зазеленевшего жасмина. Наломали просто так. Даже не на память, а потому, наверное, что жасмин показался нам веселым, нежным и очень-очень мирным...

К вечеру ЛИ-2 доставил нас на один из подмосковных аэродромов. В город мы поехали на электричке.

В нашем вагоне оказалась группа каких-то неугомонно веселых, шумных людей. Они развлекались сами и, как могли, веселили окружающих. Люди, как говорится, от души валяли дурака. В общем-то они нам понравились. И мимолетное вагонное знакомство завязалось без труда. На ближних подступах к столице выяснилось — наши попугайчики артисты и возвращаются они с шефского концерта.

Когда мы уже выходили на московскую платформу, кто-то из представителей мира искусства не без ехидства спросил: — Ребята, а что это у вас за венки?

Почему-то Володька Жариков всерьез обиделся за наш измочаленный жасмин (восемь часов в ЛИ-2 хоть кого измочалят!) и ответил патетическим голосом провинциального трагика:

— Это не венки, товарищи! Это цветы победы. Эт-т-то жасмин Берлина!

Бог мой, что тут произошло!

Незнакомые люди накинулись на нас, рвали ветки из рук, и через минуту, не больше, буквально весь перрон повторял:

— Цветы из Берлина! Победа! Победа! Победа!

И незнакомые девушки целовали нас в губы. И все так кричали и так радовались, как будто мы привезли в столицу не зеленые, едва распутившиеся ветки, а безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.

Победа была действительно близка. Это чувствовали все, и мы оказались невольными предвестниками самого великого, самого долгожданного события.

Никогда раньше и никогда позже не чувствовал я себя таким счастливым, как в эти минуты на платформе московского вокзала. Мне хотелось отдать людям все цветы Германии. Все лучшее, что у меня когда-нибудь было, есть и еще будет.

Все — людям. Ведь только в этом настоящее счастье.

**О полете, наглядно
подтверждающем — век живи, век
учись...**

Вскоре после этого памятного полета война окончилась. Авиация осталась. Ну и я как был военным летчиком, так и продолжал служить в Военно-Воздушных Силах.

Впрочем, новые времена предъявляли нам новые требования: надо было изучать, осмысливать опыт военных лет и... идти дальше. «Идти дальше» следует понимать так: совершенствовать профессиональное мастерство, овладеть новой техникой, привыкать к новым скоростям и новым высотам —

одним словом, учиться. Как ни прозаично это звучит: летать — на самом деле значит учиться. Снова и снова.

Не стану утверждать, будто ремеслом летчика я овладел без огорчений, переживаний и неудач. Было все: и огорчения, и переживания, и досадные неудачи. Но в одном мне везло долго и неизменно: пролетав уже не год и даже не пять лет, я ни разу не терял ориентировки.

Мне случалось приходить домой на последних каплях горючего, случалось продираться к назначенной цели сквозь пургу, обвальный ливень, коварнейший слепой туман, и всегда вместе со мной летела удача. В расчетное время или чуть позже перед носом моей машины неизменно показывалась посадочная полоса, приветливое «Т», черно-белый колдун-ветроуказатель, и через пять минут очередной маршрутный полет благополучно завершался...

Так бывало уже столько раз, что я твердо уверовал в свои выдающиеся навигационные способности и на летчиков, нет-нет да и терявших ориентировку в полете, посматривал с сожалением. «Эх, бедолаги, не дал вам бог таланта, обошла вас матушка природа, не наградила штурманским чутьем».

Разумеется, столь нескромные мысли я никому и никогда вслух не высказывал, но при себе носил. Хорошо это или плохо, как говорится, другой вопрос, но что было, то было.

И вот старший штурман соединения сказал мне:

— Летим по контрольному маршруту. Пилотирую я, а вести детальную ориентировку будешь ты. Ясно?

Подобную проверку мне приходилось проходить уже не раз, поэтому я бодро козырнул старшему штурману, гаркнул: «Есть!» — и без лишних слов забрался в заднюю кабину видавшего виды связного ПО-2.

Штурман взлетел, набрал сто метров высоты и со скоростью сто двадцать километров в час устремился на юг.

Сначала под крылом исчезло шоссе, потом — железнодорожное полотно, потом покати́лся назад лес.

Я сделал необходимые пометки на карте, прикинул в уме: минута полета — два километра пути. И стал смотреть на землю.

Слева появилась деревушка Щеглы. Значит, справа будет Шипино, а впереди должно открыться озеро Гусиное.

Гусиное, Гусиное, Гусиное — оно покажется через шесть минут.

Шесть минут в полете — время не такое уж маленькое. Шесть минут делать мне совершенно нечего. Можно развалиться на сиденье и любоваться голубым небом, наблюдать за случайными птицами или разглядывать тропинки, причудливо петляющие в лесу и, разумеется, ни на какие карты не нанесенные.

Ровно через шесть минут я увидел озеро.

Огромная сияющая чаша отражала нежную голубизну неба и снеговую чистоту облаков. С запада на восток по воде протянулась солнечная дорожка. Дорожка искрилась и дрожала.

Старший штурман снизился до высоты бреющего полета и над центром озера энергично развернулся вправо. Наш маршрут потянулся теперь почти строго на запад.

Солнце слепило глаза. Мы летели очень низко, пересекая редкие проселочные дороги, проскакивая над крошечными деревушками. Поле зрения резко сузилось, и, по здравому смыслу, мне надо было сосредоточиться. Скорость и высота всегда связаны между собой прочной зависимостью. На высоте в тысячу метров и пятьсот километров в час не ощущаются, а стоит опуститься метров до пятидесяти, и стокилометровая скорость воспринимается как весьма существенная.

Где-то на двадцать восьмой минуте полета я залюбовался старинной церковью. Темное здание было окружено зеленым ельником, свежевыволооченный купол горел, словно маленькое солнце. И еще я успел разглядеть совсем белую дорогу, тянущуюся от церкви к реке.

Церковь, лес, дорога и река смотрелись великолепной картиной — сочной, полной света и теней.

Заглянув в карту, сверившись с часами, я определил, что через три минуты следует ждать Выхово — маленькую деревеньку, расположенную на пересечении двух больших дорог.

Однако, когда три минуты прошли, Выхово почему-то не показалось. Я подождал еще минуту: нет, Выхово не открылось.

«Ну и черт с ним, — подумал я, — впереди железка. Через семь-восемь минут выйдем на железку, и тогда я без труда уточню маршрут».

Такое решение я принял довольно бодро, но краски все же поблекли, а тени, напротив, сгустились.

Через семь минут вместо ожидаемой железки показалась река.

«Если б высота была ну хоть двести метров, — подумал я, — а то ползет по самой земле, ничего толком не разглядеть». Но штурман имел, видимо, иные соображения. Не прибавив ни метра высоты, он развернулся на 65 градусов вправо и сказал:

— Бери управление, высота пятьдесят, топай домой. Легко ему говорить: «Топай». А куда топать?

Проще всего было признаться, что дороги домой я не знаю. Но делать этого не хотелось. Все мое существо протестовало против такой нелепости.

«Спокойно, подумай, — приказал я себе, — прикинь общее направление».

После недолгого колебания я взял курс 75 градусов и честно на высоте пятидесяти метров полетел вперед.

Старший штурман возвышался над передней кабиной, как монумент. Он ни разу не обернулся ко мне, не сказал ни единого слова.

Через пять минут мы пересекли шоссе. Какое? Нет, шоссе я не успел опознать: или это, или то...

Еще через восемь минут мы вышли на железку. Какую? Этого я тоже точно не знал: на одну из трех...

Старший штурман не шевелился. Почему-то он не спешил объявлять о моем позоре.

На душе скребли кошки. Признаться, что я потерял ориентировку и лечу наобум? Нет. Горючего еще много, и распираться в своей навигационной несостоятельности я успею. Незаметно увеличить высоту полета? Ах, если б можно было поднабрать высотенку! Я бы сразу прозрел. Но что скажет штурман? И так плохо, и так нехорошо...

Как легко говорить: «Признание ошибки — не вина!» И как тяжело признаваться...

Еще через шесть минут я увидел аэродром. Бетонированная полоса, ангар, самолетные стоянки. Совершеннейшая чертовщина — это был, безусловно, аэродром, но чей?

И вдруг я заметил: на краю рулежной дорожки стоят три ярко-красных ЯКа. Парадное пилотажное звено. Но такое звено было только в нашем полку, только на нашем летном поле. Уж это я знал совершенно точно.

Никогда еще я не чувствовал себя таким идиотом. Даже ладони прилипли к кожаным перчаткам. Передо мной был наш аэродром! Но как меня вынесло домой? А вдруг я оши-

баюсь? Когда летчик теряет ориентировку, земля соскакивает с оси: где север, где юг, где право, где лево — ничего понять невозможно. Раньше я об этом только слышал, теперь испытал на собственной шкуре. Отвратительное это ощущение. Хуже трудно, наверное, и выдумать. Надо было решаться. Решаться сейчас, сию секунду.

Старший штурман не подавал никаких признаков жизни.

Я развернулся, сбавил обороты и стал планировать на посадку.

Мы сели.

И только после того, как машина остановилась, штурман обернулся ко мне и сказал:

— Нормально. Вышел точно — без змеек и всяких там штучек. Ставлю «отлично».

Я пожал плечами и посмотрел на консоль. Это могло означать все что угодно. Разумеется, «все что угодно» для штурмана. Ну, а сам-то я знал истинную цену полета. Хорошо знал. Запомнил навсегда.

Как часто желаем мы друг другу удачи, желаем искренне, от всей души! И в этом, конечно, нет ничего дурного. Под золотым флагом удачи живет легко и весело. И пусть всем моим товарищам всегда и во всем сопутствует удача, но глуп тот, кто спутает удачу с умением, и еще глупее, кто запланирует удачу наперед...

Об очаровании и коварстве ночи,
а также о дорогой цене вранья

Врать плохо и безнравственно — эту азбучную истину мне начали внушать еще в пеленках. И повторяли ее так усердно, убежденно и часто, что в конце концов я признал, не сопротивляясь: вран есть существо низменное, презренное, гнусное и какое хотите еще отвратительное.

Но, как известно, подлинный критерий истины — опыт. Признать что-либо — одно, а узнать — совсем другое дело. Так вот, опыт пришел ко мне с большим запозданием и достался дорогой ценой.

Мягко покачивались сосны. Прохладный ветерок пробегал упругими волнами по высокой, утратившей блеск траве. На за-

падной стороне горизонта растворялись последние розоватые облака. Аэродром был окутан нежнейшей вечерней идиллией, как в цветном кино.

Истребители стояли под чехлами. К полетам готовили три стареньких связных ПО-2.

Впервые после войны в полку должны были проводиться ночные полеты.

А незадолго перед этим произошло вот что: летчики стояли в строю. Заместитель командира полка сказал:

— Товарищи, перед нами поставлена задача в кратчайший срок овладеть ночными полетами. Задача сложная и весьма, как вы сами понимаете, ответственная. Учитывая, что тренировочных самолетов у нас мало, принимая во внимание, что ночи сейчас короткие, командир полка решил разделить весь летный состав на две группы. И в первую включить тех летчиков, которые раньше уже летали ночью, хотя бы немного...

Заместитель командира полка еще продолжал свою речь, развивая и уточняя решение командира, а у меня все мысли соскочили с тормозов.

«Ночью я не летал... Но... начинать будут на ПО-2... На ПО-2 я съел по крайней мере десять собак... В первую группу попадут самые сильные летчики... Они быстро оторвутся ото всех... Потом с ними будут носиться...»

Видно, я все-таки не до конца излечился от давней своей болезни, болезни мальчишеских лет, — мне снова хотелось прославиться, хотелось отличиться, любой ценой показать себя (помните «Психа»? Так вот, «Псих» еще жил во мне).

И когда майор скомандовал: «Летавших ночью прошу выйти из строя», — я шагнул вперед. Это было плохо, это было безнравственно, но... было.

Мягко покачиваются верхушки сосен, прохладный ветерок гуляет по траве, медленно растворяются последние облачка на западе, и мы, первая группа ночников, ждем начала тренировочных полетов.

Полет ночью требует особой подготовки — и теоретической, и практической, и моральной. Дело в том, что ночью не просто «хуже видно»; в темную ночь, когда глаз не в состоянии уцепиться за неуловимую линию горизонта, чувства обманывают человека: то вам кажется, что машину кренит, то возникает иллюзия снижения, а то и вовсе пропадает представление о том, где верх, а где низ... Для того чтобы сохранить заданное

положение в пространстве, надо безоговорочно, свято верить и подчиняться показаниям приборов. Другого способа летать ночью нет. Понять справедливость столь категорического требования куда проще, чем привыкнуть ему подчиняться. Но иначе нельзя.

Все это я знал совершенно твердо. И надеялся, тоже совершенно твердо, — справлюсь! Тем более что первых два-три полета мне предстояло выполнить с проверяющим, опытным летчиком-ночником.

Еще не стемнело, когда инженер эскадрильи доложил руководителю предстоящих ночных полетов:

— Два самолета к ночным полетам готовы полностью. Третий следовало бы предварительно облетать. На машине днем производили регламентные работы и только-только успели закончить.

— Схватились! — сказал майор. — Вы бы еще до двадцати четырех ноль-ноль ковырялись! — Майор недовольно поглядел на часы, на небо и снова на часы.

Потом он поманил меня и приказал:

— Облетай единичку. Только быстро. Пятнадцать минут со всеми сборами. — Он снова взглянул на часы. — Как раз успеешь. Взлет со стоянки, посадка на полосу. Давай!

Через пять минут я был на высоте сто метров. Развернулся и пошел по большому кругу.

Мотор гудел ровно. Синеватая вечерняя земля лежала под плоскостью. Местами зажглись первые огоньки — желтые, тусклые. Небо было совсем-совсем светлым. Я замкнул круг над летным полем и, убавив обороты двигателя, начал снижение. Посадочная полоса — серая линейка бетона — просматривалась хорошо, я без труда различил клетчатый СКП — стартовый командный пункт — и не очень удивился взлетевшей с земли красной ракете. Ракета запрещала посадку. Приглядевшись, понял почему: на полосе копошились люди. Стартовый наряд раскладывал ночные посадочные знаки. Солдат не успели предупредить, и они вовремя не ушли.

Мне пришлось прибавить обороты и начать второй круг.

Тем временем в мире что-то случилось. Горизонт на западе еще розовел, но на юге он сделался дымно-бурым. Огоньки на земле, только что горевшие желтоватым тусклым светом, засверкали ярче и оделись золотистым ореолом. Светлое небо над головой стало сиреневым...

Посмотрел на часы: шла восемнадцатая минута полета.

Когда я замыкал второй круг, от СКП снова взлетела красная ракета. На этот раз мне не сразу удалось сообразить, в чем дело. Но я все-таки понял: по бетонированной полосе мчалась машина. Кажется, бензозаправщик. Я улыбнулся, представив себе, какой разгон шоферу устроит сейчас заместитель командира полка...

Кажется, это была моя последняя улыбка в тот день, точнее, в ту ночь.

Небо над головой стало темно-темно-фиолетовым. Звезд делалось все больше. Привычная дневная земля окончательно исчезла. Вместо бархатистых пятен леса, вместо полевых простынь, вместо светлых строчек дорог под крылом расстилалась теперь грязная чернота, сиявшая не то своими собственными беспорядочными огоньками, не то отражением звезд.

Начиналась настоящая ночь. Пришлось включить бортовые навигационные огни. Пришлось ввести реостаты УФО — ультрафиолетового освещения кабины.

«Ну вот, ты и получил ночной полет. — Это была одна мысль. Другая оказалась куда короче: — Доигрался! — Третья и вовсе не обрадовала: — А как садиться?»

Было темно, чертовски темно.

Покрываясь холодной испариной, я гонял приборные стрелки. Без привычки это трудная работа.

Главное — сохранить высоту! Скорость сохранить — тоже главное! И еще — крены! Ни в коем случае нельзя допускать крены больше двадцати градусов...

Я замкнул третий круг.

Шла двадцать четвертая минута полета. Полосы не было видно. Просматривался только красный световой пунктир ночного старта и белое электрическое «Т» — место приземления.

— Так, — сказал я сам себе, — тебя сносит влево, на знаки. Прикройся правым кренчиком. — Я дал крен вправо, и снос действительно прекратился. — Хорошо. Теперь включи фару. — Я с трудом нашарил соответствующий тумблер и включил фару. — Кажется, все идет нормально.

Но тут земля зажгла посадочные прожекторы, и я понял: расчет ни к черту! Иду с перелетом метров в пятьсот... Это было неприятное открытие.

Пришлось, теперь уже по собственной вине, выполнять новый заход.

Бархатно-черная ночь, столь благосклонная ко всем на свете поэтам, не щадила меня. Заход, еще заход, еще...

В конце концов я все-таки приземлился. Приземлился благополучно, сразу же вписав в летную книжку один час двадцать три минуты ночного налета. Правда, при этом я испытывал такое чувство, будто провел в этом полете не полтора неполных часа, а добрых полжизни. Но это было еще не худшее.

Вымочаленный и жалкий предстал я перед руководителем полетов.

Майор снисходительно посмотрел на меня, усмехнулся и спросил:

— Ну, как настроение, ночник?

— Ничего, — ответил я.

— Еще полетишь?

— Полечу.

— А ты, оказывается, ко всему и упрям как осел. Ступай-ка поспи.

Возразить было нечего. Благодарности я не ждал, похвалы тоже не ждал, впрочем, и насмешливого звания «ночник» не предвидел.

Увы, прилипчивые клички существуют не только в школьных стенах. Во взрослой жизни — тоже.

Летать ночью я все-таки выучился и не только на ПО-2, но и на истребителе МИГе.

А несколько лет спустя, перелистывая Княжнина, я натолкнулся на такие слова: «Упрямство — вывеска дураков»...

Как ни грустно признаваться, но в этот день я снова вспомнил бархатно-черную ночь, красный пунктир посадочных огней, электрическое «Т» и свое крещение в ночном небе...

О знакомстве с огнем, действиями в воздухе и мыслями на земле

В каждом деле, в каждой работе есть свои традиции; не обязательно эти традиции хороши, но прочны и устойчивы непременно и передаются, как правило, из поколения в поколение.

Так, рассказывая о делах авиационных, давно уже стало чуть ли не законом сообщать о вынужденных посадках, отказах

материальной части, пожарах, покидании самолета с парашютом... И хотя на десять тысяч, так сказать, нормальных полетов едва ли приходится больше одного ненормального, все равно — раз ты летчик, поведай о чем-нибудь таком...

Думаю, традиция эта имеет долгую историю. Скорее всего начало ее следует искать у истоков самой авиации, когда каждый полет был подвигом и никто не мог точно знать, чем закончится очередная попытка оторваться от земли...

С тех давних времен многое, а точнее, почти все в авиации переменялось, но традиция еще жива.

А раз так, я не хочу нарушать обычай.

На высоте в три с половиной тысячи метров машину трянуло, одновременно раздался какой-то скрежещущий металлический звук, в козырек фонаря что-то ударило, из двигателя повалил черный дым.

Первым делом я испугался. Точно так же, как, бывает, пугаешься от неожиданного звонка в дверь, или громкого оклика, или случайного выстрела. Сработала защитная реакция на внешний раздражитель: ой, и голова втянулась в плечи...

Мгновенно сознание отметило: хорошо — руки в перчатках. (Очень давно, еще в училище, командир отряда капитан Бреднев говорил нам, желторотым курсантам: «Никогда не летайте без перчаток. Случится пожар, тогда узнаете», — и показывал свои могучие руки, руки грузчика и плотогона, изуродованные страшными малиново-фиолетовыми рубцами.)

И еще один скачок сознания: шарик аварийного сброса фонаря на месте? На месте! И парашютное кольцо? Кольцо тоже на месте.

Красный язык пламени, густой, толстый, расчерченный космами жирного дыма, стегнул по лобовому стеклу.

«Горю», — мысль эта была короткой и решительной, словно точка, поставленная в конце запутанной фразы.

«При пожаре в воздухе следует сбавить обороты мотора, перекрыть доступ топлива к двигателю, выключить зажигание...»

Параграф инструкции пропечатался в мозгу, как срочное сообщение на телеграфной ленте. И сразу же левая рука обнаружила — сектор газа затянут на себя до отказа, пожарный кран перекрыт, а глаза отметили — зажигание выключено.

Все, что следовало сделать, было сделано раньше, чем я успел подумать. Значит, я неплохой автомат. Честное слово, совсем не плохой! Заложённая в мозг «программа» (на теоретических занятиях, бесчисленных наземных тренировках, в часы раздумий) сработала безошибочно, обогнав и чувства и все попутные эмоции.

Как ни противно гореть в воздухе, но от этого мне стало даже весело.

Поглядел на приборы: скорость была нормальная, высота — три тысячи триста.

Поглядел на землю: серый бетонированный крест аэродрома лежал слева.

Дотяну или не дотяну? Кто его знает. Сказать с уверенностью «да» не могу; сказать с уверенностью «нет» тоже не могу. Прыгать в любом случае рано. Надо попробовать сбить пламя.

Закладываю левый крен, нажимаю на правую педаль — машина скользит. Косой поток встречного воздуха тянет огонь в сторону. Сорвет или не сорвет?

Смотрю на высотомер. В скольжении высота теряется быстрее. Это плохо, это очень плохо. Так можно и не дотянуть до дому. А если уменьшить скорость? Немного, пожалуй, можно. Но теперь берегись! Машина на пределе, стоит зевнуть — и штопорнешь. Внимательней, внимательней, главное — внимательней.

Очень медленно огонь убывает. То ли скольжение помогло, то ли просто в двигателе выгорело все, что могло гореть, этого я пока не могу сказать.

Сейчас надо решить единственное уравнение: если я буду сохранять данную скорость, данный угол снижения, попаду на аэродром или не попаду? Высоты остается все меньше и меньше. Я должен знать совершенно точно: да или нет?

Глаза видят землю. Глаза как бы фотографируют глиссаду снижения. Мозг сравнивает фактическую картину с эталоном. Эталон тоже заложен в память, заложен опытом, тысячами выполненных прежде посадок.

Высота — восемьсот метров.

Да. Попадаю. Правда, не на бетонированную взлетно-посадочную полосу, а на зеленый травянистый грунт. Но это не страшно. Летное поле хорошее, и сесть на грунт можно ничуть не хуже, чем на бетон.

Из верхней части капота тянет еще черный дым.
Земля приближается.

Надо решать новые задачи. Как садиться? Выпускаю шасси или на живот? Выпуск шасси немедленно увеличит лобовое сопротивление машины, дистанция планирования станет короче. И тогда можно не дотянуть до летного поля... Садиться на живот жалко. Приземление на шасси будет означать вынужденную посадку по причине пожара в воздухе, а приземление на живот гарантирует аварию. Делать аварию не хочется...

Надо учесть ветер. Против ветра садиться и привычнее и легче, но встречный ветер тоже сокращает дальность планирования...

Надо решить — открывать фонарь или не открывать? Откроешь — может потянуть огнем в кабину, не откроешь — а кто его знает, вдруг заклинит при неудачном приземлении!..

Земля приближается.

Сажусь по ветру. Сажусь с закрытым фонарем кабины. Это уже решено.

Приготовился выпустить шасси на высоте сто пятьдесят — сто метров, когда буду совершенно точно видеть — попадаю на летное поле с «запасом»...

По кабине пролетает муха. Тыкается в лобовое стекло и отскакивает на прицел.

— Здрасьте, — говорю я мухе, — тебя не хватало. — И почему-то думаю: «Ей хорошо. Вынужденная посадка или нормальная — какая разница? С нее ничего не спросят, и ей ничего не будет».

И тут же забываю о мухе. В поле зрения белый угольник, нарисованный на буро-зеленом поле известью. Это край аэродрома. Нос машины смотрит чуточку дальше. Все в порядке. Значит, я попадаю домой. Можно выпускать шасси. Перевожу соответствующий кран в соответствующее положение. Прислушиваюсь. Бах-бах — ноги встали на замки. Сигнальные лампочки загорелись, механические указатели на плоскостях выскочили. Хорошо.

Теперь остается одна забота — только б не полыхнуло перед самой посадкой. Только б огнем не закрыло землю. Предотвратить эту неприятность я не могу, изменить что-либо

тоже не могу. Все, что мог, я уже сделал, но впереди самое главное — приземление.

Вот она, теория относительности, на практике, — последние пять или, может быть, десять секунд кажутся нескончаемо длинными и такими мучительными, как долгая-предолгая болезнь.

Выравниваю машину. Командую сам себе: «Пониже», — и чуточку отпускаю ручку. «Теперь хорошо. Теперь то, что надо», — это тоже я сам себе рассказываю и тихонечко увеличиваю усилие, направленное к себе. «Еще, еще, хорошо. Сидишь». И тут же чувствую — колеса коснулись земли.

Грохоча и подскакивая на колдобинах, самолет теряет скорость.

Выдерживая направление пробега, я в то же время расстегиваю привязные ремни, расстегиваю подвесную систему парашюта, разъединяю колодочку шлемофонного шнура. Все время помню об огне, притаившемся где-то под капотом. Может еще полыхнуть, и тогда надо будет выскакать, чем быстрее, тем лучше...

Машина останавливается. Край аэродрома, болотистая лужа слева. Тишина. Потрясающая тишина, охватившая весь мир.

Открываю подвижной фонарь кабины. И тут же над мотором взвивается огненный выброс.

Как хорошо, что я сел по ветру, а не против ветра! Молодец! Огонь гонит не на фюзеляж, а от фюзеляжа.

Выпрыгиваю. Черпаю шлемофоном болотную жижу и, вскакивая на плоскость, выворачиваю шлемофон в пробитый капот. Раз, два, десять раз...

Подъезжает пожарная машина.

Но огонь уже убится. Машина цела.

Установить причину пожара оказалось несложно: в полете сорвало головку первого цилиндра. Редчайший и неприятнейший дефект.

Я сижу на траве, жуя кислый стебелек.

Синее небо — хорошо!

Солнце рыжее — хорошо!

Поле зеленое-презеленое — тоже хорошо!

И вообще очень хорошо жить, когда ты понимаешь, что сделал свое дело так, как следовало его сделать.

Об уцененной книге, незнакомом товарище и мыслях о бессмертии

Ни числа, ни месяца, ни даже года этого события я не запомнил. Просто сел однажды бриться и обнаружил: а виски-то седые. Потрогал волосы пальцем: нет, седина не стряхивается. Значит, настоящая.

Ну что ж, видно, пришло время сесть. Ничего не поделаешь, времени не прикажешь — подожди! Жизнь на задний ход не переключается...

И невольно я стал думать: «Пожил ты, полетал, повидал всякого, а что увидел, чему научился, что понял?» Двумя словами на такой вопрос не ответишь. И все-таки.

Жить надо смело, щедро, наступательно. Это я понял.

Жить надо с людьми и для людей, в деле, в трудностях, в постоянном движении. Это я тоже понял.

Жить надо правдиво, на полных оборотах, и пусть — ветер в лицо, дождь, снегопад с метелью, ураган — все равно не закрывай глаз.

Всегда я жил так? К сожалению, не всегда. Но жить надо так и только так.

Вот о чем я думал, обнаружив седину на висках.

Ну, а потом побрился, оделся и ушел по делам в город. Кажется, на Арбате, когда я уже возвращался домой, на прилавке с устрашающей надписью «Уцененные книги» в ворохе самых разношерстных изданий увидел зеленоватую обложку с изображением трех летчиков. Один разводил костер, двое других рассматривали заправленную в штурманский планшет карту. На заднем плане виднелись уютные, заснеженные сопки.

«Что бы это могло значить?» — подумал я и взял книжку в руки.

Пробегаю глазами по строчкам, зацепился за абзац:

«В тайге таял снег, вскрывались реки. Летчик К. вынужденно покинул в воздухе одноместный самолет над тайгой, вдали от населенных пунктов и своей базы».

Тайга — бескрайнее зеленое море непроходимого леса. Нехоженые звериные тропы. Заброшенные займки. Ни человеческого голоса, ни автомобильного сигнала, тысячи километров тишины...

Это я знаю, это мне случалось видеть. Но интересно, что же случилось дальше?

«Приземление с парашютом было неудачным. Снижаясь на высокие деревья с одной разутой ногой (при прыжке один сапог был утерян), летчик получил перелом ноги».

Ах, черт — «сапог был утерян»! Видно, второпях ему пришлось прыгать. А может, и не в кабине остался сапог? Может, слетел при динамическом ударе, когда раскрылся парашют? Впрочем, что сапог — нога сломана. Это пострашнее. В непроходимом лесу, да на одной ноге далеко не уйдешь...

«Неуправляемый самолет упал поблизости, при ударе о землю взорвался и полностью сгорел. Бортовой запас продовольствия, сигнальные средства, аптечка и другие предметы аварийного имущества сгорели. При летчике остались пистолет, 16 патронов, перочинный нож, ручные часы, парашют и зимнее обмундирование... Летчик в первую очередь сделал при помощи бинтов из парашюта и строп перевязку сломанной ноги, придал ей неподвижное положение и из подручных средств изготовил костыль...»

Вероятно, книжку уценили по заслугам — уж очень казенно, без души она написана. Но бог с ней, с книжкой, что стало с человеком? Я не знаю, кто скрывается за буквой К., не могу представить, стар он или молод, опытен или зелен, хороший пилотяга или заблудившийся в небе неудачник. Впрочем, сейчас все это не имеет значения: он — летчик! Значит, он — мой товарищ, такой же, как мои самые близкие, самые верные, самые лучшие друзья.

Тороплюсь по строчкам: что дальше?

«К. принял совершенно правильное в данных условиях решение: во что бы то ни стало выходить в район, где есть люди, но выполнить этого не смог из-за сильной боли в ноге. Ночь он провел под большим деревом. Земля, недавно освободившаяся от снега, была холодной и сырой. Закутавшись в парашют, К. пытался заснуть, но не смог — сильно болела нога. Ночью сделал два выстрела по зверям, которых в темноте не видел, но слышал их приближение».

Мне представляется холодная, жесткая земля. Я слышу шелковый шелест парашютного купола. Чувствую, как ломит тело, как ноет нога. Ужасно ноет — пронзительно, безостановочно, весь свет превратился в сплошную циклопическую боль.

И одиночество... Ты — затерявшаяся на глобусе соринка, даже след соринки. Конечно, тебя должны и непременно будут искать... Но найдут ли? След соринки, а кругом лес, лес, лес... У тебя ни ракетницы, ни спичек, ни сигнального зеркала. Тяжко.

«С рассветом К. перевязал сильно распухшую за ночь ногу; снегом, сохранившимся под деревьями, утолил жажду и отправился в путь. Первый день оказался исключительно тяжелым. Двигаться с костылем среди густых зарослей тайги было очень трудно... К исходу дня К. достиг небольшой реки и принял решение двигаться вдоль нее. До наступления темноты он шел по льду реки вниз по течению. Идти по льду было значительно легче, чем по тайге, однако за день К. прошел не более 4—5 км».

Мне кажется, я понимаю значение слова «трудно». Не в оранжерее вырос. Знаю, как деревенеют мышцы от непосильной, без отдыха работы; знаю, как взбесившееся вдруг сердце до боли стучит в ребра; знаю, как отказывают ноги, не образно говоря, а буквально — подкашиваются, словно убирающееся шасси... Но пять километров, пройденных за день... Нет, это не укладывается в сознании... И что ж он ел?

«Кроме снега, в течение дня К. ничего не ел. Ночевал на берегу реки, закутавшись в парашют. С рассветом снова продолжал путь по льду. Ел кору молодых деревьев, а отдыхая под березой, проделал в ее стволе перочинным ножом отверстие и добыл немного соку. К концу дня нашел кедровую шишку, в которой оказалось 10—12 орешков. За день прошел до 8—10 км. Во второй половине следующего дня поверх льда начала появляться вода. Пригревало солнце, воды становилось все больше, пришлось выходить на берег, где идти стало значительно труднее. Выстрелом из пистолета убил небольшую птицу, съел сырую, оципав перья».

Герои Джека Лондона живут в сознании миллионов людей. Они стали символами мужества, сверхчеловеческой воли. Мальчишеским восторгом они возведены в ранг полубогов. Алексея Мересьева справедливо знают все, весь мир, а летчика К. не знает никто... Подозреваю, что в уцененную книжку он попал из скучнейшего документа — аварийного акта...

Впрочем, наплевать на бессмертие! Мы живем не ради славы (приласкает — хорошо, обойдет — тоже не страшно), мы живем ради дела, которому служим...

«В последующие два дня К. ничего не ел, кроме березовой коры, в результате сильно ослаб. Накануне он оставил на берегу парашют и часть одежды, но, несмотря на это, передвигался с трудом. Перед заходом солнца увидел в стороне на высоте 1000 м самолет, но никаких сигналов подать ему не мог».

Воображаю, каково ему было в тот момент. Самолет — это люди, это его друзья, это еда, это помощь, это в конце концов жизнь. И он, летчик, знал, как ведется поиск над тайгой: все зеленое безмолвие рассекается на квадраты, разведчики прочесывают сначала один квадрат, потом другой, потом пятый... Значит... значит, к нему могут и не скоро вернуться.

Говорят: «Сердце сердцу весть подает». Глупая романтика. Ему бы ракетницу в руку, тогда б другое дело! А так — самолет улетел, он — остался. Остался один на один со своей болью, со своими мыслями, со своим мужеством. Конечно, мужество — великая сила, но ведь и оно исчерпывается.

«В середине следующего дня у реки он увидел заимку, где нашел несколько пустых железных банок и горсть кедровых орехов. Остаток дня и ночь провел в заимке».

С утра до половины дня продолжал движение вдоль реки, остаток дня лежал на берегу, так как из-за сильной усталости дальше идти не мог. Река вскрылась, стала широкой и полноводной...»

Читать дальше я не могу. К черту обстоятельность летописца и его подчеркнутую беспристрастную объективность! Мы еще в школе учили — факты наши боги, но мне надо сию же минуту узнать, чем все кончилось. Перепрыгиваю через строчки: «одним утром...» — дальше! «потерял сознание...» — дальше! «это произошло на 14-е сутки...» — дальше! Вот! Наконец!

«Он прошел в тяжелых условиях 80 км, делая в сутки в среднем около 6 км, и вышел в район, где встретил людей».

Значит, жив! Я знал: он должен был остаться живым. Такие не могут умирать раньше времени. Это было бы слишком несправедливо.

Я покупаю уцененную книжку. Всего гривенник!

Несу книжку домой. Дома перечитаю еще раз. А пока стараюсь представить себе летчика К.

Он кажется мне высоким, сухим, сдержанным. У него, наверное, очень чистые, хорошо бы голубые (я люблю голубые) глаза. Он должен щуриться. А когда нервничает, над правым веком у него должна пульсировать жилка. И еще у него есть поговорка: «Ученого учить — только портить»...

Но ведь это не К., таким был Володя Матях.

Высокий, сухой, сдержанный, голубоглазый — именно таким вспоминается мне Матях. Спасая товарища, он погиб. Рухнул со своей машиной в голубоватые трехметровые снега; мы с трудом откопали его. Это было давно. В тяжелую зиму 1942 года. Мы похоронили Володю в холодной таежной земле. И с тех пор все незнакомые, все настоящие летчики кажутся мне похожими на него. А может быть, они и на самом деле похожи? Может быть, это и есть бессмертие, то самое, что во веки веков обещано всем героям, всем настоящим людям земли и неба, всем наследникам никогда не сдающихся аистов?..

О неожиданной встрече в воздухе и способности относиться к себе критически

Разве это правильно, разве это нужно — говорить молодым о смерти и о бессмертии, о горечи утрат и непроходящей сердечной тоске по ушедшим? Думаю — правильно... Люди не трава на ветру: отшумит, пожухнет и сгинет... Человек должен оставить след на земле, хотя бы самый малый след — добрую память. Время от времени об этом надо думать, обязательно надо. А каждый день, работая свою обычную работу, заботиться о главном: как сделать дело лучше, надежней, быстрее. И обязательно быть строгим к себе, чем строже, тем лучше...

Пролетав почти всю свою жизнь на самолетах-истребителях, я стал привыкать к большой двухмоторной машине. Настоящий летчик-испытатель (а я готовился стать испытателем и, конечно, хотел стать настоящим летчиком-испытателем) обязан пилотировать любой летательный аппарат тяжелее воздуха, будь то крошка спортивный самолетик или многомоторный пассажирский лайнер — все равно.

Не помышляя ни о каких сравнениях, позволю себе на-

помнить, что герой моих мальчишеских снов Валерий Павлович Чкалов с одинаковым мастерством пилотировал истребитель И-16 и тяжелый бомбардировщик ТБ-3, он был азартным воздушным бойцом, и его ж руками был поднят в небо громадина АНТ-25, сверхдальняя рекордная машина, первой перепахнувшая из Москвы в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс.

После самолетов-истребителей, после легких связных и тренировочных машин двухмоторный корабль кажется громоздким, флегматичным и до крайности неудобным. Особенно неудобным. Вероятно, это чувство усугублялось еще и тем, что я летал без экипажа — место штурмана пустовало, места стрелков радистов тоже не были заняты. В просторной, наполненной прозрачной кабиной я один.

Задание несложное. Надо набрать пять тысяч метров в районе аэродрома и выполнить несколько серий пикирований. Сначала с углами тридцать градусов, потом — пятьдесят и, наконец, семьдесят градусов. Выводя машину из режима снижения в режим горизонтального полета, я обязан получить определенные перегрузки, сначала — два, потом — три с половиной и в заключение — пять. Установленные в бомбовом отсеке приборы-самописцы в точности зафиксируют все мои действия и после обработки лент скажут: выполнено задание или не выполнено. Вот и все.

Машина набирает высоту. Над головой эмалевой голубизны небо. Под ногами земля-макет. Горизонт четок и чист, словно срезан гигантским острым ножом. Делать мне пока нечего, и я перебрасываю флажок радиоцирка из положения МН в положение ММ. Стрелочка радиокompаса безжизненно замирает, зато в наушниках шлемофона звучит теперь веселая музыка. Это радиомаяк.

Машина набирает высоту. Слева бетонированный крест аэродрома. Земля почти не двигается. Небо медленно темнеет, наполняется синевой. В наушниках шлемофона поет Утесов. И я пою вместе с ним. Правда, Утесова я слышу хорошо, а себя плохо. Мешает моторный рев. Но тут мне приходит в голову просто-таки гениальная идея: а что, если нажать на кнопку СПУ? СПУ — самолетное переговорное устройство, своего рода внутренний телефон, связывающий всех членов экипажа. Если я нажму на кнопку СПУ, мой голос через ларингофоны, через усилительное устройство, через хитрую паутину радио-

схемы будет немедленно выдан на племофонные наушники. И тогда, тогда мы с Леонидом Осиповичем Утесовым зазвучим дуэтом! Неплохо придумано? Нажимаю. И точно — мы звучим вместе, да еще как звучим!

Машина набирает высоту. Бетонированный крест аэродрома сделался много меньше. Земля потемнела. В кабине стало прохладно. Мы поем:

— Товарищ, не в силах я вахту стоять, —
Сказал кочегар кочегару...

И большой самолет перестает казаться таким уж большим. И вовсе он не флегматичный и не такой уж неудобный. Нормальная, хорошая машина. Даже очень хорошая.

Стрелка высотомера приближается к отметке пять тысяч. Подо мной пересечение шоссе и реки. Вижу мост, вижу церковь, вижу характерный треугольник леса — я в заданной зоне. Надо начинать работу.

Жаль прерывать концерт, но ничего не поделаешь.

Быстро прикрываю воздушные шторки, ставлю совки маслорадиаторов в положение «по потоку», затягиваю винты... Перебрасываю флажок на радиоцитке с отметки ММ на отметку МН (Утесов умолкает), докладываю земле:

— Высота заданная, режим заданный. Разрешите приступить к работе?

— Работайте, — говорит земля. И я начинаю первую серию пикирований.

Отличная машина! Устойчивая, послушная, очень покладистая.

За первой серией пикирований следует вторая, потом третья серия. Кажется, все в порядке.

Сбавляю обороты, проверяю температуру двигателей и спиралью теряю высоту.

И снова мне нечего делать. Щелкаю флажком радиоцитка, но музыки нет. На маяке перерыв. Вместо голоса Утесова в наушниках противный свист и завывание морзянки. Ну что ж, я ведь могу петь и сольно. Так? Так! Нажимаю на кнопку СПУ и начинаю из середины:

Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут — она зарыдает...

На этом концерт внезапно обрывается.

В наушниках племофона раздается страдальческий голос:

— Командир, ты что, всю дорогу выть будешь?

У меня сводит челюсти. Язык делается сухим и горячим. Неужели, неужели я перепутал и нажал вместо кнопки СПУ кнопку внешней связи (они стоят рядом)? Но ведь тогда мое пение огласило всю округу, все приаэродромное небо! (Мое пение! Мало мне было позора на испытании в консерватории...)

Смотрю на руку и не верю своим глазам: палец нажимает на кнопку СПУ. Но СПУ — внутреннее самолетное устройство. Внутреннее! И, не найдя никакого иного выхода из положения, я спрашиваю каким-то чужим, осевшим вдруг голосом:

— Кто это?

— Это я, Борисов.

— Борисов?

— Да.

— Где ты, Борисов?

— В эф-два... Я не успел вылезти, когда ты порулил...

Чудесно! Оказывается, радист Борисов забрался, разумеется, еще на земле в заднюю кабину (эф-два — задняя кабина стрелка-радиста) и что-то там налаживал. А я и проверил. Борисов не успел вылезти и весь полет провел на борту.

Ну, что это за машина? Какой это, извините за выражение, самолет, где можно упрятать целого человека? То ли дело истребитель — маленький, собранный, плотный, весь в кулаке...

Впрочем, может быть, тут дело не в машине? Может быть, я, извините за выражение, никакой не испытатель? Надо ж было умудриться, ничего не подозревая, уволочь в полет целого человека?..

— Борисов, а парашют-то у тебя хоть есть?

— Есть. Парашют в кабине лежал.

Машина теряет высоту.

Бетонированный крест аэродрома делается все больше и больше, на правой стороне остекления выступила испарина. Высота полторы тысячи метров.

Поразмыслить еще есть время. Я знаю Борисова. На земле он, конечно, все обернет в шутку и наверняка никому ничего не расскажет. Значит, мне не грозит ни строгий суд начальства, ни насмешливый суд товарищей...

Но как уйти от собственного суда?

От этого не уйти. Никак не уйти.

Летчик всегда первый и всегда самый строгий судья самому себе, конечно, если он настоящий летчик и если он жив...

О новом открытии, неперенном «надо» и заработанной радости

Говорят: в авиации нет мелочей. И это верно. Действительно, забытый на полу пилотской кабины ключ, даже самый небольшой гаечный ключ, может натворить ужасные беды. Стоит ключу попасть в тяги управления — и возможна катастрофа. Вполне вероятно, что незакрытая пробка топливного бака заставит вас пойти на вынужденную посадку, и рискнуть машиной, и ставить на карту жизнь пассажиров... Правильно — в авиации мелочей нет. И все-таки не все шаги в летном деле одинаковые: одни — длиннее, другие — короче, одни — обыденные, другие — ответственнее, одни забываются, другие оставляют след навсегда...

Смотрю на часы. Время — семь сорок. Значит, значит, ровно через двадцать минут мне предстоит сделать открытие. Правда, не для людей, для себя. Это я прекрасно понимаю, и все же — открытие есть открытие. На пороге такого события можно сохранять спокойное лицо, можно говорить окружающим какие-то веселые пустяки, но все это, так сказать, внешняя отдача. А внутри в тебе растет напряжение...

Представьте себе лук, натянутую тетиву, чуть трепещущие от нетерпения перышки на стреле и еще вообразите фигуру стрелка — каменеющие мышцы и глаза, устремленные в яблочко мишени. Так вот: перед решающим шагом в открытие ты и лук, и тетива, и нетерпеливые перышки стрелы, и прищуренные глаза, и каменеющие мышцы стрелка — все сразу и все вместе.

Через двадцать минут мне предстоит открыть реактивную авиацию. Конечно, для людей реактивная авиация уже существует, она открыта многолетним трудом ученых и конструкторов, многими подвигами инженеров, талантом, мужеством и кровью летчиков-испытателей. Но я еще не летал на реактивном самолете. Полечу через двадцать минут.

Полечу вот на этой серо-голубой сигаре с непривычно гладким носом (вместо воздушного винта — дырка), широко расставленными ногами шасси (кстати, ног три вместо привычных двух), с опаленным струей выходящих газов брюхом фюзеляжа...

Ровно через двадцать минут я захлопну прозрачный фонарь над головой, проверю замки, нажму большим пальцем левой руки на кнопку, включающую передатчик, и, следя за своим голосом (голос должен быть абсолютно спокойным, лучше даже — с некоторой ленцой), скажу командному пункту:

— Ракета, Ракета, я — Стрела-четырнадцать, разрешите взлет?

И Ракета ответит:

— Стрела четырнадцать, я — Ракета: вам — взлет!

Это будет через двадцать минут.

А что уже было?

Нет, перед решительным шагом, перед ответственным поступком, перед важным экзаменом люди не вспоминают прожитую жизнь, не окидывают «мгновенным взглядом» все, что было прежде. На самом деле в таких случаях нет ничего важнее контроля: еще раз осмотреть кабину, еще раз проверить положение всех тумблеров, рычагов, приборных стрелок, еще раз прорепетировать свои движения на запуске, на рулежке, при взлете... Это — на самом деле. А здесь, в повести, я могу позволить вольность и задать себе несколько «посторонних» вопросов.

Так что же было?

Были ПО-2, И-5, потом И-16 и Р-10, снова И-16, несколько модификаций «Лавочкиных» и многие ЯКи. Машины, налет, опыт — все это очень важно. И все-таки машины — не самое главное.

А что же?

Попробую ответить.

Сначала, очень давно, еще в пору мальчишеской дружбы с Жоркой, Мишей, Женей, в пору лихого похода в кафе «Мороженое», может быть, даже чуточку раньше, появилась мечта летать. Летать вообще. Если б только мог, раскинул бы руки и полетел как птица...

Мечта росла, набирала силу, привела в аэроклуб.

И тут выяснилось: до того, как полететь, надо учиться,

сдавать зачеты, проходить комиссии. Словом, сначала надо «поладить» с землей.

Учиться не хотелось. Сдавать зачеты не хотелось. Но обойти эти рубежи оказалось невозможным. На пути в небо встала неприступная крепость, она, эта крепость, называлась коротко и просто: «НАДО».

Ну что ж, стал учиться, сдавал зачеты. В конце концов полетел на ПО-2. Разумеется, с инструктором. И действительность оказалась совсем не похожей на мечту. ПО-2 мотало и подбрасывало, в открытую кабину задувало бензиновым перегаром, с третьего полета инструктор стал материться, как последний сапожник...

Очень хотелось все бросить. Не бросил. Не поверил, что мечта может обмануть человека. Сказал себе: надо привыкнуть к болтанке, надо примириться с бензиновым перегаром, надо терпеть лексикон инструктора, в конце концов он не министр двора его высочества и летать нас учит в поте лица...

«Надо» — оказалось многоступенчатым сооружением. И стоило вскарабкаться на одну ступень, как немедленно появлялась новая, более крутая и на первый взгляд всегда неприступная.

Шло время, и борьба со все новыми и новыми «надо» делалась не только азартной, упрямой, ежедневной работой, но и... радостью!

Наконец я научился держать ПО-2 в заданном режиме — сохранять определенную высоту, определенную скорость, не допускать лишних кренов. Прежде чем это случилось, пришлось изрядно помучиться, но какую же радость я получил в награду, когда понял сам и убедил инструктора: могу вести самолет в горизонтальном полете!

А потом надо было освоить развороты, планирование, расчет на посадку, приземление...

В итоге пришла самая главная радость — самостоятельный полет по кругу.

Годы и машины, тренировка и терпение сотворили чудо: я перестал летать в самолетах, я стал летать вместе с машинами. Ученик, делающий первые шаги в небе, все время преодолевает машину; настоящий летчик пилотирует, как ходит, как поднимается по лестнице, как сбегает с горы, — автоматически, нимало не заботясь о том, куда переносить ногу и как отклонять центр тяжести...

А потом пришла еще одна очень важная неожиданность: рассматривая как-то поляру (это такой график) самолета, на котором я не летал, а только собирался летать, подумал: с этой машиной ухо надо держать востро. Нехороший на полярном переломе. Машина должна резко сваливаться в штопор, ей противопоказано высокое выравнивание на посадке. И вообще критические углы атаки на этом звере — опасные углы.

Первые же полеты полностью подтвердили мои предположения. И тогда я понял, — нет, не понял, а осознал, и не только осознал, но еще и почувствовал, — все, что принято называть теорией, должно не только приносить положительные оценки на бесконечных зачетах, но и по-настоящему служить делу.

Конечно, эту нехитрую идею вколачивали в мою мальчишескую голову еще родители и учителя десятилетки, а позже преподаватели аэроклуба и летной школы. Разумеется, я не говорил своим наставникам: «Нет. Не верю», — но и никогда не принимал их слова особенно близко к сердцу.

А вот случилось сравнить капризную полярку, вычерченную на бумаге, с поведением живого самолета в живом небе, и в жизни появилось новое очень убедительное «НАДО».

Чтобы хорошо летать, чтобы летать долго, чтобы летать надежно, надо научиться понимать существо явлений, с которыми тебя сталкивают земля и небо...

И тогда мне стало интересно грызть ненавистную прежде теорию. Это на первых порах. А позже появилась совершенно отчетливая мысль: ну что ж, летчиком ты стал, попробовал всякого неба — и голубого, безоблачного, и непроглядного, придушенного метелью, и бархатно-черного, ночного; и самолеты почувствовал разные — учебные, связные, спортивные, истребители; бипланы и монопланы, легкие и потяжелее; лучшее, что узнал, — чувство открытия. Открытия новых машин, новых возможностей машины, новых маневров, новых способов боевого применения и новых приемов управления. Надо перекладывать рули и брать новый курс — становиться летчиком-испытателем. Почему? Потому что самое большое счастье для летающего человека не в порхании по голубому ласковому небу; настоящее счастье — в постоянной драке, в тяжелых схватках, в упрямом покорении все новых и новых «НАДО».

Это и есть самое главное и самое лучшее в нашей жизни..

Время ожидания истекло.

Смотрю на часы — стрелки показывают семь пятьдесят.

Пора надевать парашют. Надо аккуратно расправить одежду под ремнями подвесной системы, проверить, нет ли чего лишнего в карманах, чтобы это лишнее не давило, не жало и, главное, не выскочило в полете; надо натянуть кожаные перчатки, и тогда можно не спеша подниматься по приставной лесенке в кабину.

В кабине надо осмотреть все приборы, рычаги, тумблеры (а их много — больше сотни) и у каждого спросить: «Ну как, брат, порядок?» — и убедиться, что все действительно в полном порядке.

А потом надо подключиться к радию, потуже застегнуть плечевые и поясной ремни, на секунду закрыть глаза и спросить самого себя: «Готов?» И если ты действительно готов, если ты мысленно представляешь себе весь полет, что называется, от корки до корки, ни в чем не сомневаешься, не думаешь о себе в третьем лице: «Сейчас ему предстоит рискнуть и победить», — тогда нажимай на кнопку, включающую передатчик, и проси у командного пункта разрешения на запуск двигателя.

Время — семь пятьдесят пять. Я спрашиваю себя: «Готов?» И отвечаю: «Готов!»

Два месяца изучал я эту машину. Знаю про нее все, что возможно было узнать из чертежей, графиков и расчетов. Это хорошая машина, хотя у нее есть и недостатки (впрочем, кто без греха?). Но недостатки эти не должны выплыть передо мной неожиданными сюрпризами, я их буду ждать, я их уже жду. И это очень важно.

Много раз я приходил на свидание к серо-голубой сигаре. Забирался в кабину. Сидел на пилотском кресле, приглядывался к приборам, примеривался к управлению, мысленно летал. Так я привыкал к машине. И привык.

Ну что ж, а теперь — время. Время запускать двигатель и готовиться к взлету.

Через пять минут я открою для себя реактивную авиацию. И это будет еще одно выполненное «надо», еще одна честно заработанная радость.

О работе инструктора, физкультурника, молодца, малыше и сознании исполненного долга

В авиации мне пришлось испытать себя в самых различных амплуа — от курсанта аэроклуба до летчика научно-исследовательской организации.

Замечу попутно: если я до сих пор недурно владею штыковой саперной лопатой, могу небезрезультатно помахать плотницким топором и кое-что смыслю в слесарной работе, то все это тоже приобретено в авиации, приобретено, так сказать, между прочим.

Но сейчас речь не об этом.

Случилось мне приобщиться и к инструкторской службе. Правда, не в летной школе и не в училище, а в той самой научной организации, которую я уже помянул. Работать нам полагалось не просто, а научно, отыскивая новые пути, самую рациональную методику, наиболее надежные приемы передачи своего опыта другим. Слушатели были всякие — одни менее, другие более подготовленные. Программы — тоже не одинаковые: одни развернутые, другие сокращенные...

К инструкторской деятельности я приступал не без робости. Специальной педагогической подготовки у меня не было никакой, если не считать множества воспитательных экспериментов, поставленных на мне другими людьми (в разные годы и при различных обстоятельствах), опыта тоже не было никакого.

Но приказы не обсуждаются и не обжалуются. Получив назначение, я принял группу и начал знакомиться со своими подопечными. Очень разные это были люди. Один — здоровяк спортивного склада, шумный и открытый парень; другой — сдержанный, физически вроде бы послабее, пытливей; третий — просто маленький, тихий, на вид забытый... Словом, все были совершенно разные.

Прежде мои слушатели летали только на учебных самолетах, летали мало, но, судя по записям в летных книжках, вполне успешно. Мне предстояло дать им в руки реактивный истребитель (в ту пору — последнюю модель, так сказать, «крик авиационной моды»).

Легко сказать — дать...

И как в любом новом деле, труднее всего было опреде-

лечь: с чего начинать? Соответствующие официальные рекомендации гласили: «Прежде всего инструктору-летчику следует детально изучить своих подчиненных, выявить их личные качества и наметить индивидуальный подход...» Вероятно, совет этот был вполне справедливым, но меня смутила расплывчатость формулировки.

Поэтому я решил прежде всего определить совершенно точно: чего инструктор не должен делать ни при каких обстоятельствах. Наметились пять табу:

Первое. Что бы ни стряслось, я не должен выходить из себя.

Второе. Как бы мне того ни хотелось, я не должен ругать слушателей.

Третье. Пусть все перевернется вверх тормашками — не торопись.

Четвертое. Никогда не подавляй инициативу своих учеников.

Пятое. Если тебе покажется, что ты учишь вундеркиндов, все равно не обольщайся слишком быстрыми успехами.

Прибавив к пяти табу некоторый запас здравого смысла и приплюсвав еще полтора десятка советов опытных инструкторов, я приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Каждый летный день я усаживался теперь в заднюю кабину учебно-тренировочного истребителя, пристегивался ремнями и, совершая над собой усилие, пытался отключиться от всех земных дел. Болеет сын — об этом надо на время забыть. С утра мы крупно повздорили с начальником штаба — это тоже пока в сторону. На складе давно уже следовало получить отрез на парадный мундир — чепуха, после!..

— Запрашивай разрешение на запуск, — говорил я очередному слушателю, сидевшему в передней кабине, и сразу же отмечал про себя: действует суетливо, или, напротив, копаются, движения скованные, или молодец, ничего не путает, запускает четко и толково..

— Если готов, начинаем рулить, — говорил я. И тут же по сопротивлению педалей замечал, как ведет себя человек: педали ходят упруго — рулит вместе со мной. Хорошо. Педали болтаются совершенно свободно — старается не вмешиваться в мои действия. Надо подсказать: «Давай, давай сам. Смелее!»

Педали каменеют, насилу отклоняются — активен, но бестолков...

Потом мы разбегались и взлетали. И снова я работал, работал, что называется, в поте лица, тратя энергию не столько на пилотирование машины, сколько на пристальное изучение своих слушателей.

Нодоли через две знал: спортивного вида здоровяк напорист, упрям, но соображает довольно медленно; сдержанный слушатель обидчив, возбудим и лучше всего реагирует на «приник» — стоит ему сказать «молодец», он и впрямь делается молодец; а забитый и тихий «малыш» — сообразителен, ухватист и как раз в меру осторожен...

Полет по кругу продолжается минут пять-шесть. Сорок полетов занимают не многим более трех с половиной часов. Однако после этих трех с половиной часов хочется упасть в траву и спать, спать, спать суток трое подряд.

Когда ты летаешь сам, бывает труднее, бывает и легче — это зависит от характера выполняемого задания, метеорологических условий, настроения, физического состояния и многих других причин. Однако в любом полете напряжение чередуется с какими-то более спокойными периодами, и, если выразить душевное состояние летчика графиком, получалась бы, вероятно, некоторая кривая, напоминающая пилу с неравными зубьями — напряжение-спад, напряжение-спад и так от начала до конца полета. А инструктор живет в постоянном напряжении. И к этому состоянию надо привыкать упорно и долго.

Ознакомительные полеты на пилотаж дали несколько неожиданные результаты: спортивного вида здоровяк скисал после третьего глубокого виража и так наваливался на управление, что мне стоило немалого труда пересилить его; сдержанный «молодец», напротив, чувствовал себя превосходно и проявлял бурные приступы активности; бедняга «малыш» ужасно уставал и из-за этого явно нервничал...

Здоровяка приходилось успокаивать, «молодца» сдерживать, «малыша» подбадривать...

Иногда это удавалось, иногда не удавалось.

Однажды мой друг, опытный инструктор Иван Трусов, даже сказал:

— И что ты так надрываешься? Плюнь, береги здоровье. Все летать все равно не могут. Повозил своих пацанов, поду-

май, из кого что выйдет, точнее, что может выйти. Ничего не выходит — гони в шею. Лучше его сейчас отчислить, чем он потом сам убьется. Это, брат, старая теория: нет плохих курсантов, есть плохие инструкторы! Ерунда, а не теория. Если кто без слуха, например, так ты хоть лопни, а он все равно не запоет. Летчику тоже талант нужен.

Спорить с Иваном я не стал. Но и отчислять никого не стал. Скорее всего потому, что меня мучили сомнения: а может быть, сам я делаю что-то не так, может быть, другой, настоящий инструктор сумел бы выучить моих слушателей быстрее и лучше? Конечно, отчислить человека «за полной неспособностью к летной работе» не так уж трудно, стоит только написать рапорт. Но что такое рапорт — лист исписанной бумаги. А за рапортом судьба, надежды, крушение мечты...

К концу лета я выпустил в самостоятельный полет сначала «малыша», потом пытливого «молодца» и, наконец, «физкультурника».

Когда я выпускал «физкультурника», волновался до того, что сунул сигарету горящим концом в рот. Но слетал он хорошо, и язык я себе обжег зря.

К зиме слушатели мои окончательно окрылились, начали летать по маршрутам, вели учебные воздушные бои, стреляли по наземным целям и, конечно, выполняли пилотаж в зонах. Все. Кто немного лучше, кто немного хуже, но все до единого. А я, естественно, радовался.

Программа обучения подходила к концу. Скоро нам предстояло расстаться. Сначала я думал: вот придет этот последний день переучивания, впервые за год вздохну свободно. Скажу себе: «Все! Точка! Больше не надо ни о ком беспокоиться, ни за кого переживать!» Но чем ближе подходили мы к этой самой заключительной точке, тем тревожнее становилось на душе. Вот уйдут мои ученики, и что-то оборвется. Не просто ведь они уйдут, а унесут какую-то частицу меня самого, моего труда, сомнений, профессиональной квалификации. Ничего мне для них не жаль. Тащите все, что можете унести. И грустно мне совсем по другой причине: вы уйдете, а узнаю ли я когда-нибудь, чему научил вас, или так и не узнаю?

Во время выпускного вечера «физкультурник» сказал:

— Товарищ инструктор, вы не думайте, я ведь знаю, что

вам советовали меня отчислить, а вы не захотели. И вот вы учили. Всю жизнь буду помнить...

— Ладно, — сказал я, — помни. И напиши когда-нибудь, как дальше пойдут дела.

— А как же, напишу, обязательно напишу! Не сомневайтесь.

«Молодец», чуть подвыпивший, необычно оживленный, говорил на том же вечере:

— Родители мне жизнь дали, а от вас я, можно сказать, небо получил. Это еще неизвестно, что больше! Правильно я говорю?

— Нет, — сказал я. — Ты болтаешь глупости. Ты выпил, тебе хорошо сейчас, и не будем зря трепать языками.

— Почему зря, товарищ инструктор? Если вы хотите знать, мне без неба никакой жизни вообще не надо. Верите?

— Верю. Только знаешь что? Лучше ты напиши мне через годик, как у тебя с небом отношения сложились, а сейчас потанцуй и ни о чем не думай. Договорились?

— Есть! Договорились...

Подшел ко мне и «малыш».

— Значит, такое дело, — сказал он, — спасибо вам. За все спасибо. И вы не сомневайтесь...

— В чем не сомневаться?

— Ни в чем!

— Постараюсь, — сказал я. И невольно улыбнулся. Он тоже улыбнулся — тихой, застенчивой улыбкой.

Конечно, никто из них ничего мне не написал.

Но я знаю: «физкультурник» командует полком, он военный летчик первого класса, резкий, «взрывчатый», неудобный для начальства, но тем не менее очень нужный в авиации человек; «молодец» стал летчиком-испытателем и поднимает в небо такие машины, которые мне даже не снились; «малыш» работает инструктором в высшем авиационном училище. Мне говорили, что он никогда не выходит из себя, не ругает курсантов, не торопится, не сковывает инициативы своих учеников и не обольщается их неожиданно быстрыми успехами, благо такие иногда обнаруживаются. И это мне особенно приятно.

Всю жизнь я любил машины: скоростные истребители, плотно сидящие в небе, легко слушающиеся рулей, способные вертикально вонзаться в небо — они дарили мне вдохновение

воздушного боя и захватывающую остроту пилотажа; тяжелые корабли, мерно гудящие на дальних трассах, неутомимые, степенные — они награждали меня совершенно особенным ощущением сокращенных расстояний: Ташкент — рядом, Иркутск — рядом, даже Хабаровск — рядом, рядом с Москвой, и вообще не так уж велика земля, какой она представляется в начальной школе...

Всю жизнь мне казалось, нет ничего прекраснее общения с машиной. Инструкторская работа впервые натолкнула на мысль: ты счастливый, это же на самом деле счастье — дать другому человеку крылья...

О чувстве скорости, времени и облаках, а еще о высоте, господствующей надо всем...

Ну что? Порядок! Давление? В норме. Температура? Тоже в норме. И обороты в норме. И приборные стрелки на всех циферблатах показывают именно то, что им положено показывать. Управление? К управлению у меня тоже претензий нет. Надо только сказать механику, чтобы ослабил защелку сектора газа, а то еле откидывается.

Все проверено? Все.

В принципе можно заходить на посадку — самолет облетан, установлено: ремонт выполнен хорошо. Но у меня осталось еще минут десять-двенадцать в запасе. И минуты эти я могу использовать по собственному усмотрению.

Чуть-чуть подбираю ручку на себя — машина послушно идет вверх, к просвечивающим негустым облакам. На какое-то время солнце исчезает. За остеклением кабины клубятся мягкие туманные космы, клубятся и летят назад, к хвосту. И прежде чем я успеваю сосредоточиться на показаниях приборов, светлеет — облака тонкие, пробить их ничего не стоит. Тусклая белизна голубеет, словно разбавленная синькой, и разрывается. Над головой совершенно чистый купол неба, под ногами — белейшее, сияющее поле, курчавое и бесконечное...

Можно налетать и пять и десять миллионов километров, но все равно, вырываясь на рандеву с солнцем, удивляешься,

радуешься, восторгаешься всем окружающим, будто впервые видишь и эту синеву купола и это бескрайнее стадо кочующих облаков.

Я прижимаю машину к облачному полю. И сразу же скорость делается физически ощутимой. Из-под ног летит и летит белая пустыня, холмики, впадины, возвышения — все сливается в стремительный, сверкающий поток.

Осторожно, очень осторожно я «топлю» машину в облаках. Фюзеляж погружается в лохматую пену, и крылья тоже прячутся; на поверхности остается только фонарь кабины. И сама скорость летит, летит и летит в глаза. Ощущение, прямо сказать, сильное...

«В такой позиции хорошо было подкрадываться к противнику», — мысль эта, мелькнув, тут же исчезает. Мне и просто так хорошо...

Хорошо лететь, наполняясь стремительностью движения и все время испытывая чувство неограниченной власти над машиной. Вот шевельну ручкой — и облака останутся далеко-далеко внизу, распахнутся ковром под ногами и замрут; а могу уйти вниз, и тогда облачный ковер превратится в потолок, зависнет над головой; захочу — обернусь «бочкой» одной, другой, третьей и рассеку белый полог причудливым тоннелем.

Всю свою сознательную жизнь — день за днем, месяц за месяцем, год за годом — я шел за облака. И вот пришел и давно уже чувствую себя здесь не гостем, а хозяином. Пожалуй, эта взятая высота и есть самая главная, господствующая над всеми случайностями, над всеми неизбежными обстоятельствами, над всякой мелочью — вершина. Брать ее было всяко — и радостно, и трудно, и весело, и порой страшно. Держать ее тоже не просто — высота крутая, да и время дает себя чувствовать (человек, увы, не остается всегда молодым). Сдавать высоту будет, конечно, горестно, но тут уж ничего не сделаешь — придется. Я даже знаю кому! Тем, кто сегодня еще только учит основы аэродинамики, грызет введение в навигацию, проклиная формулы из учебника радиоэлектроники, зубрит первую главу КУЛПа — курса летной подготовки. Ну что ж, жизнь всегда складывается из взлетов и снижений, и после подъема следует спуск. Ничего не сделаешь...

Но пока я еще над облаками!

Тяну ручку на себя и иду вверх. Медленно падает скорость. Плавно даю ногу — отклоняю педаль влево, а ручкой

удерживаю самолет от крена. Машина осторожно, нехотя поворачивается за ногой и опускает нос к земле. Это ранверсман, ребята! Обыкновенная фигура высшего пилотажа. Свистит скорость на кончиках крыльев. Все в порядке. Ручка делается упругой, ощутительно вжимается в ладонь. Сейчас я проколю облачный полог, словно игла вату, и выскочу на границу своего аэродрома.

Мое время вышло. Я освобождаю пилотажную зону.

Пора приземляться.

Сначала я выйду в горизонтальный полет, потом потеряю скорость, выпущу посадочные щитки, шасси, выполню разворот, еще разворот, уберу обороты двигателя и приземлюсь на бетонную полосу.

Облака останутся далеко позади.

Я зарулю на стоянку, выключу двигатель и, бросив парашют в кабине, спрыгну на землю.

Вполне вероятно, что механик скажет мотористу:

— Вот сволочь, облака откуда-то натянуло. Будет дождь.

И возможно, моторист ответит:

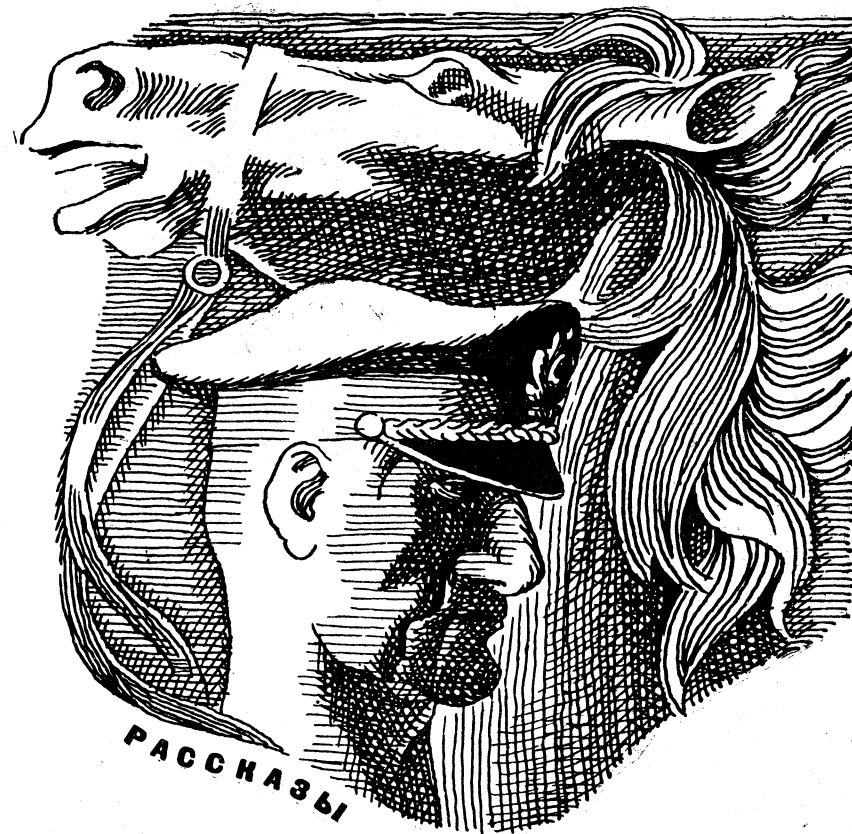
— Верно, будет дождь, с утра колено ноет...

Ну что ж, пусть их ругают. Хотят — пусть. Но я не скажу плохого слова про мои облака. Я люблю облака, хотя знаю: недолго мне осталось владеть ими. Ну что ж, я готов... Я готов отдать мои облака вам. Берите, только дайте слово, что не станете их проклинать, даже если облака заставят вас пережить минуты огорчения, неуверенности, страха...

Договорились? Берете мои облака?

Берите и будьте счастливы...

ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ



КРУГ

Лухт поглядел на часы, вмонтированные в приборную доску. Часы показывали четыре. Подумал: «Вот черт, до конца еще крутить и крутить». У Лухта затекли руки и устали глаза. А в ветровое стекло все летела и летела голубовато-черная лента бетона. Шесть минут — круг, шесть минут — круг...

Лухт — испытатель новых автомобилей — накручивал километраж на новом кольцевом автодроме. Шесть минут — круг, еще шесть минут — еще круг...

«Тоска, — подумал Лухт, — на шоссе веселее было».

Конечно, тут спокойнее — ни встречных, ни попутных, поставил сто сорок по спидометру и держи. Это верно. Но там, на шоссе, хоть окрестности менялись — то перелески, то поля, то подъемы, то спуски. Там поглядывай! А на кольце — бетон, бетон, бетон... Аж в сон клонит.

Лухт даже пожалел, что взялся отработать за Никольского. Обычно они ездили по четыре часа и менялись. Четыре часа — это сорок кругов. Сорок кругов — пятьсот шестьдесят километров. Две остановки для осмотра машины, одна — для заправки. Так было утверждено графиком.

Но в этот день Никольскому с утра нездоровилось, и Лухт вызвался подменить своего напарника. Первую смену Лухт открыл и теперь работал вторую.

«А трудно, — подумал Лухт, — на шоссе не так замечаешь время».

Темно-серая приземистая машина сглатывала километр за километром. Если б Лухт мог взглянуть на себя с высоты, он увидел бы здоровеннейший круг-блюдечко и стремительно вращающийся шарик. Блюдечко — автодром, шарик — его машина. Но Лухт смотрел только вперед, и в глаза летел бетон, голубовато-серый, накатанный, однообразный и бесконечный.

Неожиданно пошел дождик, мелкий и спорый.

Лухт передернул плечами, встряхнул головой и, не снижая скорости, продолжал работу.

Пролетая очередной круг, он увидел на контрольном пункте фигуру, сигналившую ему остановку. Лухт сбросил обороты, проскочил еще круг и, осторожно притормаживая, съехал на смотровую площадку.

* * *

— Здравствуйте, — сказал Фадеев.

— Здравствуйте, — сказал Лухт.

— Почему вы, а не Никольский?

— Никольский заболел, мне пришлось его подменить.

— Та-а-ак, а вам известно, что больше четырех часов работать на кольце не разрешается никому?

— Известно.

— Значит, нарушение?

— Нарушение.

— Сознательное?

— Выходит, сознательное.

— Очень любопытно.

Лухт, как только увидел Фадеева, начал злиться, а теперь

и вовсе рассвирепел. Но сдерживался. Ждал, что будет дальше.

— Для чего вы подменили Никольского? — спросил Фадеев.

— Для того, чтобы крутить километраж. К первому июня мы должны дать двадцать тысяч, а сегодня двадцать восьмое. Посчитайте, можем ли мы успеть, если машина простоит четыре часа.

— А кто вам разрешил нарушать инструкцию?

— Никто не разрешал, я сам себе позволил.

— А вы уверены, что этот номер пройдет без последствий?

— Нет, не уверен. Особенно если вы возьметесь за дело, неприятности мне обеспечены. Что дальше?

Фадеев поежился, застегнул верхнюю пуговицу дождевика. У него было усталое лицо и печальный взгляд глубоко страдающего человека. Казалось, каждое слово дается ему с трудом.

— Скажите, Лухт, почему вы берете на себя больше, чем вам положено брать? В конце концов кто руководит испытаниями?

— Кандидат технических наук Александр Борисович Фадеев, мой непосредственный и обожаемый начальник. Об этом всегда помню, даже во сне. Вы довольны?

— Однако вы очень странно разговариваете...

— У меня плохой характер и отвратительное воспитание, Александр Борисович.

— Это верно.

Лухт постучал пальцами по циферблату.

— Время уходит, Александр Борисович, время!

— Время всегда уходит, — сказал Фадеев.

Дождик не прекращался, мелкий и спорый дождик вычернил бетон, обрызгал машину, забил ветровое стекло крошечной водяной пылью.

Похоже было на то, что Фадеев только теперь заметил дождь. Он не спеша обошел автомобиль и взялся за ручку двери. Дверь была поставлена на стопор и снаружи не открывалась.

— Откройте, — сказал Фадеев.

— Не положено. Во время испытаний двери должны стоять на стопоре.

— Слушайте, Лухт, это издевательство. Кто вам позволил?..

— Ну вас к черту, Александр Борисович! Идите в павильон, пейте пиво и не путайтесь под ногами. Вы мне надоели.

— Я боюсь, что нам придется расстаться, Лухт. Так не может продолжаться. Я вас просто уволю, а пока...

— Нет, вы меня не уволите, не надейтесь, и отойдите от машины.

— Да как вы смеете, Лухт?! Почему вы считаете, что завод будет с вами носиться и терпеть ваши фокусы?

— А для чего заводу выгонять с работы лучшего гонщика страны? Потому что вам так хочется?

— От скромности вы не умрете.

— Совершенно верно, не умру.

— Послушайте, Лухт, но что я вам сделал плохого? Лично я, объясните по-человечески. В чем дело?

Лухт решительно взялся за ключ зажигания и, не поворачивая головы в сторону Фадеева, сказал:

— Лично вы ничего плохого мне не сделали и сделать не можете, даже если вам очень захочется. Просто вы зануда, Фадеев. Громадная зеленая зануда, а я терпеть не могу занудства. Идите жалуйтесь, пишите заявление, поднимайте общественность...

Лухт завел мотор и так рванул с места, что Фадеев едва успел отскочить от машины.

И снова замелькал круг, черный, блестящий, коварный. На мокром бетоне надо было работать особенно внимательно. Лухт это знал.

Шесть минут — круг, еще шесть минут — еще круг.

Странное дело, на третьем витке он уже забыл о Фадееве, о неприятном разговоре, об ожидавших его, Лухта, последствиях. Он даже повеселел. Видно, минутная разрядка пошла на пользу.

Шесть минут — круг, еще шесть минут — еще круг.

Лухт накручивал километраж, Лухт похвастывал, Лухт был доволен.

«Чепуха, — подумал Лухт, — полаялись, сцепились, — не велико горе. Километраж идет. Мотор тянет. И скоро будут закончены двадцать тысяч километров пробега. Вот это

действительно важно, остальное чепуха, остальное мусор, слова».

— Чепуха, — сказал Лухт громко. И повторил нараспев: — Че пу-ха...

* * *

На другой день Фадеев явился к директору завода Дмитрию Дмитриевичу Власову. На заводе Власов давно, можно сказать, всю жизнь. Начинать учеником слесаря, работал на сборке, долго был испытателем новых автомобилей, поднялся сначала до мастера, а потом и до начальника цеха; был технологом завода, главным инженером, и, наконец, его назначили директором.

Власову под шестьдесят. В последние годы он стал грузен, заметно поплысел, частенько хватается за сердце и украдкой принимает валидол — годы, ничего не поделаешь.

Все заводские старожилы называют его между собой Дим Димыч и ласково смотрят вслед, когда он, отдуваясь и кряхтя, усаживается за руль нового автомобиля.

За последние двадцать с лишним лет не было еще случая, чтобы Дмитрий Дмитриевич не опробовал новый автомобиль лично — будь то внедряемый в серию образец или, так сказать, штучная гоночная машина.

Власов любит автомобили. Любит давно, преданно и нежно.

Как у всякого человека, у Дмитрия Дмитриевича есть свои недостатки: он бывает резок, вспыльчив, иногда просто груб. Но он честно служит делу, и за это ему многое прощают.

Вот к такому человеку и пришел Фадеев, пришел жаловаться на Лухта.

— Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич, разрешите побеспокоить, — сказал Фадеев, входя в директорский кабинет.

— Беспokoйте, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Что хорошего?

— Хорошего, к сожалению, мало. Я б не стал отрывать вас от дел, но, увы, ни в лице начальника цеха, ни в лице вашего заместителя, к сожалению, не нашел поддержки...

— Что это как длинно и как торжественно, Александр Борисович?

— Вчера я был на автодроме, и там, позволю вам доло-

жить, у меня произошел пренеприятнейший инцидент с Лухтом...

— Лухт побил машину?

— Нет, машина, слава богу, цела, и испытания идут нормально...

— К первому двадцать тысяч накрутят?

— Надо полагать, Дмитрий Дмитриевич, что километраж к первому можно снять, но я пришел к вам поговорить как раз не о километраже...

— Ладно. Минуточку. Сейчас все доложите. Но сначала скажите мне вот что: Женя на позвоночник не жаловался?

— Простите, Женя? Это кто, Женя?

— Как понимать ваше «кто», Александр Борисович? Женя — это Лухт, Евгений Эдуардович Лухт. Очень странно, что вы не знаете, как зовут вашего товарища...

— Нет, Лухт ни на что не жаловался, а вот я пришел к вам жаловаться на Лухта. Дальше так продолжаться не может.

— Интересно. Ну-ну, жалуйтесь, рассказывайте, что там у вас произошло.

Дмитрий Дмитриевич берет в руки логарифмическую линейку и начинает медленно гонять движок из стороны в сторону: вправо, влево, снова вправо и опять влево. На широком лбу Дмитрия Дмитриевича сбегаются две глубокие морщины, веки тяжело нависают над глазами.

Фадеев обстоятельно рассказывает обо всем случившемся накануне. Особенно он напирает на два пункта: его возмущает сознательное нарушение инструкции — это раз, и он не может мириться с тоном, которым Лухт позволяет себе разговаривать с ним, старшим инженером, кандидатом наук, ответственным руководителем, — это два.

Дмитрий Дмитриевич слушает молча.

И только в тот момент, когда Фадеев произносит:

— Я полагаю, что так продолжаться не может, или... — директор перебивает его:

— Я надеюсь, Александр Борисович, что вы не собираетесь сказать такой глупости: «Или он, или я»?

— Дмитрий Дмитриевич, я не понимаю...

— Действительно, вы многого не понимаете, Александр Борисович, — логарифмическая линейка со стуком ложится на

стол. — Лухт — лучший гонщик страны. У нас много испытателей, но такого, как инженер Лухт, нет... По-моему, вы удивлены? Вы не знали, что Евгений Эдуардович инженер? Да, он инженер, и притом настоящий, не только дипломированный, но еще и талантливый. Когда Лухт закончил вечернее отделение Московского автодорожного института, мы, между прочим, предложили ему ту самую должность, на которую позже пригласили вас. Женя отказался. Он сказал: «Дмитрий Дмитриевич, у меня трудный характер. Я хорошо понимаю машины и плохо лажу с людьми. Я не рожден быть начальником. Разрешите мне остаться испытателем». Мы подумали, посоветовались и не стали настаивать.

Дмитрий Дмитриевич достает сигарету, не спеша закуривает, что-то взвешивает и неторопливо продолжает:

— Конечно, Лухт не прав. Хамить не следовало, но вы, дорогой мой, тоже хороши, чтобы не сказать большего. Чего вы напустились на человека? Он же хотел, как лучше, а не как хуже сделать...

— Простите, Дмитрий Дмитриевич, но ведь я не могу, не имею права потворствовать нарушению инструкции, призванных охранять безопасность работы испытателя, направленных на укрепление безаварийности. Ни формально, ни по существу я этого не должен делать. К тому же позвольте вам напомнить, что инструкция утверждена не мной, а директором завода, то есть вами. Разве я могу отменять документы, подписанные вами?

— Не можете. Согласен. И что из этого следует?

— Из этого следует, что я действовал правильно, разумно, согласно...

— Бросьте вы лепить: потворствовать нарушению, в деле укрепления, согласно разумению... Ерунда это все, слова, абсолютная че-пу-ха...

— Позвольте, Дмитрий Дмитриевич, допустим, я в чем-то не прав, ну а как бы вы на моем месте поступили, только откровенно?

Власов начинает выходить из себя. Он посапывает, как морж, резко крутит головой и медленно заливается густым нездоровым румянцем.

— Я? Очень просто! Я бы выгнал Лухта к чертовой матери из-за руля, сел в машину и докрутил бы то, что он не успел докрутить за Никольского. Вот так! Так, и никак иначе.

— Простите, но это не метод!

— Вполне вероятно.

Устанавливается долгая и неловкая пауза. Дмитрий Дмитриевич снова терзает линейку. Фадеев угрюмо молчит. Наконец он не выдерживает и говорит:

— Дмитрий Дмитриевич, но что ж мне теперь делать? Я не могу позволить Лухту его выходок и вынужден настаивать: или он будет призван к порядку, или я попрошу освободить меня от занимаемой должности. Правда, вы сказали, что это глупости, но иначе я не могу.

Власов молчит. Ему ужасно хочется изругать Фадеева, но он сдерживается. Понимает — Фадеев не тот человек, которого можно легко поправить.

— Ладно,— говорит, наконец, Дмитрий Дмитриевич,— я вызову Лухта, потолкую с ним, постараюсь внушить, что обижать старших безнравственно и некультурно. Думаю, Женя поймет — он умный парень. Вас устраивает такое решение?

— Не вполне, Дмитрий Дмитриевич. Я настаиваю на взыскании. И это мое минимальное требование — нельзя распускать людей. — И Фадеев снова во всех подробностях принимается рассказывать, что сказал он и что ответил Лухт.

Директор выслушивает Фадеева до конца. Закуривает новую сигарету и говорит:

— Ладно. Я сделаю официальное замечание Евгению Эдуардовичу. Такое решение вас устраивает?

Фадеев поднимается со своего кресла и разводит руками: вероятно, его жест следует понимать так: «Ну, что я могу сказать, вы — директор, воля ваша».

Фадеев медленно поворачивается и покидает директорский кабинет. А Дмитрий Дмитриевич нажимает на клавиши внутреннего телефона и вызывает заместителя:

— Георгий Филиппович? Привет. Власов. Слушай, Георгий Филиппович, сейчас был у меня этот зануда Фадеев, жаловался на Лухта. В курсе? Ну вот, угони ты, Христа ради, его в командировку куда-нибудь подальше месяца на полтора. Ашхабад? Великолепно! А то ведь не даст спокойно докрутить километраж. Вот, вот. Хорошо. Когда приедет Лухт с автодрома, пусть зайдет ко мне. Да, да. Договорились. Хорошо.

* * *

А по огромному четырнадцатикилометровому блюдечку автодрома носится и носится крошечный приземистый автомобиль.

Шесть минут — круг, еще шесть минут — еще круг.

Стрелочка спидометра приклеилась к цифре сто сорок. В лицо Лухту летит бесконечная лента голубовато-серого бетона.

Круг, круг, еще круг...

Лухт смотрит на часы. Четыре. «Порядок, к первому усном. Двадцать тысяч будет, точно», — и он тихонечко насвистывает.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ...

Сначала несколько важных подробностей: Радик живет с мамой, папой, бабушкой и сестренкой Любой. Маме — тридцать шесть, и Радик, естественно, считает ее пожилой, нервной и не очень справедливой; папе — тридцать четыре, но Радик говорит, что он еще не очень старый, веселый и вообще «молоток»; Любе только-только исполнилось шесть лет, и ее Радик всерьез не принимает, Люба у Радика называется «крупа». Ну, а бабушка — старуха, совсем старуха! На днях ей будет уже шестьдесят. Бабушка, по выражению Радика, «с приветом!» Почему? Во-первых, потому, что она каждое утро делает физзарядку, во-вторых, зимой бабушка катается на коньках (кстати, не на каких-нибудь, а на беговых!), а летом играет в теннис и плавает, как акула, — с ластами и маской. И это в шестьдесят лет!

Повзвирывая на все спортивные ее доблести, Радик бабушку недолюбливает и побаивается. Ее хлебом не корми, только дай покомандовать. Даже папа называет ее «наш адмирал». Бабушка всегда шумит, может из-за ерунды вспылить и при случае не упустит момента, чтобы наподдать Радика своей здоровенной костлявой ручищей.

Самому Радика двенадцать лет. Он худой, не очень ловкий, но зато очень языкастый мальчишка. Учится Радик обыкновенно — далеко не лучше всех в классе, но и не хуже большинства других мальчишек и девчонок.

Мама говорит:

— А мог бы вполне в отличниках ходить. Способный, но лентяй.

Папа говорит:

— Давай, давай лоботрясничай! Не выучишься — поплю коз пасти... — Почему именно коз? Этого Радик не знает и поэтому считает, что папа шутит.

Бабушка относительно школьных успехов своего внука вообще ничего не говорит. У нее особое мнение: мальчишка должен быть прежде всего здоровый. Должен лихо бегать, прыгать, гонять мяч, драться, лазать по деревьям, строить модели и ломать игрушки...

И потому, что Радик не очень увлекается физкультурой, мало и как-то лениво проказничает, никогда ни с кем не дерется и почти не интересуется ни моделями, ни игрушками, бабушка зовет его Лопухом или Лопушком, смотря по настроению.

Маленькую Любу школьные дела Радика совсем не занимают. Она только иногда говорит:

— Адик («р» Люба пока еще не выговаривает), почитай книжку, — и тащит ему какую-нибудь растрепанную сказку с картинками.

Читает Радик с удовольствием. Между прочим, читает он и то, что есть в книжке, и то, чего нет. Добавляет от себя. И это «от себя» бывает всегда таинственное и страшное.

Домом бабушка-адмирал командует шумно и властно, но иногда на нее что-то находит, и тогда она не готовит обед, не убирает комнаты, а покупает пачки три сибирских пельменей, полкило любительской колбасы и, оставив маме записку: «Питайтесь сами, убыла до 23.00. Еда в холодильнике», — уезжает.

В такие дни мама сердится. А папа только посмеивается и говорит:

— Повело адмирала...

Обыкновенно все по вечерам смотрят телевизор. Маму интересуют новые фильмы. Папу — футбол и хоккей. Любу — все подряд. Радика — КВН. А бабушка телевизора не любит и не скрывает этого. Она говорит маме:

— Целый день торчишь в помещении, нет, чтобы хоть вечером взять детей и пойти на воздух, смотришь такую ерунду!..

А папе бабушка говорит:

— Лично я бы на вашем месте, Володя, сама погоняла мячик. Вы же еще молодой человек. Это смешно — вздрагивать и подпрыгивать от чужих финтов и подножек. Если вам лень ходить в секцию, забирайте ребят и попрыгайте с ними во дворе. Честное слово, полезней и вам и детям будет...

Любе и Радика бабушка из-за телевизора замечаний никогда не делает. Она считает: раз родители разрешают, пусть смотрят. Хотя вообще-то это безобразие и форменный разврат!

Мама у Радика красивая. Это знают все. Маме даже в кино предлагали сниматься, но она не захотела. Мама микробиолог и говорит, что у нее очень интересная работа. Может быть, даже самая интересная на свете!

Радик толком не знает, чем занимаются микробиологи, но ему почему-то кажется, что они целый день смотрят в микроскопы и дрессируют каких-то малюсеньких, злощих и очень кусачих тварей...

Папа у Радика высокий, довольно плотный мужчина. У него очень черные волосы, доброе лицо и смешной нос — широкий и чуть-чуть вздернутый.

Папа на секретной работе. Радик этим очень гордится. Папа работает в оборонной промышленности. Каждое утро он уходит в свой таинственный почтовый ящик. Расспрашивать папу о том, что делается в почтовом ящике, не полагается, это Радик усвоил уже давно. Поэтому он вынужден сам выдумывать занятия для своего отца.

— А мой папка ракеты строит. Какие — я точно не знаю, только очень-очень важные и секретные... Конечно, ракеты у папки на атомном горючем...

Люба — толстенная, коротконогая, тихая. Люба никогда не плачет и очень любит спать. Не успеет бабушка сказать:

«Ну ка, Любчик», — как она уже начинает раздеваться и тереть глаза...

Бабушка хоть и совсем старая, но еще не седая. Дома бабушка обожает ходить в брюках, свитере и тапочках-борцовках. Радик понимает, что бабушка его хоть и древний человек, но не как другие. Однажды Радик пошел с бабушкой в магазин, а там расшумелся какой-то пьяный. Все возмутились, все требовали позвать милиционера, но никто ничего не делал, только высказывались. А бабушка взяла пьяного одной рукой за шиворот, другой — за штаны, тряхнула чуточку и повела к двери.

— А ну, пошел вон, свинья! Нажрался и людей обижаешь. Пятнадцать суток схлопотать хочешь? Перебирай, перебирай ножками... — И пьяненький утих и бесшумно исчез за дверью.

Все смотрели тогда на бабушку с удивлением. И Радик тоже.

В доме никогда не бывает скандалов. Иногда только мама говорит:

— Господи, как мне все это надоело! В конце концов я тоже имею право отдохнуть! — Но маме никто не возражает.

Один, правда, случай был. Бабушка сказала тогда папе:

— Вы удивительная рохля, Володя! На месте моей дочери я бы давно от вас сбежала. — Но потом она долго извинялась, а папа посмеивался.

Когда приходят мамини знакомые, все только и говорят про науку, про каких-то возбудителей или про разносчиков. Радик ничего этого не понимает и потому не прислушивается к разговору гостей.

Когда приходят папины друзья, они спорят и шумят: кто в этом году будет чемпионом по хоккею и почему команда ЦСКА сдала свои прошлогодние позиции...

Когда приходят бабушкины подруги, они больше пьют чай, чем разговаривают. Но уж если пустятся в рассуждения, держись! Тут и де Голлю достанется, и китайские новости получат особое толкование, и непременно всплывет проблема воспитания молодежи (и бабушка будет кричать громче всех: «Лишь бы не росли Лопухами!»)

Но и эти разговоры взрослых Радика не волнуют. Он предпочитает, пока взрослые спорят и волнуются, забраться с ногами в кресло и читать что-нибудь такое: «Мы еще встретимся, полковник Барк» или «Записки следователя».

Вероятно, бегло нарисованную картину можно было бы дополнить еще несколькими более или менее важными штрихами, но, пожалуй, нет смысла. И вот почему: так было, так шла жизнь до того самого дня, о котором речь как раз впереди. А после этого дня многое стало по-другому. Вот и получается: старые подробности утратили силу, их можно опустить.

* * *

Накануне папа позвонил какому-то знакомому (пока бабушки не было дома). Папа говорил ему:

— Семен Сеич? Привет, Семен Сеич! Слушай, Семен Сеич, тут такое дело — у моей тещи завтра юбилей. Шестидесятилетие... Да-да, хотел тебя просить кое-что организовать... Крабчиков хорошо бы... Красной икорки... Сколько? Ну, сколько сможешь... И чего-нибудь еще закуского... Спасибо! Спасибо! Очень хорошо. Большое спасибо, Семен Сеич. Конечно. Ясное дело. Соображу. Договорились.

Потом папа положил трубку и сказал маме:

— Ну, выжига, крокодил этот Семен Сеич! Он, конечно, организует все, но ему нужны какие-то особенные кронштейны для багажника на «Волгу». Хромированные! Придется соображать...

Вечером папа взял с собой Радика, и они поехали в «Гастроном». Там в столе заказов для них была приготовлена здоровенная коробка со всякими закусками.

Семен Сеич оказался молодым, лысоватым, подвижным и веселым типом. Он похлопал папу по плечу и сказал:

— Везет людям — юбилей теще устраивают! Я бы своей теще поминки с удовольствием сгрехал!

Папа усмехнулся, но Радик сразу понял, что ему вовсе не весело и не смешно и улыбается он просто так, из вежливости.

Когда они вышли из магазина, Радик спросил у папы:

— А поминки — это что?

— Это? Это после похорон устраивают. Едят, пьют... поминают, значит, умершего. Ясно?

— Ясно, — сказал Радик и задумался.

А дома мама спросила Радика, как он собирается поздравить бабушку с ее праздником. И, наверное, потому, что Радик сразу ничего не ответил, мама сказала:

— Мы с папой купили отрез...

— Чего купили?

— Ну, материал на платье. А Люба нарисовала уже картинку и выучила стихотворение...

— А ты дай мне денег, я тоже куплю материал, или туфли, или чего-нибудь еще, что ей надо.

— Так не годится, — сказала мама, — ребята должны сами.

— Ладно. Я отдам ей три марки...

Мама посмотрела на Радика неодобрительно, как-то с сомнением. И он тут же добавил:

— Ну, пять отдам, если три мало. Мне не жалко. Могу даже треуголки ей отдать, самые красивые.

— Не в том дело... Почему ты про бабушку говоришь «она» или «ей»? Это же нехорошо. Неважительно.

— Да? — удивился Радик. — А я не знал. Как надо правильно говорить?

— Бабушка.

— Хорошо, буду говорить «бабушка».

* * *

Утром Радик отдал бабушке одиннадцать своих самых лучших треуголок и сказал при этом:

— Я тебя поздравляю, бабушка. Возьми марки в подарок, они, бабушка, очень хорошие, но мне их все равно не жалко, бабушка...

Бабушка даже растрогалась, расцеловала Радика в обе щеки и ушла на кухню. А дальше все полетело кувырком: завтракали в этот день кое-как, обедать совсем не обедали. Женщины не вылезали из кухни: пекли, варили, жарили, месили... Папа ходил сначала за пивом, потом за лимонадом, и еще вместе с Радиком он передвигал мебель и сам гладил скатерть.

Часа в четыре была дана команда одеваться.

Бабушка надела синее платье и туфли на шпильках, мама надела светло-серое платье с искорками и тоже туфли на шпильках, а папу заставили натянуть черный костюм и белую рубашку с чудным коротеньким галстуком на две стороны. Любу начесали, как куклу, пристроили ей два банта на голову, и Радика, конечно, тоже пришлось наряжаться.

А на столе наставили всего столько, что для пустых тарелок и места почти не осталось.

И все равно мама говорила:

— Боюсь, закуски маловато будет. Володя, может, сбежать еще за колбаской и сырком?

Но папа сказал, что всего хватит и никуда бегать не надо.

И тогда стали ждать гостей.

Ждать было скучно, и очень хотелось есть.

Первыми пришли тетя Кира и дядя Гриша. Мамина сестра и ее муж. Они притащили здоровенный торт и бутылку шампанского.

Бабушка говорила: «Спасибо!» — а мама осталась почему-то недовольна:

— И чего ты, Кирка, придумала — торт? Да разве тут мало всего?

— Понимаешь, — говорила тетя Кира, — абсолютно времени не было заняться как следует. Гриша только что из командировки, я зашилась совершенно на работе, а тут еще Костя заболел. Ну, просто с ума можно сойти...

В это время позвонили в дверь, и на пороге появилась Клавдия Васильевна, старинная бабушкина подруга. Она смешно отдувалась, долго поправляла волосы перед зеркалом, сунула бабушке в руку синюю коробочку:

— На, держи! Это ты любишь. И потом шестьдесят — все-таки круглая дата! — И тут же без передышки приступила к дяде Грише: — Рада вас видеть, доктор. Что нового на вашем фронте? Я в «Здоровье» прочла, что холестерин теперь уже не в моде. Шустренько вы, медики, кувыркаетесь. Как это у вас получается?..

К счастью, пришли дедушка Гаврюша, бабушка Аня, дядя Федя, тетя Лиза, Жорик и Машка. В квартире все загудело, задрожало, зазвякало, и Радик перестал следить за происходящим.

Ему очень хотелось есть. Но есть не давали. Все поглядывали на стол и украдкой сглатывали слюну. Бабушка заметила нетерпение, одолевавшее гостей с каждой минутой все больше, и объявила:

— Ждем ровно семнадцать минут. Если Фальковы не придут, тем хуже для них. Садимся и начинаем. Володя, а вы бы пока музыку пустили.

Папа включил магнитофон.

Радик сидел в уголочке и думал: «Какой же это праздник? Все голодные. Все говорит про неинтересное. Музыка никто не слушает. Чудно...»

Наконец семнадцать минут истекли, и бабушка скомандовала:

Всем за стол!

Шумно двигая стульями, стали рассаживаться. Сели. Папа сказал:

— Готовьте пыжи, товарищи! Быстренько, быстренько, активно! Первый тост за мной...

И тут снова в дверь позвонили. Пришли Фальковы. Дора Борисовна, долго извиняясь, кудахтала:

— Воскресенье! Ужас! Народу всюду полно. Такси — немыслимо... Просто кошмар...

Ее муж вручал бабушке вазу и произносил при этом весьма мотивированную, что называется, развернутую речь.

Радик не выдержал и схватил с тарелки первое, что подвернулось под руку, — кусок колбасы.

В конце концов папа все-таки сказал свой тост, и все аплодировали. Взрослые выпили. Сразу сделалось тихо, только вилки позвякивали.

Потом тосты говорили дедушка Гаврюша, и мама, и бабушка Аня, и дядя Федя, и опять очень долго говорил опоздавший Фальков, но под конец никто уже никого не слушал.

Любу папа унес в другую комнату — она заснула прямо за столом. Дядя Федя тихонечко дал подзатыльник Жорику за то, что он приставал к Машке. Радик уже начал подумывать, как бы ему незаметно выбраться из-за стола, когда в дверь снова позвонили.

— Кто бы это? — спросила бабушка.

— Может быть, телеграмму принесли? — сказала мама.

Папа пошел открывать.

Нет, то была не телеграмма. В коридоре послышались голоса. И папа крикнул в комнату:

— Нина Васильевна, Нина Васильевна! Принимайте пополнение, гости пришли.

Бабушка встала из-за стола, и лицо у нее стало растерянным. Все обернулись к двери.

* * *

Первым в комнату вошел сильно загоревший крупный мужчина. На нем был темно-серый костюм, а в руках он держал громадную фотографию, приколотую кнопками к деревянной крестовине. На фотографии смеялась хорошенькая девушка в старомодном летном шлеме и расстегнутом у горла комбинезоне.

— Леша! — ахнула бабушка...

Но тут в комнате появился следующий гость. Это был авиационный генерал, совершенно седой, улыбающийся; грудь его перечеркивала густая многоэтажная орденская планка. В руках он держал плакат:

СЛАВА НИНЕ ЛЮБЧЕНКО — ЧЕМПИОНКЕ И РЕКОРДСМЕНКЕ!

— Вова! — выдохнула бабушка...

А в комнату входили новые люди: все немолодые, заметные, уверенные в себе, улыбающиеся. Они притащили двадцать бутылок шампанского, конфеты, торт... Они заполнили собой всю квартиру.

И генерал, которого бабушка назвала просто Вовой, сказал речь:

— Нина, милый наш друг! Дети, гости и, как я полагаю, внуки, словом, все! Честь имею поздравить в этот знаменательный день одну из первых наших, одну из лучших наших, одну из самых замечательных наших парашютисток. Мы, добрые, верные, старые друзья, все очень тебя любим, Нина! Верно, встречаться нам приходится реже, чем хотелось бы, жизнь крутит, гонит, заставляет спешить, но это вовсе не значит, что мы не помним тебя. Все, кто жив, помнят, гордятся тобой, хвастают!

Шестьдесят лет не так уж и много, если, конечно, правильно считать. Ну, скажем, так: три раза по двадцать. Пустяки! Так пусть тебе будет еще раз пять по двадцать, а теперь приготовься — будем целоваться!

И все стали бабушку целовать, обнимать, а под конец немного покачали.

В первый момент Радик даже не сообразил, что случилось. Потом до него все-таки дошло, что молоденькая девушка на

фотографии — его бабушка. Ну конечно, такой она была давно. И только из шумных приветствий и тостов он узнал, что его бабушка была когда-то знаменитой парашютисткой, чемпионкой и рекордсменкой. И еще он узнал, что генерал Вова был влюблен в его бабушку, только побаивался ее славы и поэтому молчал.

Новые гости совершенно заслонили собой всех, кто сидел за столом. Нет, они были воспитанными людьми и ничего такого себе не позволяли, просто Радик не замечал уже ни тети Киры, ни дяди Гриши, ни Клавдии Васильевны, ни дяди Феди, ни даже супругов Фальковых — все они как-то сразу отодвинулись на второй план, ближе к мебели.

Радик поглядел на маму — она была очень довольна, щеки ее сделались совсем красными, и она что-то говорила загоревшему мужчине в темно-сером костюме, тому, что вошел самым первым. И мужчина все время улыбался.

Радик поглядел на папу — он был и доволен и, пожалуй, растерян одновременно. Радик подумал: «А ты тоже ничего не знал!» И ему сделалось не по себе. Он тихонько выскользнул из-за стола, прошмыгнул в комнату, где на диване спала Люба, растянулся с ней рядышком и, сам не понимая почему, еле слышно заплакал.

А за стеной шумели, включали магнитофон, двигали стулья, танцевали.

Постепенно Радик успокоился и лежал тихо.

В комнату вошла бабушка. Глаза у нее блестели, лицо пылало. Она подошла к зеркалу, показала себе язык и стала пудриться. И только теперь она заметила Радика, его заплаканную физиономию.

— Ты чего, Лопушок, ошалел? Что случилось?

— Ничего, — сказал Радик и отвернулся к стене.

— Как ничего, Лопух, когда нос зареванный?

— Эх, бабушка, бабушка, — только и сказал Радик и снова тихонечко заплакал.

— Что такое? Ну?

— Эх, бабушка, почему ж ты не говорила никогда, какая ты? А я думал... я думал, ты... — дальше ничего разобрать было невозможно.

— Какая я? Какая же я, по-твоему?

— Ну, герой...

— Дурачок, Радька! Да самая я обыкновенная...
— А почему он сказал тогда: «Честь имею...» — и все такое?
— Кто сказал?
— Генерал... Вова...
— Это он пошутил, Радька. Обыкновенная я. Просто счастливая. Ну, все. Сейчас же пошли умываться. Тихонько, чтобы никто не заметил. Вставай!

СТАРАЯ ИСТОРИЯ

Рассказ хирурга

Начну, наверное, не по правилам, но, пожалуйста, не судите меня слишком строго. Ведь я и сам понимаю, что берусь не за свое дело. Врачу лечить надо, а не рассказы писать. Может быть, я зря лезу, даже скорее всего — зря, и не взяться не могу: должен.

Конечно, история моя старая, теперь даже очень старая, быть может, она и не взволнует вас, но все же послушайте.

Дед мой был медиком, отец — тоже, и старший брат по этой части пошел. Ну, и я.

В двадцать три года окончил институт. Послали в районную больницу. Работал за Волгой. Обыкновенно, я бы сказал, работал. Звезд, что называется, с неба не хватал, ну, и портачить особенно не портачил.

Больница была маленькая, так что делать приходилось все — и за хирурга, и

за глазника, и за акушера действовал. Вот, пожалуй, только зубы не лечил...

Работал и о высоких материях не задумывался: о призвании там, о специализации или, скажем, о научной деятельности. Таких мыслей не было. Лечил людей, читал книжки, на рыбалку ходить приспособился. Дружил с одним учителем — хороший был парень. Вот, кажется, и все. Так три года.

А потом началась война.

Меня, естественно, в армию взяли. Работы — и на фронте и в тылу — нашему брату медику тогда хватало. Сами понимаете. Оперировать приходилось много, даже очень много. И рисковать хочешь не хочешь случалось. За такое брались, что в мирное время во сне и то не взялся бы. Но мне везло. Почему — не знаю, однако везло. Как-то, я бы даже сказал, слишком легко все получалось. Начальство хвалило. И звания досрочно присваивали и награждали. Словом, пожаловаться не на что.

Спал только мало. Ну, тогда все мало спали. И уставал как собака. А кто не уставал? Война.

Теперь многие подробности позабылись. Вот больных своих, например, еле-еле припоминаю, хотя операции, особенно трудные, как сейчас вижу. Не все, конечно, но большинство. Закрою глаза, и будто мне в кино все снова показывают. Только пленка, случается, рвется и части бывают перепутаны...

Где, когда это было, точно не скажу уже, а было: приволокли мне однажды парнишку раненого, солдатика, проникающее ранение в брюшную полость, пульс не прощупывается, давление не определяется. А тут еще бомбят, свет мигает... Взял на стол. Сразу кровь переливать. Сделал ревизию — совсем табак дело: стенка кишечника в трех местах нарушена... Ну, думаю, все — опоздал, не мучь человека зря. Знаю, обозлиться надо, иначе ничего не выйдет. А я устал, устал как собака. Обозлиться мне один идиот помог. Дерг-дерг за халат: начальство-де, мол, вас спрашивает. Ну, и послал я тут всех: и начальство и подхалима того. Прямо озверел. Три часа ковырялся. Вытянул мальчишку. До сих пор удивляюсь. А лицо солдатика, вот убейте, не могу припомнить. Впрочем, это уже лирика, не стоит распространяться...

Песной сорок третьего дежурил я по госпиталю.

Время выдалось более или менее спокойное, растянулся на кушетке и собирался было вздремнуть. Минуточек так двести. Тогда любил говорить: «Эх, и вздремнуть бы сейчас минуток шестьсот!» На шестьсот рассчитывать не приходилось, но и двести меня устроили б. Однако не вышло. Приходит сестра, говорит:

— Товарищ капитан, там вас какой-то лейтенант спрашивает.

— А в чем дело?

— Не знаю. Вроде по личному вопросу. Очень, говорит, вы ему пужны.

Чертыхнулся я в сердцах. Так спать хотелось, и возможность вроде была. Но ничего не поделаешь — дежурный, объясни. Говорю сестре:

— Ведите вашего лейтенанта. — Сестра ушла, через пять минут возвращается, предъявляет мне лейтенанта. Совсем молоденький парнишка, вроде того солдатика, с проникающим ранением в брюшную полость. Похож, вроде брата. Глаза синие. Чубчик из-под пилотки торчит. Рукава гимнастерки коротки, а сапожищи, наоборот, велики. Словом, с виду так себе вояка, прямо сказать, не гвардейского сорта.

Вошел, представился и стоит.

Не буду терять время и передавать в подробностях, как он сначала мекал и бекал, а я злился и хотел уже просто-напросто послать его куда подальше. В конце концов вот какой приблизительно у нас разговор вышел:

— Откровенно вам скажу, доктор, честно: мы на переформировке. Тут, значит, в городе. А за шестьдесят километров — Мохово. Не слышали? Мохово! Сам я оттуда. Мать, две сестренки там. Отца нет. На фронте. Ну, мне б денька два надо — и все. — Это он говорил.

— Два денька тебе надо? Понимаю, только я тут при чем? К своему комбату иди...

— Ходил...

— И что?

— Ничего. Пустой номер. Сказал: нет!

— А я что?

— Вы, товарищ военврач, можете. Вы только поймите — год посемь месяцев на фронте. Мать дома, две сестренки,

отца нет. И всего тут шестьдесят километров. — Это он говорил.

— Ну, а я-то, я-то что могу?

— Вы можете, доктор. Все равно, пока мы на переформировке стоим, время так, впустую пропадает... Мне бы два денька только.

— Два денька, два денька — заладил, как попугай! Где я тебе эти два денька возьму, ты соображаешь?

— Соображаю. Справочку выпишите, а? И все. Порядок.

— Какую справочку?

— Обыкновенную: значит, что такого-то и такого-то числа лейтенант такой-то находился в госпитале из-за какой-нибудь там болезни. Какой — этого я не знаю, это вам лучше знать...

— Из-за болезни?! Придумал тоже. Госпиталь наш хирургический. И никаких больных тут нет, одни раненые.

— Ну и что, я тоже раненый. — И он задрал гимнастерку вместе с нательной рубахой.

Гляжу — по всему животу шрамы. Ясно — осколочное ранение было. Заштопали на скорую руку. Спрашиваю:

— Мина?

— Мина.

— Когда?

— Давно. Прошлый год еще.

— Ладно, — это я сказал. — Хрен с тобой, дам справку. Не подведешь?

У малого даже губы задергались:

— За кого же вы меня, доктор, считаете? Мать ведь в Мохове, две сестренки, отец на фронте... Я, товарищ капитан, год восемь месяцев в действующей армии нахожусь, не маленький уже, понимаю.

— Хватит. Держи справку и катись. Спать я хочу.

Но он еще раз десять меня поблагодарил и только тогда ушел. А я лег на кушетку, хотел заснуть — не спится. Даже не знаю почему. Нет, я его не жалел. Война была. Чего жалеть? Живой ведь! Ну, а то, что раненый, так к этому я привык. Угрызений совести я тоже не испытывал. Ну, дал ему липовую бумагу, так что ж — фронт от этого не пострадает, все равно на переформировании стоят, а человеку — радость и матери его — радость... Но все равно не спалось. Не могу даже объяснить почему.

Конечно, на другой же день я про этого лейтенанта забыл. Забот и так полон рот. Пришел — ушел, и, как говорится, бог с тобой.

Вспомнить о нем мне пришлось примерно через неделю.

Ни с того ни с сего вызывает начальник госпиталя. Иду гадаю: чего ему нужно? По службе вроде порядок, вне службы был пьян не был, спирт казенный не разбазаривал... Словом, никаких грехов за собой не знаю. Спокойно иду. В кабинете докладываю:

Товарищ полковник медицинской службы, капитан Соболев по вашему приказанию явился.

Тут следует, пожалуй, замечание одно сделать. Полковник наш не кадровый был. В мирное время вел обыкновенную гражданскую клинику, считался хирургом первой руки и всю воинскую премудрость — звания там, рапорты разные — не любил, да и не очень-то в них разбирался. Был наш полковник обыкновенным милым профессором, добрым стариком.

— Садитесь, пожалуйста, Петр Петрович, — говорит полковник, — и вот объясните товарищу...

Да, я забыл сказать: рядом со стариком сидел незнакомый майор. Между прочим, без халата он был. Сначала я не обратил на него никакого внимания. Майор и майор. Обыкновенный... Но тут я поклонился и повторил:

— Капитан медицинской службы Соболев. Чем могу служить?

Не знаю, видел ли он меня или не видел, но уж наверняка не слышал. Лицо у него было какое-то отсутствующее, незрячее. Бывают такие лица — выключенные, отстраненные от всего. В толпе они не выделяются, а с глазу на глаз дело с ними иметь неприятно...

— Лейтенанта такого-то знаете? — Это майор спросил.

— Нет, не знаю. — Забыл я про лейтенанта, начисто из головы вылетел.

— Странно и не очень умно. Вы — офицер, капитан Соболев, и быть честным — ваш служебный долг.

— Не знаю я такого лейтенанта, товарищ майор! А в чем, собственно говоря, дело?

— Потрудитесь отвечать на мои вопросы. — Это майор сказал.

— Петр Петрович, голубчик, не горячитесь. Дело серьезное, и горячность может вам весьма повредить. — Это наш старик сказал.

— В процессе дальнейшего разговора я попрошу вас, товарищ полковник, только присутствовать. — Это майор сказал.

— Милостивый государь!.. — взвился было наш старик, но как-то сразу скис, замолчал, нахохлился и больше уже ни во что не вмешивался.

А майор продолжал:

— Этот документ вам знаком? — и он протянул мне ту самую справку, что я написал несколько дней назад.

— Да, — сказал я, — этот документ мне знаком.

— Вот видите, а вы говорили, что не знаете лейтенанта. Потрудитесь объяснить, каким образом появилась эта справка.

Объяснить, мне казалось, нетрудно, и я стал рассказывать. Все рассказал. Чистую правду.

Майор слушал внимательно и безучастно. А старик наш напротив — все время ерзал, вздыхал и, казалось, хотел вмешаться, но так и не открыл рта.

Когда я кончил, майор сказал:

— Очень трогательно. Но ведь вы не так наивны, капитан.

Я промолчал.

— Вы, разумеется, не рассчитывали, что на вокзале может быть общая проверка документов? Вы не думали, что ваш голубчик может попасть в соответствующие инстанции? — Это майор спросил.

— Нет. Об этом я не думал.

— Сколько у вас денег, капитан?

— Что?

— Денег у вас сколько?

— Точно не знаю, — сказал я и полез в карман.

— Не трудитесь. Те деньги, что у вас в кармане, меня не интересуют. Скажите лучше, откуда вот эти? — и он выложил на стол довольно толстую пачку червонцев.

— Понятия не имею, — сказал я. И это тоже была чистейшая правда: деньги, предъявленные майором, я увидел впервые.

Да? Очень интересно! А между тем час назад эта пачка вынута из нашего чемодана...

— Позвольте вам доложить, товарищ майор, что чемодана у меня вообще нет, у меня вещевой мешок...

— Не знаю, что вы собираетесь еще плести, капитан, но у меня в руках акт. Ясно? И деньги эти изъяты из ваших личных вещей...

Все это было так неожиданно и нелепо, что я даже не почувствовал, мне и в голову не могло прийти, какие неприятности таит в себе эти дурацкие червонцы. Сначала я валялся. Вернее, пытался защититься. Но майор меня не очень слушал. Ему все было ясно, и в руках у него был акт.

Справку я действительно дал. Липовую справку. И в этом был виноват. А денег за справку не брал. Хотите верьте, хотите не верьте. И это была моя позиция.

Его позиция, к сожалению, была иной. Он видел во мне преступника. Выточенного. Косвенного пособника врага.

А время то было суровое. Качались фронты, решалась судьба всей страны, целого народа. На этом фоне дело какого-то капитана медицинской службы Соболева выглядело совершенно ничтожным.

Словом, меня передали в трибунал.

Решение было скорым и окончательным: погони — долой! С должности — вон! Отправить рядовым в штрафбат.

Когда объявили приговор, я не упал в обморок. Я уже был готов к такому решению. И только об одном спросил я председателя трибунала: как фамилия того сволочнейшего майора, с чьих рук я должен был идти «искупать кровью» и свою вину (не такую уж, по совести говоря, большую) и его безграничную подлость (ведь деньги были его крчленным козырем и той гнусной игре за власть, положение, авторитет, которую он вел в своих интересах). Как ни странно, председатель трибунала удовлетворил мою просьбу:

Фамилия майора — Куржак, Кирилл Федосеевич.

Логично мне от этого не стало. Но Куржака я запомнил.

С тех пор случилось многое. Как видите, я выжил. Правда, окромя в штрафбате, но все-таки выжил. Был восстановлен в звании и в должности, был награжден новыми орденами, был в свое время, уже после войны, уволен в запас. Все это, так сказать, в личном плане. Ну, а в государственных масшта-

бах вы и сами знаете, какие произошли изменения, куда что сдвинулось, об этом я говорить не буду. Одно только замечу: Кирилла Федосеевича Куржака и всех остальных куржаков я ни забыть, ни оправдать, ни помиловать не могу. Время не уменьшает подлости. Прав я или не прав — не знаю, но все равно изменить ничего не могу.

Теперь слушайте дальше.

Месяца полтора назад сижу в кабинете. День у меня был не операционный, занимаюсь всякой там волокитой. Стучат. Заходит Лева Хомутов. Хомутов — мой приятель, он тоже хирург. Заходит и говорит:

— Петр Петрович, привет! Оторвись от своих государственных бумаг и взгляни на мой пальчик.

Ну, я оторвался, конечно, глянул.

— Типичный, — говорю, — панариций (это по-человечески значит — нарыв). Как тебя угораздило?

— Как угораздило — наплевать! Ты лучше скажи, что мне делать. На десять тридцать назначена операция. Резекция желудка. На поклон к тебе пришел. Подменишь?

— Какой диагноз?

— Язва. Но рентгенолог не исключает рак. Мужик у пятидесяти с хвостиком. Тучный. Здоровый мужик. Неприятностей не должно быть. Я бы операцию перенес, но, понимаешь, настроил уже человека, жалко откладывать. Выручишь?

— А кто ассистирует?

— Лева-маленький и Лева-большой.

— Черт с тобой, — говорю, — придется выручить. Только ты веди счет. Это будет уже 2 : 0!

— Как 2 : 0?

— А так! Кто к шефу за тебя ходил, кто клячил?.. То-то! Посмеялись. Я сказал:

— Скажи, чтобы историю болезни принесли. И не беспокойся, все сделаю. А ты не забывай — 2 : 0...

Лева-главный (так он у нас называется) ушел. Минут через десять сестра принесла историю болезни.

Открываю, читаю: Куржак, Кирилл Федосеевич, год рождения 1910, профессия — юрист. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Ожирение первой степени...

И так мне тошно сделалось, не могу передать.

Отказаться? Но что я скажу Лева-главному, и Лева-маленькому, и Лева-большому, и вообще всем?..

Мне не нравится больной? Но это же не повод. Он подлец, сумки сын со стажем, но ведь и это не причина. Лечат, оперируют, обхаживают всех одинаково. Человек? Человек! А значит, все законы гуманизма распространяются на него. И до моих переживаний никому нет и не должно быть дела...

Слоном, соперничал я его. В общем благополучно. Живой. Выписался уже.

Теперь утешаю себя: ты — врач, а у врача не может быть врагов.

ЛОНГ ЛИВ...

Это был их первый юг вместе. Весенний, еще не жаркий, пронизанный легкой синевой неба, обласканный тихим морским прибоем, богато расцветивший голубовато-сиреневым дымом глициний, бархатистым буйством иудиного дерева и первыми, еще робкими свечами белых магнолий. Юг неспешный, некурортный, очень спокойный, дремлющий.

Они приехали вечером, без труда нашли комнату — маленькую, чистую, недорогую. До моря — два шага, до рынка — шагов пять. Словом, как раз то, о чем можно было только мечтать.

Кое-как раскидав вещи, наскоро сполснувшись под умывальником, они ринулись к морю, на набережную. Брели в сумерках, прислушиваясь к воркотне дремлющих волн, к далеким всплескам музыки — где-то на рейде сиял экскурсионный теплоход, и веселье доносилось с

его праздничных электрических палуб. На глаза им попался старик; он стоял, прислонившись к фонарному столбу. Старик был сутул, невероятно широк в плечах. Руки его едва не доставали колен. В неверном голубоватом освещении лицо старика казалось не лицом, а огромным печеным яблоком, с нелепо приставленным к нему крючковатым тяжелым носом.

Валера подтолкнул Люду — дескать, гляди, гляди, какое страшилище. Люда тихонько ойкнула. И почти шепотом, на всякий случай по-английски, сказала:

— Лук эт зис ноуз. (Погляди только, какой нос.)

И тут случилось нечто совершенно непредвиденное: старик вскинул свою обезьянью ручищу к лицу и, отвернув пятерней нос в сторону, ответил:

— Уил ю пасс, бьюти (проходите, красавица), дорога свободна!..

Они так растерялись, что опрометью кинулись бежать от старика. И потом долго не могли отдышаться.

Люде было стыдно, а Валера смеялся и все повторял:

— Ну влипли! Ну влипли! И кто ж его мог знать, что обезьян английский!

В тот вечер они видели старика еще раз. Он сидел на парапете набережной и глядел в море. Лицо его было спокойно, губы плотно сжаты. Сигарета потухла. Что он видел в темнеющей морской дали, о чем думал — угадать было невозможно.

Люда запомнила: старик был одет в потрепанные хлопчатобумажные брюки, в грязную куртку с двумя большими карманами. Под горлом у него голубели полоски застиранной тельняшки. На голове глубоко сидела морская фуражка в бывшем некогда крахмальном и жестком, а теперь измятом и жалком чехле.

На этот раз они обошли старика стороной.

А на другой день утром он им попался снова. Старик сидел в кофейне, за крайним, самым близким к воде, столиком. Его тяжелая темная рука осторожно сжимала крошечную чашечку. Он прикрыл глаза, сделавшись похожим на большую ночную птицу, и слушал море.

Вдоль берега протарахтел катерок. Старик повернул к морю волосатое ухо и, не открывая глаз, повел головой следом за катером.

— Чудной, — сказал Валера.

— Тише, он может услышать и может нас узнать,— сказала Люда и низко опустила лицо.

— А что я такого говорю? Что особенного?

— Абер эр ист я нихт шульдиг (но он же не виноват),— начала было по-немецки Люда, но не закончила. Старик открыл глаза и низким, глухим, будто надтреснутым голосом сказал:

— Зие хабен рехт, фрейлейн, их бин вирклиг нихт шульдиг (вы правы, барышня, я действительно не виноват). И стоит ли так серьезно переживать чужое уродство?..

И снова Валера и Люда пустились наутек..

— Ой, как неудобно, как неловко получилось! — переживала опять Люда. Валера ее успокаивал:

— Да плюнь ты, ну кто мог знать, что он и по-немецки рубит? Интеллигент. Лингвист, черт его подери!

* * *

Перед обедом Люда собралась на почту. Сказала Валере:

— Пошлю маме телеграмму.

— Нежности,— сказал Валера и усмехнулся.

— Но я же обещала.

— А кто возражает?

— Мне кажется, что ты не хочешь...

— Почему? Посылай на здоровье, и пусть мамочка тает от нежности и умиления.

— Валера!

— Что Валера?

Люда не ответила. Рассердилась. Ушла.

День был солнечный, ветреный, веселый. Стекла в домах отражали тонкие, стремительные кипарисы, вспыхивали в отсветах, слетавших с автомобильной хромировки зайчиков; в саду горланили загоревшие, как черти, мальчишки. Далеко над горами стрекотал маленький вертолет — то ли обследовал лесной массив, то ли опылял плантации, то ли просто радовался дню, солнцу, югу. Но настроение у Люды испортилось. Конечно, Валера был самым лучшим, самым красивым, самым независимым человеком на земле, но иногда он умел делаться просто невыносимым.

Почему нежности? — думала Люда. Мама ничего плохого Валере не сделала. Она так радовалась поездке, так хлопотала, собирая их в дорогу. Денег добавила и вообще...»

И тут Люда увидела давешнего старика. Тяжело топая грубыми, пудовыми ботинками, слегка раскачиваясь на ходу, он шел ей навстречу. Спрятаться было некуда, еще раз бежать — невозможно. Отвернуться? Нет, Люда не отвернулась.

Старик внимательно глянул на Люду, небрежно кинул руку к козырьку морской фуражки и, хитро подмигнув черным живым глазом, сказал:

— Гуд дей!

И Люда остановилась. Сама не понимая, как это случилось, залопотала:

— Простите, ради бога, так неловко вышло, я прямо даже не знаю... Только вы, пожалуйста, не обижайтесь...

Но старик вроде бы и не слушал Люду.

— Вы знаете, что главное в жизни? — спросил он, словно возвращаясь к старому, случайно прерванному разговору.

— Нет,— сказала Люда,— не знаю.

— Главное — никогда не произносить лишних слов.— И он пошел своей дорогой, уродливый, очень спокойный.

* * *

Они жарились на солнце. Они купались в прохладной воде. Они лазали в горы. Они загорели как негры. Они пили легкое абхазское вино. Они слушали вечерами музыку. Они завели новых знакомых. Все было просто великолепно. И только старик отравлял Людино существование. Он попадался на ее пути всюду: в городе, на пляже, в кофейне, в вестибюле гостиницы «Интурист», где Люда покупала английские газеты. (В иностранном языке нет ничего важнее практики!) Чаще всего старик не замечал их. Чаще всего он или слушал море, или вглядывался в швартующийся пароход. Несколько раз, однако, он узнавал Люду, и тогда улыбался ей, и неизменно скидывал руку к козырьку, и вежливо произносил:

— Гуд монинг...

Или:

— Бон жур...

Или:

— Гутэн абэнд...

И каждый раз Люда терялась, и у нее портилось настроение, а однажды она даже сказала:

— Я больше не могу, Валерий, давай лучше уедем отсюда.

— Чего? Ты что, тронулась? Какая-то старая обезьяна, какой-то пропойца будет гипнотизировать тебя? Будет отравлять жизнь? Да, если хочешь, я его сегодня же запросто отрегулирую...

— Что значит «отрегулируешь»?

— А очень просто: поставлю двести граммчиков — и будь здоров, Капсюшкин, примораживай...

— Валера!

— Что Валера?

— Ничего.

* * *

Под вечер они пошли в кофейню. Старик сидел на своем обычном месте, зажав, как всегда, в здоровенной темной ручище крохотную чашечку кофе.

Валера заказал кофе, две порции коньяку, конфет. Получив все, что он просил, с пластмассовым подноском в руках Валера направился к столику старика. Он поставил на голубую исцарапанную столешницу свой подносик, плюхнулся на стул и сказал:

— А не пора ли нам познакомиться, капитан?

Старик приоткрыл глаза, не выразил ни удивления, ни радости, ни осуждения. Казалось, он медленно возвращается из какого-то очень далекого далека. Возвращается с трудом.

— Ну, так что, — сказал Валера, — выпьем?

— Если вам угодно, — сказал старик.

— Меня зовут Валерий, а это моя жена, Людмила...

— Димитриади, — сказал старик, помолчал, словно вспоминая, добавил: — Михаил Константинович... В отставке...

— Ваше здоровье, капитан!

Валера выпил.

Старик неторопливо покрутил в пальцах свою рюмку. Потом сказал:

— Мерси, — и тоже выпил.

— Ну вот, порядок! — сказал Валера. — Значит, дружба, капитан?

— Почему? — спросил старик.

— Но мы же выпили!

— Ну и что? Мало ли с кем приходится выпивать! — Старик вздохнул. — Вы мне не нравитесь, молодой человек.

— Почему?

— Потому что вы нахал. Но это еще ничего. С годами нахальство может пройти... Хуже другое... Впрочем, объяснять вам, что хуже, нет смысла: вы не поймете, а жена ваша расстроится... — И капитан закрыл глаза, показывая, что аудиенция окончена.

* * *

Они шли по набережной. Людмила молчала. А Валера говорил, говорил, говорил и никак не мог остановиться:

— Ну скотина капитан! Ну подлец! Коньяк заглотнул — не охнул, а потом, видите ли, я ему не нравлюсь. Ну морда! Ну старый дурак! — Наконец Валера остановился, передохнул и словно подвел итог: — И пятнадцать восемьдесят пять коту под хвост...

— Валера!

— Что Валера? Что? Что? Что?

— При чем же тут деньги?

— Спроси еще, при чем тут кот и при чем тут хвост!

— Валера!

— Дура ты, Людка. Вот что я тебе скажу...

И тут они поссорились первый раз за три месяца их общей жизни и почти пятнадцать лет знакомства: они дружили еще с первых классов школы.

* * *

Потом они помирились. Валера просил прощения, казнил себя и бичевал себя. Люда сдалась, но в глубине души у нее так и остался неприятный осадок — устойчивый, едкий и неразстворимый.

Но юг делал свое дело: волны, накатывая на гальчатый песок, шептали о вечности; море, глядя их черные, почти негритянские тела, смыло обиды; солнышко и ветерок выветрили все плохое.

Вроде ничего и не случилось, вроде бы ничего и не было.

* * *

Однажды утром на набережной они увидели толпу. И конечно, подошли посмотреть, что случилось. Но оказалось, ничего не случилось. Просто к пирсу подвалил какой-то грузовой (не то пароходик, не то самоходная баржа), на берег кинули мостки и дожидались погрузки. Такое бывало здесь каждый

день, и Валера с Людой, недоумевая общему оживлению, собрались уже идти дальше, когда прибыл груз.

На пирс вели лошадей. Рыжие кони сияли на солнце, пританцовывали, прядали ушами. По толпе прошел легкий шепот восхищения. Действительно, лошади были сказочно красивы. В наше время моторов, скоростей, техники не так-то часто удается взглянуть на лошадей, и Валера с Людой задержались на пирсе. Коней вели мальчишки. Черные, курчавые, очень важные.

Первая лошадь, пританцовывая, мотая головой, спокойно приблизилась к сходням. Присела на задние ноги, нервно раздула ноздри и осторожно ступила на скрипучие доски. Вторая лошадь последовала за первой и тоже очень скоро исчезла в недрах грузовоза.

Все шло спокойно. Лошади проплывали по раскаленному асфальту причала и пропадали в, казалось, бездонном брюхе пароходика.

И вот шестая или седьмая по счету молоденькая огненная кобылка неожиданно взметнулась на дыбы и, вырвав повод из рук провожатого, заметалась по узкому пирсу.

Люди шарахнулись в сторону. Кто-то упал. Кто-то закричал. Кто-то прыгнул на стоявший рядом прогулочный трамвайчик и, не рассчитав прыжка, сорвался в воду.

А лошадь, обезумев от страха, подхлестываемая возбужденными человеческими голосами, словно челнок, сновала вдоль пирса и, не находя выхода, храпела все громче, все страшнее, все отчаяннее...

Люда запомнила девчонку в голубом коротеньком платье, каким-то образом очутившуюся между толпой и лошадью, кровавый, незрячий глаз рыжей кобылки, пронзительный крик, всплеснувшийся вдруг над морем... Люда испугалась и отчаянно закричала:

— Валера!

— Ну что, что Валера?..

Как Люда зажмурилась, она не заметила; когда открыла глаза увидела: вдоль пирса бежал старик. Он сорвал с себя куртку с двумя большими карманами. Старик бежал наперерез лошади, пригибаясь и странно взмахивая неестественно длинной рукой. Неожиданно над ним, словно флаг, взлетела куртка. Он сделал еще один прыжок, и голова лошади оказалась накрытой. Старик подхватил повод и тихо поглаживал

рыжую вздрагивающую шею. Кобылка сразу успокоилась и покорно пошла за человеком.

Тут откуда ни возьмись к лошади подлетел мальчишка-прожогатый; выкрикивая страшные ругательства и проклятья, он замахнулся кнутом, но ударить не сумел. Старик ловко поддал ему ногой под зад. Поддал, видно, сильно — мальчишка отлетел в сторону.

— Ты чего дерешься? Я ж не на тебя, а ты... — запричитал малый, но старик его не удостоил и взглядом. Он увел лошадь на грузовоз и сейчас же вернулся.

Старик громко топал по сходням неспешным, раскачивающимся своим шагом, поправляя фуражку. Был он не взволнован, не удивлен случившимся. Сделал свое дело и шел.

Люда ринулась к старику. Расталкивая каких-то незнакомых людей, тоже устремившихся к старому капитану, она первая схватила его за руку и, захлебываясь, стала говорить:

— Михаил Константинович, капитан... простите... разрешите... Я хочу сказать...

Старик узнал Люду, усмехнулся, обнял ее своей нескладной ручищей за плечи и сказал совсем тихо, в самое ухо:

— Стоп, девочка! Стоп! Ты забыла — главное, никогда не произносить лишних слов...

* * *

История эта давняя. Теперь ей уже много лет. Люда, точнее, Людмила Васильевна не любит вспоминать о Валере: давным-давно уже он ушел из ее жизни. Ушел навсегда. Этой весной мы были у моря. Люда и я. Мы поднялись в горы на старое, заросшее глициниями и иудиным деревом кладбище, разыскали могилу капитана дальнего плавания Михаила Константиновича Димитриади. Мы положили на белую надгробную плиту огненные маки. Постояли молча и ушли.

А вечером мы оказались в старой кофейне. В той самой. Мы глядели на темнеющее море, прислушивались к всплескам музыки, долетавшим с парохода. И Люда сказала:

— Давай выпьем.

Нам принесли самое лучшее абхазское вино — легкое, чуть вяжущее рот. Я налил бокалы. Люда подняла свой и, глядя не на меня, глядя в море, сказала:

— Лонг лив!..

ЛЮБИТЕ ЦИРК, МАЛЬЧИКИ!

Кобрин долго смотрел в окно, тщетно пытаясь собраться с мыслями. Как глупо, как непростительно глупо все получилось. Конечно, ему никто не желал зла. Ну, позвали и спросили: «Пьешь?» В этом еще не было ровным счетом ничего оскорбительного. Он пожал плечами, усмехнулся и ответил: «Случается... Кто нынче не пьет?..»

И все, может быть, обошлось бы еще по-мирному, если б не взял слово полковник Симонин. Худой, морщинистый, желчный, полковник говорил долго и зло:

— Вы, Кобрин, на войне были. Мы это знаем, ценим и помним. И каким вы снайпером были, тоже помним, и что про вас тогда в газетах писали, мы не забыли. Но кто дал вам право позорить доброе имя и честь фронтовика? Конечно, формально можно рассуждать и так: человек вышел на пенсию и, стало быть, волен до-

живать свой век как ему заблагорассудится. Но мы не хотим и не будем становиться на формальную точку зрения... — В этом месте своей речи Симонин повысил голос и перешел на «ты». — Это вовсе не твое личное дело — пить или не пить, Кобрин! Это наше общее дело: пьешь ты, а тень на всех нас падает. Не позволим!

Под конец Симонин и вовсе разошелся. Не говорил — кричал. И Кобрин не выдержал.

— Не ори, — сказал Кобрин, — не испугаешь. Понял? Лучше спросил бы, с чего я пью. А лично моя тень, не беспокойся, тебя не замазает. Ты — чистенький и не волнуйся, Симонин, к тебе ничего не пристанет.

Зря он это сказал, совершенно напрасно. Все услышали его слова, но никто не попытался понять их смысл. Всех возмутило обращение бывшего сержанта к бывшему полковнику. Ему закричали с мест и из-за стола президиума: «Заносишься, Кобрин! Много себе позволяешь!..»

Ему записали строгое предупреждение и обещали в следующий раз влепить выговор, если он только не пересмотрит свое поведение. Кобрин ничего не обещал и ушел с собрания, ни с кем не простившись.

Теперь он сидел в своей неприбранной гулкой комнате, смотрел в скучное, выходящее в узенький пустынный переулок окно и ругал себя последними словами. Слава богу, не маленький. Ну что стоило встать и, не поднимая головы, промямлить: «Учту, исправлюсь... Благодарю за науку...» И все остались бы довольны, и персональное дело угасло б само собой. А теперь начнут его воспитывать, и каждый, встречая Кобрину во дворе, будет подозрительно поглядывать, не хмелен ли. Вот гадость-то какая получается.

В этот унылый вечерний час Кобрину больше всего хотелось махнуть на все рукой и, не думая о последствиях, тут же напиться. Не выпить, а именно напиться — жестоко, до беспамяतства. Однако он сдержался.

В дверь постучали, и в комнату вошел сосед по площадке Федоров. Он тоже присутствовал на собрании, но в отличие от других с самого начала и до самого конца сидел молча.

— Переживаешь? — спросил Федоров.

— Да нет, — сказал Кобрин. — Что мне переживать?

— Врешь небось, Иван Васильевич. Я бы на твоём месте переживал.

— Ну и зря, — сказал Кобрин.

— Пошли к нам, — позвал Федоров, — телевизор поглядим, потолкуем.

— Чуткость проявляешь? От себя лично или в порядке персонального поручения?

Федоров промолчал и, не дожидаясь приглашения, сел.

Темнело. Очертания предметов утрачивали свою четкость, краски выгорали. Только окно светилось ровным голубоватым светом.

— Слушай, Иван Васильевич, надо тебе дело приискать. Анну Михайловну, покойницу, все равно не вернешь. И на Петьку тебе обижаться нечего — морская служба известно какая: нынче здесь, завтра там... Все твои неприятности от тоски. Исключительно от тоски.

Кобрин вздохнул, а Федоров продолжал говорить:

— Вот припоминаю я, как ты нам про войну рассказывал. Сто семьдесят одного фрица уложить — это ведь не простая штука,



брат! А молодые растут и никакого понятия про твое снайперское ремесло не имеют. Верно я говорю?

— Допустим, — осторожно отозвался Кобрин, не очень понимая, к чему клонит сосед.

Федоров оживился:

— Не допустим, а точно! Точно, Иван Васильевич: ни черта они в этом деле не смыслят! А понимать им надо бы. Так?

— Понимать надо. Это верно.

— Ну вот, ну вот, ты бы и занялся, просветил их...

— Как то есть я их просвещать должен? Что-то непонятное ты говоришь.

— Нынче все воспоминания пишут. Кто мемуары, кто просто записки. Вот и ты бы занялся, а?

— Какой же из меня писатель?

— Ну, при чем тут писатель? Никто ведь не говорит: сочини роман. Просто напиши, как все по правде было. Как на снайпера учился, как на фронт попал, что она за война такая, какие задачи перед тобой ставились и как ты их выполнял...

— Шолохова из меня хочешь сделать? Чудной ты все-таки человек, Михеич. От доброты глупости болтаешь.

На том они и расстались. Как ни искренне старался Федоров уговорить Кобрина, не сумел. И все-таки разговор этот не прошел вовсе зря: какую-то часть груза с души Кобрина он снял. Какую? Этого Кобрин не сумел бы объяснить, однако чувствовал — полегче ему малость стало, посветлее.

* * *

На другой день Кобрин вышел в скверик. Там под старыми липами уже с утра собрались пенсионеры. Одни забивали «козла», другие с дотошностью обсуждали события международной жизни; третьи учиняли разбор поступков своих детей и внуков. Вытесненные из центра житейских событий, эти старые люди страстно искали деятельности, на худой конец — видимости участия в событиях, свершавшихся рядом с ними, но, увы, уже без них.

Кобрин присел на зеленую измызанную скамейку и задумался. Мысли его текли плавно, неспешно, сцеплялись друг с другом по совершенно непонятным ассоциациям.

То ему виделся зеленый речной откос, усыпанный красными земляничными ягодами. Это была страничка детства. Дале-

кого-далекого детства. То представлялось вдруг выжженное поле под Харьковом, и в памяти поплыли совершенно беззвучные «Юнкерсы»: самолеты с черными крестами валились на землю, и земля поднималась черными вулканическими выбросами. Его контузило тогда, и мир возникал в воображении совершенно немым, как в старинном кино...

Поднявшись с зеленой скамейки, Кобрин побрел вдоль скверика. Иван Васильевич не знал, куда он шел. Шел просто так, потому что сидеть больше не хотелось и думать ни о чем тоже не хотелось.

На углу скверика внимание Кобрина привлекла круглая тумба с афишами. Открывался осенне-зимний сезон на эстраде; в драматическом театре давалась премьера; только что из заграничных гастролей вернулся цирк. Цирковая афиша была самая большая и самая яркая. Рыжий лев щурил зеленые глаза, строго глядела громадина обезьяна, улыбалась хорошенькая акробатка. Кобрину показалось, что он вдруг услышал запах цирка, единственный, ни с чем не сравнимый запах того старого, довоенного цирка, когда арена усыпалась светло-желтыми опилками, когда еще не было капроновых заградительных сетей и перед выступлением хищников вокруг манежа устанавливались железные решетки.

Кобрин перешел улицу и в магазине канцелярских товаров купил школьную тетрадку в клетку.

Дома Иван Васильевич скинул пиджак, расстелил на обеденном столе газету и аккуратно расправил тетрадь. Подумал, чуть-чуть улыбнулся и написал:

«Я, Кобрин Иван Васильевич, родился, если это кому-нибудь интересно знать, в одна тысяча девятьсот двенадцатом году. Я родился в Саратове. Саратов — большой город на Волге. Мой отец работал тогда в порту, а я, когда дорос до положенного возраста, пошел учиться. Про школу помню вообще мало, но еще меньше — чего-нибудь хорошего. В школе было скучно и почти всегда страшно: учитель нас, ребятшек, терпеть не мог и больно дрался длинной деревянной линейкой. Как шелкнет, бывало, по макушке, так потом в голове гудит... Но хорошее я тоже помню, только не про школу. Однажды к нам в Саратов приехал цирк. Конечно, я пошел на представление, потому что очень любил цирк. И лошади мне нравились, и акробаты, и жонглеры. Клоуны тоже нравились. Звери — меньше: зверей мне всегда было жалко. В тот

раз в программе был один совершенно особенный номер. Помню как сейчас: на манеж выбежал человек в красных узких штанах, в красной куртке, расшитой по всей груди золотыми узорами, и громко выкрикнул, что он может, как какой-то Вильгельм Телль, сострелить яблоко с головы любого желающего. И стал вызывать желающих из публики. Но никто из публики не пошел. Тогда он сказал, что понимает, в чем дело: уважаемая публика не верит в его мастерство и боится. Тут служители вынесли две высокие тумбы. На одной из них было навешено всякое оружие: луки, пистолеты, ружья и даже рогатка с золотой ручкой, а на другой тумбе униформисты поставили графин, на графин — рюмку, а рядом цветочный горшок и еще бутылку.

Весело улыбаясь народу, человек схватил пистолет, отбежал шагов на двадцать от тумбы и, как мне показалось, вовсе не целясь, грохнул из своего здорового пугача. Рюмка на графине разлетелась вдребезги, а графин как стоял, так и остался стоять. Все захлопали. А он взял ружье, попросил тишины и, прицелившись, отстрелил с цветочного горшка маковку анютиноглазка. Очень хорошо помню, как он что-то шептал на ухо служителю, и тот побежал к ложе и передал цветок какой-то расфуфыренной девице.

Потом человек стрелял из лука и из золотой рогатки. Он разбивал стрелой подброшенное вверх яйцо, попадал в елочные украшения, подвешенные на веревочке, и творил еще много всяких чудес. Публика ревела и хлопала как ненормальная.

И тогда из-за занавески вышла девочка в красном костюме, в маленьких лаковых сапожках и подала человеку здоровенное яблоко. И он снова стал говорить про какого-то Вильгельма Телля и предлагал желающим выйти на арену. Мне очень хотелось сбежать с галерки вниз, но я стоял далеко от прохода, и потом я стеснялся. А больше никто из публики, наверное, не хотел выходить, потому что так никто и не вышел.

Человек сделал вид, что он очень огорчен, даже схватился за голову обеими руками, но вдруг сразу же успокоился и стал что-то говорить девочке на ухо. Девочка заулыбалась, присела в реверансе и сразу же побежала в дальний конец арены. Он сам поставил яблоко ей на голову, взял самый здоровенный лук и медленно стал отходить на другую сторону манежа. Пока он шел, музыканты играли тихую музыку и прожекторы освещали цирк то красным, то желтым, то зеле-

ным светом. Потом сделалось совсем тихо. У меня вспотели ладони. А он медленно натянул тугую тетиву лука. Мне кажется, я даже слышал, как просвистела стрела. И тут же яблоко исчезло с головы девочки, и все люди в цирке начали кричать и хлопать еще сильнее, чем раньше...»

Написав все это в школьной клетчатой тетрадке, Кобрин почувствовал себя смертельно усталым, отложил ручку и долго глядел в окно.

* * *

На другой день Кобрин продолжал писать. Теперь он рассказывал о том, как долго и безуспешно искал встречи с удивительным стрелком, как эта встреча, наконец, состоялась и какое она принесла ему разочарование. В нормальной, повседневной жизни циркач вовсе не казался ему молодым, красивым и сильным, как на манеже. Пожилой, усталый мужчина говорил лениво и бесстрастно. И смысл его слов сводился к тому, что номер у него трудный, что готовил он его много лет, что работа на манеже ужасно изматывает, что тренироваться приходится каждый день часов по шесть-восемь, что за все двадцать лет работы в цирке он ни разу не мог взять сам у себя отпуск хотя бы на неделю...

Восторг мальчонки Кобрин, его готовность последовать за цирком хоть на край света никакого энтузиазма у этого пожилого человека не вызвали. Он слушал, качал головой и грустно, словно глухой, улыбался.

И все-таки в этой встрече было одно незабываемое, решающее мгновение. Об этом мгновении старый Кобрин писал так:

«В конце концов я понял, что мне пора уходить. Уходить не хотелось, но ничего другого просто не оставалось делать. Заикаясь, путаясь в словах, я стал прощаться. И тут он поднял с земли камушек, указал пальцем на спичечный коробок, валявшийся около газона, и сказал: «Видишь?» Конечно, я видел. Он неторопливо размахнулся и бросил камушек. Коробок, как живой, подпрыгнул и выскочил в траву. И тогда я почему-то сразу поверил: во всем, что делает этот удивительный человек, действительно нет никакой тайны. Он на самом деле не показывает фокусы, он просто открывает перед людьми свое умение. До тех пор мне всегда казалось, что все в цирке держится на каких-то секретах. И стоит приглядеться повниматель-

нее к тому, что происходит на манеже, стоит сделать над собой усилие, и тайна раскроется. Теперь я знал: тайны нет. Это было горько...

И еще он сказал: «Вот так, вот с этого я начинал». Он достал из кармана большой перочинный нож, раскрыл его, бросил и, как мне показалось, безо всякого труда попал в малюсенький сучок на старой липе. «Так тоже надо уметь».

Через несколько дней цирк уехал из Саратова. А я остался. И... начал бросать в цель все, что ни попадалось под руку: камушки, палки, бутылки, мячик... Меня лупил отец. При этом он без особой злости приговаривал: «Здоровенный дурак вымахал, а чем занимаешься? Делать тебе нечего?» Меня постоянно ругала мать. Соседи по дому сочувственно покачивали головами: «Попортился Ванька», — и жалели не столько меня, сколько родителей. И все равно — я целился и швырял, целился и швырял, швырял все подряд».

Давно уже замечено: когда человек начинает делать что-нибудь непривычное, люди прежде всего склонны его осудить. Поведение Ваньки Кобриня казалось всем странным, занятие — нелепым, а упорство, с которым он предавался своей страсти, порочным. Над ним постоянно посмеивались, его с удовольствием дразнили. И его стали сторониться. А так как похвастать успехами он пока еще не мог и поразить окружающих тоже ничем не мог, довольно скоро всеобщая молва порешила: парень свихнулся.

Временами он сам себе становился в тягость; хотел плюнуть на все, но не получалось. Казалось, все камни на земле сделались железными, а ладони его — магнитными...

* * *

Однажды совершенно случайно Кобрин забрел на городской базар. В дальнем углу увидел пестро размалеванную будку и призывный плакат: «5 выстрелов за 3 копейки». И хотя ему и прежде случалось бывать на рынке, он никогда не замечал этого заведения и даже не подозревал, что на свете существуют платные тиры.

«Раньше я как-то вовсе не думал про деньги, наверное, потому, что денег у меня никогда не бывало, да и дома деньги водились не густо. Просить у матери на тир я, конечно, не

мог. А если б и попросил, то она бы ни за что не дала. Паловство.

Теперь я засыпал и просыпался с мыслью: «Где взять три копейки?» Я собирал пустые бутылки на пристани, предлагал свои услуги лавочникам, пробовал подносить чемоданы на вокзале. Я был маленьким, худым и слабым и делать настоящую работу еще не мог. Добывать медяки было ужасно трудно. И все копейки, которые мне удавалось заработать или перехватить, я простреливал. Взрослые пропивали, проигрывали в карты, я — простреливал.

Потом мне неожиданно повезло. Хозяин базарного тира, толстый, сонный, противный, заметил меня. Сначала, когда он спросил: «Ты чего тут толкаешься, парень?» — я просто испугался и подумал: «Сейчас выгонит». Но оказалось, что он вовсе не собирался меня прогонять. Хозяин решил меня использовать в своих интересах. А интерес у него был простой: деньги! И он раскрыл мне свой план. Мушки на его ружьях были чуть-чуть сбиты, и попасть из такого духовика в цель было почти невозможно. Надо было очень хорошо стрелять, чтобы, сделав пять-десять пристрелочных заходов, сообразить, какую брать поправку. К тому же хозяин бессовестно обманывал посетителей. Если человек клал пульки левее мишени, он показывал на чужие пробоины и говорил: «Низковато лежишь», или наоборот: «Высоковато метишь». А тир у него был не простой — с призами. Можно было «выстрелять» самовар, можно было добыть будильник или бутылку шампанского. Только никому из стрелков почти никогда ничего не доставалось. И охотников лодыгать счастье становилось все меньше и меньше. Вот хозяин и стал учить меня стрелять. Больше мне не нужно было раздобывать копейки: он учил меня задаром. Скоро я знал все ружья, все особенности их жульнического боя. И тогда началась работа. В базарный день я появлялся в тире как незнакомый. Клал на стойку затертый пятак и просил пулек на все. Хозяин сначала вроде и не замечал меня, занимался с настоящими посетителями, потом говорил: «На-ка, парень, пульки, бери вон то ружьецо, оно полегче, и давай быстренько». Первые три выстрела полагалось мазать. Хозяин меня в это время подначивал: мол, от горшка три вершка, а туда же, в стрелки лезет, или: снайпер новый, только прицел хреновый. Посетители посмеивались. А потом я стрелял по «самоварной мишени» и попадал. Тут поднимал-

ся ужасный шум. Все мне завидовали, восхищались. Хозяин огорченно разводил руками и предлагал выкупить самовар за двадцать пять рублей, но я изображал дурака и бессмысленно повторял: «Не-не, я его мамке снесу». Молва о «выстрелянном» в тире самоваре мигом облетала весь рынок. Народ валил в тир. И каждому непременно хотелось попытать счастья из того самого ружья, из которого стрелял шкет. Я гордо таскал пузатый самовар к выходу. За воротами меня встретила жена хозяина, гладила меня по головке и забирала самовар.

Так продолжалось довольно долго. Врать не буду — никакого греха я за собой не чувствовал. Меня несколько не огорчало разочарование простаков-посетителей, попадавших на хозяйскую уловку. Я не завидовал процветанию хозяина. Мне ведь нужно было только одно: стрелять в цель, стрелять без промаха. И только! Хозяин добрей, толстел и даже обещал купить мне лаковые сапоги — за работу. Но не успел, все кончилось так же неожиданно, как началось.

Не знаю, в какой уж раз я вышел из тира все с тем же самоваром в руках, когда ко мне подошел парень в защитной гимнастерке, поношенных галифе, крепко ухватил за руку и приказал: «Пошли со мной!» И он привел меня в милицию. Усатый одноглазый начальник глянул коротко и строго. Велел: «Рассказывай!» Я спросил: «Чего рассказывать?» Он сказал: «Рассказывай, как честной народ лапошите». Врать я не умел и выложил всю правду. «Так, — сказал начальник, — выходит, значит, нэпмачу сочувствуешь», — и выругался. Больше он ничего не говорил. Самовар оставил в милиции, а мне велел катиться на все четыре стороны. А тир вскорости закрыли...»

* * *

Кобрин писал теперь каждый день. Писал старательно и неторопливо. Кончилась одна тетрадка, он купил новую, и еще одну, и еще...

Рассказывая о давно минувших событиях своей жизни, он глядел на себя молодого как бы со стороны и несколько не старался изобразить свои действия, поступки, слова лучше, благороднее, красивее, чем они были на самом деле. Он увлекся и вовсе не думал о том, что станет делать с тетрадками, когда дойдет до конца. Пожалуй, он и не представлял себе

такого момента, когда поставит последнюю точку. Он писал жизнь, а пока человек живет, дышит, видит солнышко, он как-то и не думает о точке, хотя каждый знает: раз родился — умрешь..

Гораздо больше самого Кобрин судьбой его воспоминаний был озабочен Федоров: ведь это он втравил соседа в столь необычное занятие и теперь всячески интересовался ходом его работы и возможным способом ее употребления. Федоров наводил справки среди знакомых, наведаясь даже в редакцию одного популярного журнала, но Ивану Васильевичу до поры до времени ничего об этих своих хлопотах не говорил.

...После того как тир был закрыт, Кобрин продолжал тренироваться на камушках, бутылках, палках, смастерил самодельный лук, не пренебрегал рогаткой. Через некоторое время он заметил: глаз у него стал вернее, рука тверже. Кобрин подрос, окреп, начал работать. Но все равно каждый вечер уходил за старый дровяной сарай, прислонял к глухому забору толстую доску, накалывал на нее мишень и то швырял в нее нож, то бил из приобретенного на толкучке духового пистолета. При каждой возможности Кобрин ходил в цирк: он любил лошадей на манеже, ему по-прежнему нравились жонглеры и акробаты. Он радостно улыбался клоунам и, как в детстве, переживал за зверей. А втайне Кобрин надеялся, что когда-нибудь вновь увидит гибкого, быстрого человека в красных узких штанах, в красной с золотом куртке, так виртуозно владеющего оружием. Но человек этот на арене не появлялся. Может быть, скитался в дальних краях, может быть, оставил свою беспокойную работу, может, умер, Кобрин не знал.

Прошло много лет. Кобрин мог всадить с расстояния в двадцать шагов десять пуль подряд в прибитую к доске пуговицу; мог перестрелить провод; мог из лука угодить в куриное яйцо, поставленное на горлышко графина. Ножи он все еще метал похуже того, в красном, но не отчаивался. Знал: человек может достигнуть многого.

* * *

«Когда взяли меня на срочную службу, я очень обрадовался. Все время думал только про одно: «Вот уж теперь-то я постреляю из настоящего оружия». Служить довелось в пограничных войсках. Привыкать было трудно — в горах воздух

слишком легкий, днем жара, ночью холодище... Был со мной на службе интересный случай. Приехала к нам инспекция. Проверяли как положено то и се, а под конец стрелковую подготовку. Давали нам по три патрона. Я отстрелялся, проверяющий говорит: «Слабовато. Двадцать очков». Я не соглашусь: «Не может быть». Он говорит: «Как так не может быть! Две десятки — верно, а третья пуля за молоком побежала». Я все равно не соглашусь. Разглядываю мишень, мерю пробоины. Одна пошире чуток. Говорю: «Все три тут. Пуля в пулю прошла». Он как засмеется: «Ну, брат, ты и нахал!» А мне терять нечего: «Разрешите, — говорю, — перестрелять?» Командир тоже поддержал. Дали мне еще три патрона. Все стоят ждут. Отстрелялся я плохо: двадцать девять выбил. Аверяющий спрашивает: «Он всегда у вас так стреляет?» Командир говорит: «Он еще и не так может!» Ну и повезли меня в округ. Командующему показывали. Я там сначала из винтовки стрелял, потом из нагана. Часами командующий меня наградил, и в окружной газете написали. Такой-сякой, значит, снайпер.

После демобилизации поехал я в Москву. Сходил в цирк. Поглядел, как там работают, а потом, осмелевши, в дирекцию сунулся. Стал объяснять, что умею. Мне велели показать. Показал. И стрельбу из пистолета показал и с ножами номер показал, из лука не пришлось: лука у них не было. Всем понравилось, только один важный какой-то начальник сказал: «Работа, конечно, чистая, но идея номера мне непонятна. В чем идея? До революции ножичками в балаганах публику пугали...» И все. На том цирк для меня и кончился.

* * *

К спорту Кобрин не пристал. Почему? Этого он и сам не знал. Не случилось. Работал. Женился. Обзавелся семьей. Иногда выступал в самодеятельности. А когда началась война, ушел на фронт. О боевых делах писал Иван Васильевич скупо, очень деловито. Подробно объяснял, как влияет ветер на относ пули, как правильно брать упреждение при стрельбе по движущемуся противнику, много места уделял маскировке. Никаких, как принято говорить, «эпизодов» не описывал. И вообще получалось так: если старший сержант Кобрин И. В., кавалер многих орденов и медалей, сумел нанести чувствитель-

ный урон фашизму, то только благодаря тому, что однажды в детстве побывал в цирке, полюбил цирк и на всю жизнь сохранил верность его смелым, настойчивым, исключительным людям.

Когда воспоминания близились к завершению, в комнате Кобрин в очередной раз появился Федоров.

— Слушай, Иван Васильевич, а как ты решил назвать свою книгу? Знающие люди говорят, что это очень важно — правильно назвать!

— А черт ее знает, как назвать! — искренне удивился Кобрин.

— «Записки снайпера», как думаешь, годится? — сказал Федоров.

— Ну что ж я выставляться буду, сам про себя писать — снайпер...

— Тогда, может быть, «Воспоминания меткого стрелка»?..

— Да будет тебе болтать-то — воспоминания! Ну что я, генерал или народный артист?

Федоров даже разволновался и долго растолковывал Кобрину, что без хорошего названия и самая лучшая книга может закинуть в редакции. На нее просто никто внимания не обратит. Ведь сколько народу нынче пишет. Тьма!

Федоров ушел. Кобрин усмехнулся: книга! Название! Чепуха все. Никакой книги не будет. Никому его писания не нужны, да что он действительно за писатель! И вопреки всем этим мыслям ночью Кобрину приснилось, что он стоит в книжном магазине, вдоль прилавка вытянулась тесная очередь, и люди разбирают темно-красный томик с золотым тиснением на переплете: «Иван Кобрин. Любите цирк, мальчики». Его сковало странное чувство во сне: он понимает — книга его, и ему хочется сказать людям: «Это я написал. Тут все по правде». Хочет и не может сказать. Страшно. У него сохнет язык, горло сохнет и все звуки застревают в шершавой глотке...

* * *

На другой день, сам того не ожидая, Кобрин закончил свои записки. Закончил их так:

«Все, что я тут написал, — для мальчиков. Не совсем уж маленьких, но и не очень еще больших. Вы вырастете, маль-

чики, вы будете солдатами, и вам обязательно придется трудно. Солдатам всегда бывает трудно. Но тут уж ничего не поделаешь — так устроена жизнь. Пока есть время, любите цирк, мальчики. В цирке есть чему научиться: смелости, например, красоте, упрямству... Я это не просто так говорю, я знаю».

Тут Кобрин поставил точку. Сложил тетрадки в стопочку и на обложке первой написал большими печатными буквами: «Любите цирк, мальчики». С минуту поглядев на свою работу, Иван Васильевич перешел лестничную площадку, постучал в квартиру Федорова и смущенно сказал:

— Вот все. Написал.

Поднаторевший за последнее время в редакционных делах Федоров взвесил тетрадки на руке, сказал:

— Порядок! Поздравляю. Только вот название... А?

— Пусть будет так, — сказал Кобрин.

Федоров посмотрел на Кобрин и понял: спорить бесполезно.

В этот вечер они выпили по рюмочке, степенно поговорили и тихо разошлись. Самое главное предстояло начать на следующий день.

Федоров давно уже облюбовал журнал и чуть не силой повел туда Кобрин. Рукопись приняли. Записали на учетной карточке адрес Кобрин и обещали через некоторое время дать знать.

* * *

Расставшись с тетрадками, Кобрин почувствовал себя как-то неуютно. Теперь ему снова было решительно нечего делать. Еще и еще раз вспоминал он написанное, казнил, что пропустил такой момент и совершенно позабыл об этом. Но дело было уже сделано, и Кобрину оставалось только ждать.

Он сходил в цирк. Чудо как хороша была акробатка! Кобрин очень понравились молодые прыгуны, и силовые гимнасты ему тоже понравились. Номер со львами Иван Васильевич едва досмотрел до конца. Львы были старые, уставшие и до того замордованные, что, глядя на них, хотелось плакать...

В эти же дни его неожиданно вызвали в райвоенкомат. Прождав часа полтора приема, он узнал, что его разыскала старая медаль, та самая, которой он был награжден за Буха-

рест, но по каким-то быстро меняющимся на войне обстоятельствам не получил в свое время. Сам военком, пожилой грузный подполковник, преувеличенно радостно ждал ему руку и говорил принятые в подобных случаях слова, и он отвечал молодым, давно забытым уже голосом: «Служу Советскому Союзу!»...

А из журнала сведений все не было.

Федоров, переживавший за соседа куда больше, чем сам Кобрин, уговорил Ивана Васильевича навестить в редакцию:

— Ну, что такого: шел мимо, заглянул...

Кобрин довольно олно колебался: идти или не идти, но в конце концов не выдержал и пошел.

В редакции Ивана Васильевича принял молодой, очень вежливый, очень приветливый мужчина.

— Да-да-да! Познакомились с вашей работой. Как раз собирався вам написать. Да вы садитесь, пожалуйста, товарищ Кобзев. — Он достал знакомые тетрадки из шкафа, заглянул в приколотый к ним листок и все с тем же выражением любезной готовности на лице сказал:

— В вашей работе очень много любопытного. Чувствуется искренность и прямота. Отдельные страницы просто превосходно схватывают обстановку. Ну-у, скажем, вот сцена в цирке... Только, к сожалению, рукопись как бы распадается на две части: первая — чистые воспоминания бывшего человека и вторая — рекомендации будущим снайперам. И тут я не совсем улавливаю...

— В чем идея? — хмуро спросил Кобрин, не глядя в лицо молодому человеку.

— Вот именно, вот именно... — обрадовался собеседник. — С одной стороны — цирк, с другой — такие прямолинейно-патриотические мысли...

Кобрин поднялся со стула и медленно пошел к двери.

— Куда же вы, товарищ Коркин? — страдальческим голосом почти выкрикнул молодой человек. Но Кобрин его не слышал.

Иван Васильевич шел вдоль старого бульвара. Он не замечал ни машин, ни людей, ни деревьев. Господи, ну как это его угораздило влезть в такую аферу! Писатель! Шолохов! Пушкин! А все Федоров виноват. Втравил. Не по злобе, конечно, действовал, от доброты своей дурацкой старался...

По дороге домой Кобрин напился. Напился жестоко, не

вспомнив ни о собрании, ни о тощем полковнике в отставке Симонине. С трудом переставляя ноги по ставшему неустойчивым тротуару, он еле брел к дому. Перед каждым встречным Иван Васильевич снимал шапку и тихо, вежливо говорил: «Извините».

Как назло, уже в воротах повстречался желчный Симонин.
— Опять, Кобрин? — спросил полковник недобрым, визгливым шепотком. — Такие ты выводы для себя сделал?

Кобрин узнал Симонина, но кепки перед ним не снял и «извините» тоже не сказал. Качаясь, прошел мимо...

* * *

Минуло еще несколько дней, и в дверь Кобрина снова постучали. Иван Васильевич неохотно откликнулся:

— Входите.

И в комнате появился человек, высокий, седой, подчеркнуто загранично одетый. От него пахло духами, мылом и еще чем-то парфюмерно-терпким. Незнакомец внимательно оглядел комнату, не скрывая любопытства, долго разглядывал самого Кобрина и, видимо, уловив что-то для него существенное, подчеркнуто официально представился:

— Народный артист республики Богин Вадим Андреевич.

Кобрин едва приметно кивнул в ответ и ничего не ответил. Он ждал.

— Слушайте, Иван Васильевич, — сказал Богин профессионально поставленным артистическим голосом. — По чистой совершенно случайности, и, хочу надеяться, случайности счастливой, мне попала в руки ваша рукопись. Хочу спросить, простите за откровенность: все, что вы там написали, действительно правда? Только не подумайте ничего плохого. Просто я уже очень давно служу цирковому искусству и никогда ничего не слышал о подобном номере.

Сам не понимая почему, Кобрин страшно разволновался и стал клятвенно уверять своего неожиданного посетителя, что не выдумал и не прибавил к действительным событиям, ну, буквально ни одного словечка.

— Голубчик, но у вас хоть какая-нибудь афишка, может, сохранилась или вырезка из газеты? А? Судя по тому, как великолепно вы этого красно-золотого пирата описали, все правда, но надо ведь начальство еще убедить, доказать началь-

ству требуется, что такой номер осуществим, так сказать, в принципе.

Я теперь имею честь состоять при цирковом училище, готовлю смену. И такие мальчики у меня есть, такие... С ними хоть космическую программу готовь. Но сначала надо начальство убедить, понимаете, голубчик?

— Понимаю, — сказал Кобрин, — это не так уж и сложно понять.

Кобрин открыл ящик старинного рассохшегося буфета, вытащил полотняный чехол и, чувствуя, как у него неприятно трясутся руки, стал распускать завязки. Как назло, тесемка никак не поддавалась. Кобрин дернул посильнее, и на стол, покрытый потрескавшейся бледно-розовой клеенкой, высыпалась дюжина острозаточенных, блестящих ножей с увесистыми костяными черенками.

— Доказательства вам нужны, — говорил при этом Кобрин, — доказательства? Вот мои доказательства!

Он схватил нож и сильно метнул его в стену, следом другой, третий... У него тряслись руки. Он злился. И все-таки все двенадцать клинков, позванивая и дрожа, воткнулись в маленький завиток обоев.

— Друг мой, — сказал Богин не артистическим, а нормальным человеческим голосом, — простите меня, за мальчиков простите. Цирк ждет вас. Кровь из носа, но мы поставим этот номер...

НЕНАПИСАННОЕ СОЧИНЕНИЕ

Когда я учился в девятом классе, меня неотступно преследовала такая мысль: вот если бы существовала тема школьного сочинения «Мой самый нелюбимый учитель!» Будьте уверены, написал бы на пятерку с плюсом. И дальше все представлялось очень ясно. Сначала план:

1. Его портрет.
2. Его характеристика как человека.
3. Его характеристика как учителя.
4. Его отношение к людям.
5. Отношение людей к нему.
6. Выводы.

Ну, а потом последовало бы вот что. Евгений Витальевич Шац довольно высокий мужчина средних лет. У него крупный нос, тонкие длинные губы, глаза совершенно неопределенного цвета и густые рыже-каштановые волосы. Когда вы смотрите на Евгения Витальевича в профиль, лицо его кажется птичьим, малоподвиж-

ным и недобрым, ну, а если он поворачивается к вам анфас, тогда делается и вовсе неприятно, — наверное, таким видит кролик удава, когда удав собирается его проглотить и предварительно гипнотизирует, парализуя волю своей жертвы.

Наверное, некоторые девчонки в нашем классе не согласятся со мной и будут утверждать, что Евгений Витальевич строен, что лицо его отмечено чертами мужества, а волосы вообще, ах! не волосы, а червонное золото... Но тут уж я ничего не могу им возразить, может быть, девчонки более подготовлены к оценке внешности Евгения Витальевича, а я рисую его таким, каким вижу и чувствую. Не хочу спорить, и пусть у каждого останется своя точка зрения.

Перехожу к его характеристике как человека.

За три года нашего знакомства я лично только два раза видел его улыбку. Первый раз — во время большой перемены, когда в коридоре третьего этажа шлепнулась толстая Зина Мельникова (падая, она схватилась за этажерку и покрыла себя цветами в горшках). Признаю, это было действительно смешно. Но радоваться Зинкиному падению мог все же только жестокий и черствый человек. Второй раз Евгений Витальевич улыбнулся на уроке. Я уже не помню, какую именно теорему он доказывал, да это и неважно, важно то, что вместо значка «параллельно» он нарисовал перевернутое печатное «Т», что, как известно всем, означает «перпендикулярно». И тут поднялся со своего места Ньюма Гомберг — все в школе зовут его Эйнштейном, он действительно выдающийся математик, и сказал:

— Евгений Витальевич, вы ошиблись. Отрезок MN параллелен, а не перпендикулярен к основанию AB ...

— Благодарю вас, мой друг, — ответил Евгений Витальевич и улыбнулся. Но как! Я лично наблюдал прежде такую улыбку только на столбах, поддерживающих провода высокого напряжения. Вы знаете эту веселенькую эмблему — череп и кости.

С учениками Евгений Витальевич разговаривает только о математике. А если человек математикой не интересуется (например, я увлекаюсь географией и историей), то в его глазах такая девчонка или такой мальчишка вообще ничто, насекомое.

Не могу судить, как держится Евгений Витальевич в обществе других учителей, но с моей матерью (маму вызывали

в школу, когда я подрался с Исой Акмуковым) он разговаривал весьма надменно.

— Сударыня (это на двадцать-то втором году Советской власти!), у меня к вашему сыну претензии особые. Буйный темперамент, варварские замашки доказывать правоту силой меня не очень огорчают. Подрастет, поумнеет — сам разберется что к чему. А вот бесхарактерность его прискорбна. Берется за что-нибудь новое и, если дело идет легко, доводит до конца, я бы сказал даже — с удовольствием, а вот если дело идет трудно, тут уж толка от вашего сына ждать не приходится. Через пять минут все бросит! Видно, не приучили его к трудностям, к тяжелой работе, к настойчивости...

Тут мама стала меня выгораживать (и кто только ее просил!), но Евгений Витальевич не дослушал и сказал:

— Не будьте наседкой, сударыня. Вашему мальчику предстоит жить и драться. Неужели вы не понимаете, какое сейчас время? Не делайте из него беспомощного цыпленка. Он первый вам за это спасибо не скажет...

Мама обиделась, и, по-моему, правильно. Все-таки это возмутительно — называть советскую женщину сударыней и наседкой! Но, пожалуйста, не подумайте, что у меня с Евгением Витальевичем «личные счеты». Сейчас я приведу еще один пример, и вы сразу же убедитесь, что ничего «личного» в моем отношении нет.

В нашем классе учится Майя Глебова. Считается, что она очень хорошенькая. Я, правда, думаю, что Таня Трофименко в сто раз симпатичнее, но это в данном случае неважно. И вот Майя заболевает. Не ходит в школу шесть недель подряд. Но стоит ей появиться в классе, как Евгений Витальевич вызывает Глебову к доске, спрашивает и ставит отметку — «три с минусом».

Все возмущены! Как можно спрашивать человека, если он проболел полтора месяца подряд? И еще на отметку?

Оставить этот случай просто так мы не могли. Во время перемены пошли объясняться. И все-все ему высказали: и про чуткость, и про заботу о человеке, и про то, что эта дурацкая тройка с минусом портит успеваемость всего класса. Что же мы услышали в ответ?

— Советую спросить у Глебовой, считает ли она свою отметку справедливой и заслуженной, — вот так он нам ответил, повернулся спиной к обществу и поплыл в учительскую.

Мы минуты три не могли просто в себя прийти. Между прочим, Майка нам сказала потом, что он правильно влил ей тройку. Мы ушам своим не поверили, но Глебова стрельнула глазами и сообщила... В жизни не догадаетесь, что она нам сообщила! Оказывается, пока Майка болела, Евгений Витальевич шесть раз приходил к ней домой и в больницу. Видите ли, заниматься!

И все равно, пусть меня порежут на мелкие кусочки, не поверю, что это от чуткости. Он сухой, самовлюбленный и на весь окружающий мир смотрит свысока.

Ну, а каков он учитель?

Математику Евгений Витальевич знает хорошо. Только не подумайте, что я нескромный и берусь ставить отметки взрослому человеку, окончившему к тому же высшее учебное заведение. А «хорошо» я написал вот в каком смысле: все, что он объясняет, само укладывается в голову (даже в такую тупую к точным наукам, как моя). Главные выводы и основные правила он всегда диктует. Диктует медленно и разборчиво, так что все успевают записать, не переспрашивая. И почерк у него четкий. Все, что он на доске изображает, всегда ясно видно и всегда понятно. Надеюсь, вы заметили, что я совершенно беспристрастен и вовсе не стремлюсь изображать Евгения Витальевича одной только черной краской. Но на опросах и контрольных работах этот человек делается совершенно невозможным!

Приведу факты.

Наш Эйнштейн — Нюмка Гомберг решает на доске задачу. Решает быстро, правильно и, обращаю на это особое внимание, своим собственным оригинальным способом. Исчертив всю доску, Нюмка пищет, наконец, ответ — 1247,5 и ставит точку.

Все верно. И придаться не к чему. Но Евгений Витальевич спрашивает ледяным голосом:

— Чего?

Нюмка хлопает глазами, и мы все тоже хлопаем.

— Чего 1247,5? — повторяет Евгений Витальевич.

И тогда Нюмка спохватывается.

— Квадратных метров, конечно. — И поспешно приписывает размерность — м².

— Садитесь, Гомберг. Вам следовало быть внимательнее. Ставлю «три».

Или вот другая история.

Мы пишем контрольную работу. Я проверяю каждую строчку по восемь раз. Потом на перемене спрашиваю у ребят, какой у них получился ответ. Ответ сходится. Я спокоен.

Но проходят три дня. Евгений Витальевич раздаёт контрольные, и я вижу — «1». Да-да-да! Даже не двойка, а кол! За что? Это даже невозможно себе представить, за что. В объяснении к действию я написал: «Таким образом, точка А ложится на прямую ОР». И дернул меня черт всадить в слово «точка» мягкий знак! Евгений Витальевич обвел этот мягкий знак красным кружком и пометил на поле: «Достоинство изумления. Вы учитесь в девятом, а не во втором классе. Точка! 1».

И таких примеров я бы мог привести сколько угодно. Но думаю, что и тех, которые уже изложены, вполне достаточно.

Признаюсь, меня постоянно занимает мысль: как же все-таки относится к людям наш математик Евгений Витальевич Шац? И ответ на этот вопрос приходится давать самый грустный. Наверное, люди представляются ему бездушными величинами какого-то колоссального уравнения, именуемого жизнью. И он, я думаю, все время старается приводить эти величины к нулю. Ведь чем больше будет нулей, тем проще станет уравнение! Иногда мне даже делается его жалко.

И последний вопрос: а как нули относятся к нему? Справедливость требует признать — по-разному.

Толстая Зина Мельникова иначе, как Жечкой и ползучим гадом, вообще его не называет. Но Зинка круглая дура, и принимать ее мнение всерьез не стоит. Майя Глебова вздыхает, закатывает глазки и противно сюсюкает:

— Ах, если б Евгений Витальевич преподавал химию!

По-моему, Майка просто влюблена в Евгения Витальевича, и нравится он ей не как учитель и человек, а как мужчина. Дальше не уточняю. В конце концов это их личное дело...

Нюмка Гомберг (ему, между прочим, достается от Евгения Витальевича больше всех) философствует:

— Он человек сложный. С точки зрения математической Евгений Витальевич — величина положительная и стремящаяся к бесконечности. А по-житейски — это явление сомнительное. Во всяком случае, в разведку я бы не хотел с ним идти.

Вот, пожалуй, и все. Теперь мне осталось сделать выводы. Учитель должен быть человеком, несущим другим людям

знания, радость и вдохновение. Учитель должен быть таким, чтобы ученики из всех сил старались походить на него. Тогда только он сможет завоевать любовь и признание.

Евгений Витальевич Шац дает нам знания. А все остальное нам приходится получать от других преподавателей. Вот почему я так уверенно заключаю: мой самый нелюбимый учитель — математик Е. В. Шац.

* * *

Окончив среднюю школу, я поступил в училище военных летчиков и спустя два года был произведен в пилоты-истребители. Кое-кто считал меня в свое время бесхарактерным и не приспособленным к трудной работе. Ну что ж! Пусть все эти аттестации останутся на совести их автора. Повторяю — нусть! А я ни на кого не в обиде.

Жизнью я доволен, об одном только жалею: почему летчики не пишут сочинения? Было б здорово, если бы писали, особенно на свободную тему. Ну, например, на такую: «Самое памятное боевое задание». Пожалуй, я бы и плана не стал придумывать, а начал сразу.

Есть среди нашего брата публики, которая считает только истребитель машиной. А все прочие самолеты, по их мнению, так — «морковный кофе». Я лично с такой точкой зрения решительно не согласен! Летчика что делает летчиком? Опыт. Выражаясь профессиональным языком — налет, то есть активное пребывание в воздухе. И если ты хочешь прожить долго, а я всегда хотел прожить долго — и до войны и особенно на войне, не брезгуй никакой возможностью полетать. Н. ПО-2. — давай на ПО-2, на старой «шаврухе» — давай на «шаврухе»! И пусть маршрутный полет из штаба полка в штаб корпуса не засчитывается за боевую работу, а записывается в графу учебно-тренировочные или там связные полеты, мне плевать! Я могу хоть на воротах слетать, если, конечно, на ворота поставят мотор.

Своих взглядов я ни от кого не скрываю. И может быть, поэтому меня чаще других пилотов посылают на всякие «липовые» задания. Я вожу мирного майора-интенданта в армейские тылы, где он улаживает какие-то сложные и безотлагательные проблемы горючего; я таскаюсь с пакетами по всем полевым площадкам нашей воздушной армии; а один раз мне

довелось даже доставить в дежурную эскадрилью весьма известную опереточную примадонну — она давала шефские концерты «крыластенским мальчикам».

И вот что смешно: каждый такой полет оформляется штабом как спецзадание. Почему — этого никто не знает. Просто уж так принято. Лейтенант Беленко прозвал меня спецлетчиком, но скажу совершенно откровенно — плевать я хотел и на прозвище и на самого Беленко. Хочет корчить из себя аса, пусть корчит. Налет — это серьезно. Все остальное — чепуха.

То, что я написал сейчас, называлось в наших школьных сочинениях вступлением или вводной частью. Эта самая вводная часть должна была подготавливать читателя к пониманию основных мыслей и основных событий. Надеюсь, что мое краткое вступление соответствует этой задаче, и перехожу к основному.

Мы вернулись с боевого задания. Мы благополучно сопроводили штурмовиков на цель и так же благополучно прикрыли их на обратном пути домой. День начался хорошо.

Стоило мне сесть, зарулить на стоянку и передать машину механику, как прибежал посыльный из штаба:

— Срочно! Начальник оперативного отдела вызывает!

Я помчался.

Начальник оперативного отдела сказал:

— Бери Ш-2, лети в штаб стрелкового корпуса. Там найдешь подполковника Хорунжего. Ты и машина поступаете в его распоряжение. Срок — сутки. Учти: командовать тобой будут наземники, так что сам соображай. На рожон не лезь. За машину отвечаешь ты. Ясно?

Через пять минут я вышел из штабной землянки с полетным листом в руках. Предстояло выполнить очередное спецзадание.

Через сорок минут докладывал подполковнику Хорунжему:

— Товарищ гвардии подполковник, прибыл в ваше распоряжение...

Еще через сорок минут я знал, что мне предстоит делать. Надо было перелететь линию фронта, углубиться на двадцать с небольшим километров в тыл противника, разыскать среди леса крошечное озерко Ним, быстро на него сесть, забрать из камышей одного человека и как можно быстрее доставить домой, к нам.

Некоторое время мы уточняли маршрут. Потом подполковник Хорунжий спросил:

— Может, тебе истребительное прикрытие нужно? Проси. Для такого человека, — тут он махнул рукой в сторону фронта, — не жалко всю воздушную армию поднять. Если нужно, проси, согласуем мигом.

Я подумал и сказал, что истребительное прикрытие мне не нужно.

— Почему?

— Полагаю, что сработать этот полет надо скрытно. Истребители привлекут внимание противника.

— Может быть, — не то согласился, не то не согласился подполковник. — А что тебе вообще нужно?

— Карта нужна, — сказал я, — самая подробная, самая хорошая карта, самого крупного масштаба. И еще, если можно, я бы хотел уточнить время вылета.

— Карта будет. Сигналы опознавания будут. А со временем вылета пока придется обождать — командующий лично назначит.

На этом мы расстались. Подполковник ушел, а я остался около самолета.

Делать мне было нечего, поэтому я лежал на крыле и думал. Проскакивать линию фронта надо севернее Нима. Над болотами. Там ни наших, ни чужих. Это ясно. Лететь придется бреющим — чем ниже, тем лучше. Заходить на заданную точку буду с запада. В этих краях Ш-2 редкость, и вряд ли немецкие зенитчики с ним знакомы. Если даже меня обнаружат, особенно летящим с запада на восток, то скорее всего не сразу сообразят, чей я — свой или чужой...

Потом я стал думать о том человеке, которого должен был забрать из камышей. Он разведчик, но какой? Если уж сам командующий назначает время вылета, если в прикрытие предлагают поднять всю воздушную армию — значит, птица! Я не успел представить себе эту важную птицу: пришел усатый старшина, принес карты.

Карт было три: наша километровка, наша артиллерийская — пятсот метров в сантиметре и трофейная, очень пестрая, но очень подробная.

Старшина отдал карты, но уходить не спешил. Он как-то странно топтался на месте, сглатывал слюну, словно хотел что-то спросить и не решался.

— Чего тебе? Расписку на карты дать? — сказал я.
— Что вы! Не надо мне никакой расписки. Вы капитана нашего знаете?

— Капитана? Какого капитана?

— За которым полетите. Дело, конечно, секретное, лишнего болтать не положено, только мы в курсе. И все просим: постарайтесь уж получше, товарищ командир! Знаете, какой он у нас, капитан! Вот, гляньте. — И старшина достал из кармана листок, вырванный из полевой книжки. — Когда они на задание уходили, оставили. Поинтересуйтесь.

Я взял листок и увидел: ровный четкий почерк — это прежде всего аккуратные цифирки перед каждой строчкой. И вот что я прочел:

СДЕЛАТЬ

1. Получить теплые портянки на всех. Не будут давать — пугни.

2. Амиткулова направить к врачу. Обязательно к глазнику!

3. Двадцать шестого день рождения сержанта Грая. Отметить.

4. Шершневу заменить автомат. Пристрелять. Проверить.

5. Письма Махарадзе собрать. Положить в мою сумку, в маленькое отделение.

6. Достать финско-русский словарь. Где хотите, но чтобы был.

7. Рогова без меня не воспитывать. Пусть придет в себя!!!

8. Выколотите на складе конфеты (за табак) для Казанцевой.

НЕ ЗАБЫТЬ

1. Проверить наградные листы. Ушли или нет. Через писарей штаба.

2. Узнать у фотографа, когда будут снимки Иванникова, Казанцевой, Грая (для родных).

3. Заменить книги. Напомнить замполиту.

4. Проверить, как откликнулся сельсовет на письмо по поводу семьи Махарадзе.

5. Составить списки табельного имущества. Списать утраченное.

ОТОРВУ ГОЛОВУ, ЕСЛИ

1. Амиткулова не посмотрит врач. Глазник!

2. Кто-нибудь снова попытается обидеть Казанцеву.

3. Радисты не заменят аккумуляторы.

Я дочитал этот ни на что не похожий боевой приказ и взглянул на старшину.

— Чувствуете, какой наш капитан? Вы уж, пожалуйста, постарайтесь.

— Ладно, — сказал я, — уговорил: постараюсь.

Старшина ушел, а я стал снова думать о капитане. Вероятно, он командир разведроты, а может быть, разведбатальона. Капитан — человек душевный и, как говорится, отец солдатам. Но все равно это еще не основание, чтобы время вылета за ним назначал сам командующий, тем более не причина, чтобы поднимать на прикрытие одного малюсенького П-2 всю воздушную армию.

Сколько-нибудь правдоподобного объяснения поступкам окружающих мне так и не удалось придумать. Но тут ко мне подошел совсем молоденький худой и длинный лейтенант, лихо козырнул:

— Лейтенант Бахмутов, комвзвод-один.

— Очень приятно, — сказал я и, в свою очередь, представился.

— Слушай, тут такое дело, значит, получается: ты за нашим капитаном летишь? Ну-ну, не отвечай. Все ясно. Понимаем — не дети. Так вот какое, значит, дело-то: ты имей в виду, он там такого наворохал — сказка! Перехватил командира егерской дивизии. Перепутал все их планы к чертям собачьим и ушел. Но тут, значит, такое дело вышло: вывихнул ногу! Ребята его прикрыли, а он там остался. Ждет. Я тебе это дело для чего говорю? Чтобы понимал, за кем летишь.

Лейтенант ушел. Я посмотрел на часы и понял — вылет мне назначат минут за сорок до наступления сумерек. Командующий прав. Лететь над пестрой, искрапленной озерками и протоками земель лучше всего под вечер. Длинные тени замаскируют местность, сгладят очертания сопки, и моя маленькая «шавруха» станет казаться еще меньше. Я поползу совсем низко над темно-зелеными маковками сосен, я буду прижиматься к серо-голубой поверхности водоемов, и никакой истребитель противника не засечет меня.

Проскочу. Уверен.

Лишь бы не было под вечер тумана. Туман может все испортить.

Ну вот я и написал ту часть сочинения, которую в школе именовали завязкой. Все герои названы, все ниточки протяну-

ты, читатель почти все уже понял. Можно переходить к кульминационному пункту.

Чтобы не затягивать рассказ, сообщу сразу: линию фронта я миновал без всяких происшествий, озеро Ним не без труда, но все-таки нашел, сел с ходу и к назначенной протоке подрулил без каких-либо осложнений.

Осмотрелся. Никого.

Мотор тарахтел на самых малых оборотах. «Шавруха» легонько подрагивала на спокойной воде. До берега было метров двадцать. Сокращать это расстояние я опасался — как бы не сесть на мель.

Я ждал и уже начал нервничать. Наконец из зарослей бурого камыша показался человек. Он шел с трудом, опираясь на здоровенный березовый сук. Человек подал мне условный знак и продолжал потихонечку приближаться к воде. Как мне того ни хотелось, помочь капитану я был не в силах. Оставлять кабину рискованно: «шавруху» могло снести. Безобидное на карте озеро Ним оказалось проточным.

И тут события внезапно переломились.

Случилось самое страшное: следом за капитаном из тростников стал выползать туман.

Туман был низкий, густой и казался липким. На севере живут такие вредные туманы. За десять минут они могут наглухо закупорить аэродром, и тогда все — ни взлететь, ни сесть. Закрывает иногда на час, а иногда и на трое суток.

Через минуту я понял: туман двигается чуточку быстрее человека.

Капитану оставалось доковылять до моей «шаврухи» еще метров десять, туману — метров пятнадцать.

Я ждал.

Капитан был уже совсем близко. Я видел его землисто-серое лицо, его выпачканную в тине гимнастерку, его разлохматившиеся грязные волосы и совершенно черные руки. Но и туман был рядом. Я видел его молочно-белое, клубящееся, казалось, плотное тело.

Человек сделал маленький шаг вперед, туман сделал шаг капельку подлиннее, человек шагнул еще, и туман шагнул тоже...

Я подумал: «Через три минуты мне уже не взлететь».

И тут черные руки капитана легли на борт «шаврухи».

Лететь домой оказалось куда сложнее, чем я мог ожидать.

Из тумана нам удалось вырваться, но от темноты уйти было некуда.

Промокший и ослабевший капитан весь сжался. Он страшно дрожал. Но мне некогда было о нем думать. Надо было pilotировать машину, надо было выдерживать курс, надо было не врезаться в сопки. Много чего надо было еще сделать, чтобы вернуться домой и жить дальше.

Сегодня я могу сказать: было сделано все. И вы это видите, иначе вам не пришлось бы прочесть эти строчки.

А теперь — развязка, так полагается в настоящем сочинении. На следующее утро меня представили выспавшемуся, побритому, медленно приходившему в себя капитану.

— Капитан Шац Евгений Витальевич. Благодарю, — сказал он.

А я подумал: «Как же это хорошо, что тогда, в школе, нам не предлагали сочинения на тему о самом нелюбимом учителе! Как хорошо!»

ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

Внимание, внимание! Вылет самолета, выполняющего рейс номер тысяча двадцать восемь, Казань — Тбилиси, задерживается по техническим причинам, — в третий раз объявлено радио. Пассажиры волновались.

— Черт знает что! — сказал высокий тощий человек в поношенном макинтоше и сильно помятой соломенной шляпе. — Знал бы — поездом поехал.

— А еще пишут: «Летайте самолетами Аэрофлота — быстро, удобно, выгодно», — сказал молодой парень, сверкавший заклепками техасских брюк, никелированным браслетом часов и золотыми коронами.

— Надо в конце концов выяснить, что это за технические причины и сколько они могут продолжаться. Есть же тут какие-нибудь ответственные начальники, — сказала полная женщина, обмахиваясь

всером, сложенным из газеты. — Мужчины! Что же вы стоите?!

Тощий пассажир смотрел в окно, он или не слышал, или делал вид, что не слышит решительной дамы.

Сверкающий молодой человек неопределенно хмыкнул и, не сдвинувшись с места, стал раскуривать сигарету.

— Это мысль, — сказал пожилой подполковник-танкист и поспешно направился к двери, обезображенной голубой дощечкой:

«Посторонним вход воспрещен».

— Кто здесь старший? — спросил подполковник, входя в диспетчерскую.

— С вопросами, пожалуйста, в справочную.

— Я не задаю вопросов, я хочу видеть старшего...

— Старший для пассажиров — в справочной. Начальник смены занят.

— Что значит занят? Я лечу рейсом тысяча двадцать восемь, вылет откладывается уже в третий раз. Могу я выяснить почему?

— Можете. Пожалуйста, пройдите в справочную. Там вам все объяснят. Будьте любезны.

— Там говорят: «По техническим причинам», — но это же не объяснение...

— А если действительно по техническим причинам?

— Скажите, а книга жалоб у вас имеется?

— Конечно.

— Дайте.

— Пожалуйста, пройдите в справочную, книга жалоб там. Подполковник в сердцах хлопнул дверью диспетчерской и вернулся в зал ожидания.

— Ну и порядочки!

В зале ожидания сновали люди, хрипело радио. В грохоте взлетающих машин — взлет был как раз в направлении аэровокзала — растворялись человеческие голоса. У касс суетились пассажиры. И надо было обладать либо незаурядными способностями, либо специальной подготовкой, чтобы разглядеть во всем этом бедламе хоть какую-то систему, хоть какой-то порядок.

А между тем и система и порядок были.

Самолеты взлетали по расписанию. Точно.

И приземлялись тоже по расписанию.

И потоки отбывающих пассажиров направлялись к нужным бортам, а потоки прилетевших проворно исчезали в автобусных кузовах. И пока транзитные пассажиры маялись в залах ожидания, около буфетных стоек, перед газетными щитами, их чемоданы сортировались и на электрокарах перебрасывались в строго определенные секторы багажного отделения. Словом, все шло так, как должно было идти.

Только старый, повидавший на своем веку ИЛ-14, выполнявший рейс 1028, сиротливо стоял на краю рулежной дорожки и никуда не собирался лететь.

Экипаж ИЛ-14 растянулся на траве, в тени самолетной плоскости. Здесь были все, кроме командира корабля.

Да-а, как ни странно, командир корабля исчез.

Два часа назад командир корабля ушел в диспетчерскую и не вернулся. Его искали на метеостанции, в отделе перевозок, в буфете, в кабинете врача, на командном пункте, в профилатории, в залах ожидания — командира корабля не было нигде.

И тогда объявили по радио: «Вылет самолета, выполняющего рейс номер 1028, задерживается по техническим причинам».

А что еще можно было сказать пассажирам?

* * *

Валентину Федоровичу Баркалая недавно исполнилось сорок семь лет. Для летчика возраст весьма почтенный. Валентин Федорович давно уже пилот первого класса. Больше двадцати лет летает командиром корабля. Валентин Федорович седой, крупный, сильный мужчина. Друзья зовут его Валико. Друзья знают — Валико плохой оратор и вообще не любителю поговорить. Валико никогда не ругается. Не курит. Почти не пьет, во всяком случае, никто ни разу не видел его пьяным. Экипаж Валентина Федоровича любит. Больше всего за спокойствие, за постоянное прочное доброжелательство, за выдержку, не покидающую его ни при каких обстоятельствах.

Бывает, гроза прочеркнет маршрут. Ни верха, ни низа не остается. Машину треплет так, что, кажется, лонжероны скрипят и прогибаются. Земля нервничает. Земля каждые пять минут запрашивает обстановку и упрямо передает условия посадки на промежуточных аэродромах...

Валентин Федорович радирует диспетчеру:

— Обхожу грозовой фронт справа. Жить можно. Дайте, пожалуйста, ветер по высотам...

А земля начинает нажимать, рекомендует прервать полет и произвести посадку на запасной точке; он успокаивает землю:

— Ничего, ничего, пока еще можно жить. Не беспокойтесь...

И еще его любят за справедливость.

Бортмеханик не сдал в установленный срок документацию (по-человечески — отчет). Инженер отряда накладывает на бортмеханика взыскание (объявляет выговор). Валентин Федорович идет к инженеру.

— Что ты делаешь, дорогой? Зачем человека обижаешь? Жена у него в больнице, мальчишка от рук отбился, неделю в школу не ходил. Замотался человек. Понять можно? Можно. Это я виноват. Недоглядел, понимаешь, не проверил. Пусть командир отряда мне выговор объявит.

И сколько бы инженер ни кипятился, сколько бы ни повторял, что в авиации мелочей не существует, что либерализм только портит людей, что сегодня забыл сдать отчет, а завтра взлетит со струбчинками на элеронах, Валентин Федорович настоит на своем и добьется — инженер снимет взыскание.

И конечно, Валентина Федоровича любят за неутомимость.

Он может прокрутить штурвал шесть часов подряд, воюя с собачьей болтанкой и снегопадом, продираясь сквозь обледенение, сквозь слепую метель, и, к удивлению второго пилота, встанет со своего кресла как ни в чем не бывало.

Правда, он суховат.

Правда, он бывает резок.

Правда, он болезненно самолюбив.

Но тут уже ничего не поделаешь. Живой человек.

* * *

Утром Баркалая вылетел из Казани. Около двенадцати приземлился на промежуточном аэродроме. Пошел, как обычно, отмечать документы у диспетчера и исчез.

* * *

Пассажиры волновались.

— Черт знает что! — в сотый раз повторял человек в поношенном макинтоше и сильно помятой соломенной шляпе.

— В «Известия» написать бы надо. Сколько можно издеваться над людьми? — говорил молодой парень, украшенный заклепками.

— По-моему, следует организовать и пойти к начальнику аэропорта, — предложила дама с газетным веером.

Танкист-подполковник немедленно поддержал ее:

— Это мысль! Кто согласен — выходи.

Делегация была составлена.

Делегация была принята и выслушана.

Делегация получила ответ:

— Мы принимаем срочные меры, товарищи. Обещаю, в течение ближайшего часа вы улетите, — сказал начальник аэропорта.

А что еще он мог сказать разгневанным пассажирам?

О том, что Баркалая пропал, начальнику порта доложили давно, но подменного экипажа у него не было. Начальник порта ждал. Он думал: «Ну, не может же Баркалая просто так испариться...»

* * *

Прошло полчаса. Начальнику аэропорта позвонил диспетчер:

— Сергей Семенович, нашелся Баркалая. У меня сейчас, просит разрешения на вылет вне расписания...

— А где он был?

— Не знаю, Сергей Семенович.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не говорит.

— Пусть зайдет ко мне.

* * *

Сергей Семенович Лагин — начальник промежуточного аэропорта, в прошлом летчик. Тридцать лет отлетал человек. В войну командовал бомбардировочной эскадрильей, потом работал в Аэрофлоте. Больше четырех миллионов безаварийных километров записал в летную книжку. Ну, а потом: радикулит плюс гипертония, плюс последствия фронтового ранения и — очутился летчик на земле. За него решили врачи: отлетался, брат. Точка.

Сергей Семенович пытался протестовать, но медицина оказалась неумолимой и бескомпромиссной — не согласились даже на год продлить пилотское свидетельство.

Пенсию Сергей Семенович выслужил, но уходить на покой не пожелал: закончил курсы диспетчеров и остался на аэродроме.

Лагин давно уже знал Баркалая. Еще до войны. Валико летал у него в эскадрилье. И сколько раз записывал майор Лагин в служебных характеристиках лейтенанта Баркалая: «Техника пилотирования отличная. Летать любит. Теоретически подготовлен хорошо. Идеологически выдержан, морально устойчив, делу партии предан. Должности командира корабля вполне соответствует». Или позже: «Старший лейтенант Баркалая достоин выдвижения на пост командира звена».

Лагин мудр, нетороплив, обстоятелен. Жизнь научила его мудрости. Дальние беспосадочные полеты — неторопливости. Вражеские истребители и густой заградительный огонь зениток отшлифовали его характер. Сергей Семенович давно уже усвоил: самые худшие решения — поспешные; никто никогда не видел возбужденного, нервничающего, выходящего из себя Лагина. Конечно, он живой человек и, как все живые люди, способен и возмущаться, и переживать, и даже беситься, но только... внутри, про себя.

* * *

Баркалая вошел в кабинет начальника аэропорта.

— Вы меня звали, Сергей Семенович?

— Еще бы! Где ты был, Валико?

— Там.

Невольно Сергей Семенович приподнялся со своего места и посмотрел в широкое прозрачное окно. Там, куда только что показал Баркалая, была рожица, там в серых камнях лопотал стекающий с гор прозрачный ручей, там стоял зеленый, в человеческий рост камыш.

— Ты что, купался, Валико?

— Нет, Сергей Семенович, я не купался, я сидел...

— Ничего не понимаю, Валико, что случилось?

— Вы не в курсе?

— Конечно, не в курсе.

— Сегодня ночью на тренировочных полетах убили Шалва.

— Шалва? Откуда ты знаешь?

— Кикнадзе сказал. Он оттуда прилетел, я его в диспетчерской встретил. Ну и вот...

* * *

Шалва Баркалая был младшим братом Валико.

Когда Валико только еще начинал учиться в аэроклубе, Шалва ходил в первый класс. Его героем, почти богом был, естественно, старший брат — великий смельчак, человек-птица... Когда Валико вернулся с войны, Шалва ушел в летную школу. Кем быть — такого вопроса для Шалвы просто не существовало — быть как Валико, хоть чуточку на него похожим, это подразумевалось само собой.

Через два года Шалва стал летчиком сельскохозяйственной авиации, пилотом старенького ПО-2.

Потом его перевели вторым пилотом ЛИ-2.

Шалве повезло: он попал в руки такого командира корабля! Три года Шалва пролетал с Сергеем Семеновичем Лагиным. Потом его послали на курсы. Шалва прошел полный курс наук и получил свой первый корабль, тоже ЛИ-2. С тех пор прошло уже много времени. Шалва снова и снова учился, проходил одни курсы, потом другие, третьи. В конце концов он обогнал Валико. В летной книжке Шалвы Баркалая значились: ТУ-104, ИЛ-18, АН-10, и ТУ-124, и АН-24...

Три года назад Шалву назначили летчиком-инструктором управления. Его приглашали на испытания новых машин, он открывал новые трассы.

И все чаще теперь случалось, что молодые пилоты называли Валико братом Шалвы Баркалая, «ну, того самого Шалвы Федоровича, который недавно летал в Мексику...»

* * *

Сергей Семенович молчал. Смотрел в одну точку и молчал.

— Разрешите идти? — спросил Валико.

— Подожди, — сказал Лагин, — подожди, Валико.

За окном палило белое солнце. Налетал короткими порывами горячий ветер, раздувая полосатый ветроуказатель-кол-

дун над крышей метеорологической станции. В зале ожидания бесновались пассажиры.

Молчал Лагин; молчал Валико, о чем они думали в эти минуты, не узнает никто, не узнает никогда.

Наконец Лагин спросил:

— Скажи, Валико, только честно: лететь можешь?

— Теперь могу, Сергей Семенович.

— Точно?

— Точно.

— Ты понимаешь, Валико, что я хочу тебе сказать...

— Не надо, Сергей Семенович, ничего говорить не надо. Я и без слов все понимаю. Разрешите идти? Все будет нормально, Сергей Семенович, не беспокойтесь...

Молчание, потом короткое:

— Иди.

* * *

В кабинет Лагина вошел начальник метеобюро:

— Сергей Семенович, так что вы решили с помещением для баллонов?

— Потом.

— Что потом?

— Потом зайдите...

Заглянул заместитель.

— Сергей Семенович, звонили из обкома...

— Потом.

Открыл дверь инженер и, ни о чем не спрашивая, отступил...

Лагин позвонил диспетчеру.

— Рейс 1028 выпускайте. Задержку запишите по техническим причинам. Приземление в пункте назначения доложите мне немедленно. Поняли? Немедленно!

Лагин положил трубку на аппарат и закрыл глаза.

* * *

Охрипшее радио объявило:

— Пассажиры, следующих рейсом тысяча двадцать восемь, по маршруту Казань—Тбилиси, просим пройти на посадку.

— Слава богу, — сказал высокий тощий человек в поношен-

ном макинтоше и сильно помятой соломенной шляпе.— Я уж думал, заночуем.

— Летайте самолетами Аэрофлота — быстро, удобно, выгодно! — сказал молодой парень, сверкавший заклепками тещаских брюк, дешевым браслетом для часов и золотыми коронками. При этом он иронически улыбнулся.

— Все-таки это нельзя так оставить,— сказала упитанная дама, обмахиваясь изрядно помявшимся веером из газеты,— надо в конце концов выяснить, что у них там за технические причины. Три часа убили. За что?

— Совершенно верно,— сказал танкист-подполковник и подхватил сумку непримиримой дамы.— Разрешите?

Пассажиры потянулись на посадку.

Радио хрипело им вслед:

«Повторяем. Производится посадка на самолет, следующий по маршруту Казань—Тбилиси, рейсом тысяча двадцать восемь...»

* * *

Валентин Федорович Баркалаев сел на место командира корабля. Распустил тугой узел галстука и, не поворачивая головы, спросил:

— Готовы?

— Готовы, Валентин Федорович,— сказал второй пилот.

— К запуску! — тихо скомандовал Баркалаев.

Через пять минут ИЛ-14 лег курсом на Тбилиси.

НУЖЕН ХОРОШИЙ ЛЕТЧИК

Утро было хрустально-прозрачным, и солнце светило так прилежно, как уже давно не светило. И телефон не звонил каждые пять минут. И угрюмый завхоз не приходил со своими вечными проблемами: брать десять или лучше пятнадцать кислородных баллонов сразу?.. Словом, все было хорошо, даже очень хорошо, и профессор Богородский находился в самом лучшем расположении духа.

Накануне его долголетние исследования получили официальное признание. Институту выделили дополнительные средства на расширение работ; на одном из подмосковных аэродромов стоял новый, специально оборудованный под летающую лабораторию самолет. Чего же еще желать?

Наконец-то можно было всерьез наступать на грозу, решительно и развернуто. Можно врезаться в иссиня-черные ту-

чи, рассыпать реагент, перестраивать капли по своему усмотрению и заставлять проливаться на землю не уничтожающий грозовой ливень, а милый, теплый, полезный дождик... Можно открывать наглухо закрытые непогодой аэродромы и по заказу переделывать град на обычные безобидные осадки, можно рассекать светлыми полосами туман...

Все это, конечно, случится не завтра, но теперь уже скоро. До сих пор профессор только верил, чувствовал, а теперь он знал совершенно точно — двадцать лет поисков, сомнений не прошли зря и вот-вот дадут практические, осязаемые результаты. Для окончательной победы над стихией профессор располагал теперь решительно всем: идеями, деньгами, коллективом молодых сотрудников-энтузиастов, мощной материальной базой, не хватало только летчика летающей лаборатории.

Профессор Богородский вызвал начальника отдела кадров института:

— Скажите, пожалуйста, Павел Борисович, где нанимают на работу летчиков? Через какую организацию?

— Летчиков? Право, затрудняюсь ответить, Аркадий Андреевич, никогда не приходилось нанимать летчиков.

— Жаль. Придется выяснить, и возможно быстрее. Прошу иметь в виду: нам нужен не просто летчик, а совершенно особенный специалист — самый квалифицированный, вместе с тем осторожный, обязательно опытный и по возможности обладающий вкусом к экспериментальной работе. Словом, нам нужен летчик высшего класса.

— Слушаюсь, Аркадий Андреевич, буду выяснять, какие на этот счет имеются возможности.

— Очень хорошо, Павел Борисович. И пожалуйста, не откладывайте это дело в долгий ящик, ни в коем случае не откладывайте.

Не прошло и получаса после этого разговора, а профессор уже звонил в отдел кадров:

— Так что ж слышно, Павел Борисович?

— В каком смысле, Аркадий Андреевич?

— В смысле летчика, разумеется, когда у нас будет летчик?

— Пока еще выясняю, Аркадий Андреевич, еще ничего определенного не могу вам сказать...

— Поторопитесь, пожалуйста, Павел Борисович. Это чрез-

вычайно важное задание. И пусть первый же кандидат придет ко мне лично. Для предварительной беседы.

— Ну, повело! — сказал Павел Борисович, опуская телефонную трубку на рычаг аппарата. — Теперь не успокойтесь, теперь умри, а подай ему летчика!

Павел Борисович знал, что говорил. Недаром он проработал с профессором Богородским больше пятнадцати лет и успел за эти годы узнать своего шефа.

Начальник отдела кадров старался, что называется, в поте лица. Но нанять летчика на работу оказалось не так просто. Аэрофлот своих людей не отпускал, Военно-Воздушные Силы — тоже, безработные пилоты по Москве не слонялись. Наконец кто-то из приятелей-кадровиков надоумил его обратиться в Летно-исследовательский институт. Там Павла Борисовича выслушали и предложили заключить договор на проведение летных экспериментов, необходимых профессору Богородскому. Павел Борисович это любезное предложение отклонил, ссылаясь на специфику, на то, что у него в институте есть свой собственный самолет, на срочность и государственную важность работы. После долгого обмена мнениями, похвалившего больше на цыганский торг, ему в конце концов обещали выделить летчика-испытателя для работы по совместительству. Правда, предупредили: окончательное решение следует согласовать с соответствующим управлением соответствующего министерства... В принципе это был, кажется, единственный реальный вариант. И Павел Борисович согласился.

— Как совместительство? — удивился профессор Богородский, узнав о результатах переговоров Павла Борисовича. — Почему совместитель, когда нам нужен свой человек?

— Что ж делать, Аркадий Андреевич, но летчики на улице не валяются. Нет свободных людей...

— Черт знает что! За свои деньги, на свой самолет, чтобы нельзя было нанять летчика! Не понимаю. Безобразие! — И, немного успокоившись, Богородский спросил: — Ну, а когда он будет, ваш совместитель?

— Дня через три.

— Прекрасно! Значит, еще и ждать надо. Прекрасно и удивительно!..

Через неделю приглашенный для переговоров летчик явился. Его немедленно проводили к профессору Богородскому.

— Ковалев, — представился летчик.

— Профессор Богородский, Аркадий Андреевич. Простите, как ваше имя и отчество?

— Михаил Иванович.

— Очень приятно, — сказал Богородский, хотя никакой приятности не ощутил.

Летчик показался ему слишком молодым, слишком мелким, слишком угрюмым и вообще каким-то недостаточно солидным. Но сказать этого профессор, естественно, не мог и поэтому спросил:

— Давно летаете, Михаил Иванович?

— Двенадцать лет.

— Вы испытатель?

— Так точно, испытатель.

— А в грозу вам приходилось летать?

Ковалев усмехнулся.

— Случалось.

— Ну и как?

— Ничего хорошего.

— Так-так-так... — И вдруг, разозлившись на себя, на свою нерешительность, на интеллигентскую мягкотелость, Богородский спросил: — А с тяжелейшими полетами в грозовых облаках, с пересечением фронтальных разделов вы в состоянии успешно справиться?

«Эк его дернуло», — подумал Ковалев и ответил:

— Этого вам никто заранее гарантировать не может. Гроза — штука серьезная.

— Благодарю вас, Михаил Иванович. Мне было весьма любопытно познакомиться с вами. Если не возражаете, в ближайшие два дня мы поставим вас в известность. Надеюсь, вы понимаете — ответственные решения требуют размышления... — Богородский поспешно поднялся с кресла и протянул Ковалеву руку.

Ковалев еще раз усмехнулся и ничего не сказал.

Богородский подумал: «Нет, нет, нет. Типичное не то...» Почему «не то», он вряд ли сумел бы объяснить. Но Ковалев ему не приглянулся...

А еще через несколько дней перед ним предстал новый кандидат — летчик-испытатель первого класса Вадим Петрович Микоша. Пожилой уже, грузноватый мужчина, с хитринкой в глазах, неторопливый, видный, явно знающий себе цену человек.

— Работа у нас специфическая, Вадим Петрович.

— Догадываюсь, по грозовым облакам лазать — не чай пить, тем более если полеты связаны с пересечением фронтальных разделов.

— Верно! И тем не менее без этого нам не обойтись. Двадцать лет работал наш институт для того, чтобы вверить вам свои расчеты, мысли, выводы, методы воздействия...

Далее следовала сорокапятиминутная лекция о задачах института в целом и его практических исследованиях в частности. Лекция была, как всегда, блестяща, остроумна и увлекательна.

— Весьма польщен доверием науки, — сказал Микоша, внимательно выслушав Богородского, — весьма. И вполне понимаю, какую меру ответственности вы собираетесь возложить на мои плечи. Понимаю.

— Прекрасно. Очень хорошо. Мне кажется, Вадим Петрович, что мы сработаемся и вполне устроим друг друга. Признаюсь, меня это радует.

— Сработаемся? Возможно, возможно, очень возможно. Только полной ясности я пока еще не наблюдаю.

— Как прикажете вас понимать?

— А очень просто: задачи задачами, но как вы собираетесь оплачивать мою работу, профессор? За программу, почасно или, может быть, каким-либо иным способом?

— Признаться, над этим вопросом, Вадим Петрович, я еще не думал.

— Вот и зря! Подумайте. Работа есть работа, и за идеи, так сказать, в чистом виде я летать не собираюсь, не привык. Так что пока — будьте здоровы, мой телефон вам известен. — Микоша медленно поднялся, не спеша покинул профессорский кабинет. Он знал себе цену, этот пожилой мужчина с хитринкой в глазах, летчик-испытатель первого класса.

А профессор растерялся. Сколько раз в жизни он принимал на работу докторов, кандидатов наук, аспирантов, инже-

неров, технический персонал. Но никогда ему не приходилось испытывать таких затруднений.

Что делать? Ведь институту действительно был нужен летчик, хороший летчик, нужен был немедленно...

* * *

Вечером профессор Богородский по его личной просьбе был принят одним ответственным товарищем. Аркадий Андреевич нервничал. Заметим — с ним это случилось не часто.

— У нас есть все, — говорил профессор, — и тем не менее мы до сих пор не можем приступить к главному этапу работы. И все из-за того, что невозможно найти летчика на летающую лабораторию. Одного прислали (неделю назад) — ни рыба ни мясо, в принципе он, может быть, и вполне серьезный испытатель, не знаю, но только не для нашей работы. «Да, нет, возможно, так точно...» Пожалуйста, не возражайте, на одной исполнимости науки с места не сдвинешь... Надеюсь, вы согласны со мной?

Сегодня явился другой кандидат. Респектабельный, весьма импозантный, но знаете, что его интересовало больше всего? Не предмет, не задача исследования, не возможные перспективы, аспекты решений, а порядок оплаты! Я живу на грешной земле, и тоже денежное содержание получаю, и, между прочим, совсем не безразличен к благам, но, помилуйте, кто из серьезных людей может позволить себе начинать со следствия, а не с причины?

Ответственный товарищ усмехнулся, он был уже в курсе профессорских дел, и миролюбиво сказал Богородскому:

— Завтра не обещаю и послезавтра тоже не обещаю, а вот в понедельник направлю вам одного человека. Надеюсь, с ним вы сговоритесь. Потерпите до понедельника, Аркадий Андреевич. А тех товарищей, что были у вас, не судите слишком строго. Между прочим, Ковалев — Герой Советского Союза, скоростник и высотник, а Микоша — заслуженный испытатель, и биография его в полном смысле этого слова — глава истории отечественной авиации. Что ж делать — люди не ангелы. Потерпите до понедельника? Лады?

И, к своему великому изумлению, профессор Богородский ответил:

— Лады.

* * *

Профессор Богородский возвращался в свой институт в невеселом раздумье. Интересно получалось: Ковалев — скоростник, высотник и к тому же еще Герой. Вот никогда бы в голову не пришло! А почему, собственно? Да, почему? Не обладает заметной внешностью, показался в разговоре скованным — все это так, но что он, Аркадий Андреевич, мог привести еще в качестве довода «против»? И приходилось признаться самому себе: ничего, решительно ничего. А этот Микоша? Вписал главу в историю отечественной авиации! Подумать только...

В вестибюле Богородский задержался перед зеркалом и очень внимательно стал разглядывать свое изображение. Он увидел высокого, сухощавого, далеко не молодого мужчину. Волосы редкие, глаза посажены узко и вовсе не излучают ни моря обаяния, ни потока интеллекта. Аркадий Андреевич приблизил лицо к зеркалу и обнаружил глубокие морщины, опускавшиеся от крыльев носа к подбородку, и синеватые мешки под глазами. И, недовольный своим исследованием, он быстро пошел к лифту. Признаваться в этом было неприятно, но и скрыть тоже невозможно — нет, нет, он вовсе не показался себе светочем науки, если честно сказать, — провинциальный бухгалтер. И тем не менее никто по этой причине не пытался отстранить его от руководства наукой, спихнуть с должности руководителя института, вставлять палки в колеса. Ах как нехорошо у него получилось с этими летчиками, как несолидно!..

И чтобы отвлечься от неприятного ощущения, он стал думать о том, как мало еще сделала наука для объективного определения человеческих способностей, талантов, призвания. Сложнейшие системы поддаются точному количественному анализу и оценке, а человека — творца и создателя этих систем — человека на глазок судим. И даже мерила настоящего не знаем. Нравится, не очень нравится, совсем не нравится... Какая кустарщина! И все-таки он так и не сумел ответить на вопрос: а как же надо мерить?

* * *

Наступил понедельник. В кабинете Богородского появился обещанный летчик. Он был высок, строен, подвижен. Лицо

загоревшее, волосы с сильной проседью. Одет модно, пожалуй, даже слишком модно. Он вошел легкой, пританцовывающей походкой и сразу же от дверей заговорил:

— Здравствуйте, профессор. Моя фамилия Островский. Борис Владимирович. Садитесь, пожалуйста, чего вы стоите? Ну так вот: на аэродроме я был, вашу элэл осмотрел. Во-первых, надо поставить на все сиденья ремни истребительного типа. Записывайте. А то в грозе так мотаает, что недолго и фюзеляж головой проломить. Значит, ремни. Записали? Во-вторых, кислородное оборудование смонтировано ни к черту. Халтура. Сейчас что получается — запас горючего позволяет ходить восемь часов, а емкость кислорода рассчитана на четыре. Не вижу логики. Баллоны надо заменить. И шланги коротки. Вашим сотрудникам, как я понимаю, надо ведь работать в полете, следовательно, двигаться. А шланг — метр. С таким шлангом они будут как бобики на цепи сидеть. Не годится. В-третьих, обратите внимание на антиобледенители, мне не нравятся...

— Простите,— сказал Аркадий Андреевич,— вы по профессии, собственно, кто, инженер?

— Инженер, но это не имеет значения. Я говорю с позиций летчика-испытателя. Послушайте, пожалуйста, и посмотрите: я начертил принципиальную схему переделок по антиобледенительным устройствам. Тут все просто. Сделать можно быстро и дешево.

Островский взял со стола Богородского лист бумаги и сказал:

— А теперь давайте сочинять приказ.

— Какой приказ?

— На полеты, разумеется. Я же понимаю, вам не терпится начать работу. Давайте сочиним приказ, облетаем машину, параллельно будем вести доводку и, таким образом, сдвинем, наконец, дело с мертвой точки. Главное — дать импульс, главное — начать.

— Слушайте, Борис Владимирович, а вы... вы мне действительно нравитесь...

— Простите, не понял, что вы сказали?

Но Богородский больше ничего не сказал, а Островский не стал настаивать.

— Ну ладно. Работаем? Приказ — во-первых, график поле-

тов — во-вторых, перечень экспедиционных точек — в-третьих. Думаю, на сегодня хватит?

И они начали работать.

* * *

Где-то над Кавказом бродили грозы. Где-то в горах проливались сокрушительные ливни. Где-то в долинах убийственный град сметал с лица земли молодые побеги табака, уничтожал завязи цитрусовых. Где-то на дальнем севере коварный туман перекрывал посадочные полосы.

И ни грозы, ни ливни, ни градовые облака, ни туманы не знали еще — скоро им придет конец, скоро человек заставит их умирать по своей воле, по своим соображениям, по своим приказам.

Я РЕШИЛ...

Вы видели, как взлетают большие и очень тяжелые воздушные корабли? Сначала машина бежит будто нехотя, будто неторопливо, будто преодолевая невидимую преграду, потом оживают крылья: медленно тянутся они вверх, к небу, осторожно вытаскивая с земли громадину фюзеляжа. И, только преодолев силу земного притяжения, машина обретает стремительность, легкость, уносится вдаль со свистящей, пугающей скоростью.

Так бывает всегда, и точно так было на этот раз.

Двухсоттонный опытный корабль бежал лениво и неохотно, пока не начал терять в весе — пока не заработали крылья, потом осторожно приподнялся нос...

Штурман докладывал командиру:

— Скорость сто восемьдесят... сто девяносто... двести десять... Вышли на взлетный угол... Скорость двести сорок...

Командир корабля прислушался к машине, ожидая отрыва от земли. Он, командир, сделал все, что было положено сделать. Теперь корабль должен отделиться от бетонированной полосы и уйти в небо. Ничто другое было уже невозможно: прервать взлет даже при желании нельзя — на пробег и остановку громадного корабля не хватит никакого аэродрома, ускорить взлет тоже нельзя — машина вышла на взлетный угол, и ей осталось только добрать последние, недостающие капли скорости.

Командир корабля ждал. И дождался. Корабль «повис» на штурвале, исчезли толчки колес о бетон, земля начала медленно удаляться.

И прежде чем он понял, что произошло, почувствовал: что-то произошло.

Перед самым отрывом машину качнуло. Качнуло плавно, не сильно, но неожиданно. Это первое! Отрыв от земли сопровождался странным, необычным звуком — сначала что-то зашаркало, следом прерывисто зашипело. Это второе! И наконец, всем своим нутром, силой интуиции опытного испытателя командир корабля ощутил: не то... Это третье и, может быть, самое главное!

Через минуту экипаж знал: во время отхода от земли сорвалась со своего места правая тележка шасси. Такое казалось невероятным, невысказанным, противоестественным, но... все четыре здоровенных колеса остались на летном поле, а в воздухе торчала голая стойка...

Через пять минут о чрезвычайном происшествии доложили главному конструктору, через десять — о неприятности знал заместитель министра.

* * *

Командир корабля поманил бортинженера:

— Скажи, Леша, стойка без колес уберется?

— Должна.

— Убирай!

Инженер тревожно глянул на командира.

— Ну, чего смотришь? Так или иначе надо выработать горячее. В запасе у нас часов шесть. Давай убирать шасси.

Шасси убралось. На табло погасли зеленые и загорелись красные лампочки.

Командир занял заданный эшелон и доложил земле:

— Шасси убрал нормально. На борту все в порядке. Приступаю к выполнению основного задания.

Штурман записал время и дал первый курс.

* * *

В далеком стратосферном небе летел двухсоттонный корабль. Летел по треугольному маршруту, строго выдерживая заданную высоту и скорость.

Экипаж работал. В определенные, заранее рассчитанные на земле мгновенья экспериментаторы включали и выключали записывающую аппаратуру; постоянно следили за дополнительными приборами, тщательно контролировали расход горючего, масла и кислорода. Штурман считал путь, брал пеленги, выверял показания радиоприборов, делал записи в бортовом журнале.

Вел корабль второй летчик. Временами вручную, временами он включал автопилот. Все совершалось в строгом соответствии с тщательно разработанным и подробно обдуманым полетным заданием.

Командир корабля лишь изредка скользил взглядом по приборам. В остальное время он сидел, откинувшись на спинку своего удобного глубокого кресла, и думал.

* * *

А на аэродроме собралось сверхэкстренное совещание. Беглый осмотр оставшейся на земле тележки шасси показал: срезало нижний стакан стойки. Вероятнее всего, причиной происшествия послужил технологический дефект. Подробности предстояло еще выяснять, но пока подробности никого не занимали. Надо было решать, как приземлить машину.

Прежде всего был выдвинут вариант посадки с убранным шасси, на живот. Мнение было общим: фюзеляж деформируется, самолет надолго выйдет из строя. Дальнейшие испытания задержатся минимум на несколько месяцев. Это минусы. Экипажу при такой посадке ничего не грозит — это плюс...

Стали прикидывать возможность посадки на одну основную тележку шасси и переднее носовое колесо. Мнения разделились: одни считали такой вариант более, другие менее рискованным. Но всех смущала стойка. В правой, лишенной колес стойке, таилась громадная опасность. Если только стойка зацепит землю раньше, чем машина потеряет скорость, самолет

начнет разворачивать, и тогда можно ждать всего: и крупной аварии и даже катастрофы...

Инженеры попытались сделать хотя бы приблизительные расчеты: какую скорость касания стойки о землю можно считать безопасной. Но однозначного ответа получить не удалось — в расчете было слишком много неизвестных.

— Во всяком случае, перед приземлением экипаж следует эвакуировать, — сказал заместитель главного конструктора, — пусть все, кроме командира и второго пилота, покинут машину с парашютами.

С заместителем главного никто спорить не стал.

* * *

Небо было хмурое, серовато-белесое, но облачность держалась высоко, и снегопад не ожидался. Морозы спали. Ветер убили накануне. Аэродром выглядел тихим, очень мирным, словно бы дремлющим под пушистым снеговым покровом. Только расчищенная длиннейшая взлетно-посадочная полоса имела рабочий, а не идиллический вид. Сухой бетон, исчерканный черными каучуковыми линиями, напоминал о жесткости земли и главном условии благополучности любого полета: безаварийной посадке...

Так было на земле.

А в далеком стратосферном небе, холодном, ярко-синем и солнечном, летел двухсоттонный корабль.

Командир машины летчик-испытатель Хабаров подозвал бортиинженера.

— Леша, — сказал Хабаров, — ты можешь вскрыть электропиток и переключить схему так, чтобы при выпуске шасси вышли только левая и передняя стойки, а правая осталась убранной, на замке? В принципе это должно быть возможно. Если сделаешь, все будет куда проще.

— Надо посмотреть, — сказал бортиинженер, — надо подумать.

— Только не торопись, Леша, время еще есть.

— Хорошо, — сказал бортиинженер, — я не буду торопиться.

Командир кивнул и вызвал по переговорному устройству штурмана:

— Как горючее, Виктор Платонович?

Штурман доложил остаток горючего и расчетное время полета.

— Понял,— сказал Хабаров,— спасибо.

Второй переключил управление на автопилот и стал жевать яблоко. Яблоко было зеленое и кислое. Второй морщился.

Хабаров посмотрел на второго и улыбнулся.

На аэродром приехал заместитель министра. Начавшего полнеть, начавшего седеть, начавшего сутулиться, этого властного и всегда замкнутого пятидесятилетнего мужчину здесь хорошо знали. Он ведал всем, что так или иначе было связано с постройкой опытных самолетов. Его уважали — заместитель министра был серьезным инженером,— и его побаивались: чужое самолюбие заместитель не щадил, представление о прочности авторитетов полагал величиной относительной и вообще отличался строгостью. Заместитель министра хмуρο поглядел на инженеров и, ни к кому персонально не обращаясь, спросил:

— Как это вас угораздило?

Ему стали объяснять обстановку. Он не дослушал:

— Ладно! Призы раздавать потом будем. Стрелочника вы найдете, не сомневаюсь. Давайте сначала решим, что делать дальше.

Ему доложили все обдуманные варианты. На этот раз он никого не перебивал. Слушал, курил. Когда инженеры высказались, спросил:

— Где Хабаров?

Ему показали по карте.

— Ясно. Сколько у него осталось горючего?

Ему доложили.

— Связь есть?

— Есть.

Дайте микрофон.

Он покачал микрофон в руках, словно хотел взвесить, осторожно нажал кнопку и вызвал Хабарова.

— Андрей Дмитриевич, у микрофона... — заместитель министра назвал себя. — Как дела? Как настроение?

В динамике зашуршало, щелкнуло, и глуховатый голос Хабарова произнес:

— Настроение? Настроение бодрое. — Летчик усмехнулся. — Идем к дому, продолжаем работать; с вашего разрешения минут через двадцать доложу обстановку подробнее.

— Ну-ну, не тороплю,— сказал заместитель министра,— жду двадцать минут.

— При всех условиях перед посадкой надо эвакуировать экипаж... — сказал заместитель главного конструктора.

— Подождем двадцать минут,— сказал заместитель министра,— не будем мешать людям.

— На статических испытаниях все было хорошо,— сказал инженер, ведавший прочностью, но ему никто не ответил.

* * *

В расчетное время командир корабля начал снижение. Экспериментаторы продолжали щелкать тумблерами: включали и выключали приборы, производили записи все новых и новых режимов; запасались самым дорогим для инженеров — информацией. Штурман уточнил время прибытия на аэродром и запросил у метеорологов погоду. К командиру подошел бортинженер:

— Все. Переключил,— сказал он и развернул электросхему. Паутина проводников была рассечена нескончаемыми красными линиями. Там, где поработали кусачки, появились косые кресты, там, где были перепаены контакты,— размашистые кружочки.

Хабаров долго рассматривал схему, водя пальцем по черным и красным линиям. Складывал губы трубочкой, гмыкал. Наконец сказал:

— Выходит, сработает.

— Должно сработать. По науке — должно.

— Ну что ж, попробуем...

Командир перевел машину в горизонтальный полет, погасил скорость и приказал:

— Давай.

Бортинженер перевел кран выпуска шасси в крайнее нижнее положение. Сначала погасла одна красная лампочка, потом другая... Прошло совсем немного времени, и машина чуть вздрогнула. Раз, потом еще раз. На табло засветились два зеленых огонька: левая стойка шасси встала на место, и передняя стойка тоже встала на место, а правая не выпустилась, правая была на замке — об этом докладывал красный огонек.

Корабль продолжал снижение. Внизу, теперь уже совсем близко, белело облачное поле. Оно клубилось, ворочалось, словно живое, ослепительно сияло в лучах яркого холодного солнца.

Через минуту-другую экипажу предстояло нырнуть в облака. Под облаками лежала земля, на земле — взлетно-посадочная полоса, та самая, что принимает на свои бетонированные плечи каждый возвращающийся издалека самолет...

* * *

Главный конструктор поглядывал на часы. Все порывался что-то сказать и не говорил. Заместитель министра смотрел в окно командного пункта и тоже молчал. Инженеры перешептывались. Заместитель главного, не обращаясь ни к кому персонально, как бы мимоходом заметил:

— Кажется, пора давать указания экипажу...

И тут в динамике щелкнуло. Командный пункт наполнился голосом Хабарова. Сначала командир корабля доложил о месте нахождения машины, потом о времени прибытия на аэродром и, прежде чем земля успела дать ему свои указания, сообщил:

— Докладываю относительно посадки: я решил приземлиться на левую основную и переднюю стойки шасси. Экипаж остается на борту. Курс посадки общий. В конце полосы прошу выслать тягач, пожарную машину и наземный экипаж. У меня все.

Главный конструктор поморщился. Заместитель сказал:

— Хабарову все ясно... И никаких сомнений... Все-таки удивительно... Удивительно бывают устроены люди...

Заместитель министра промолчал.

Руководитель полетов ответил Хабарову:

— Понял вас. Все будет сделано.

Над заснеженным аэродромом раскинулась тишина, густая и плотная. Казалось, снег впитывает в себя все звуки, как губка воду. Тревога не обнаруживалась, никак зримо не ощущалась. Видно, тревога транслировалась на других волнах, и уловить ее было просто невозможно...

* * *

Наконец двухсоттонный корабль появился в поле зрения командного пункта. Машина решительно снижалась. Даже невооруженным глазом можно было уже разглядеть: левая

основная и передняя стойки выпущены, правой стойки нет.

— Что за черт! — сказал заместитель главного конструктора. — Куда они, однако, девали стойку?

— Сумели, молодцы, сообразили! — сказал заместитель министра.

— Это же Хабаров! — сказал главный конструктор...

* * *

Командир экипажа приказал:

— Экипажу в хвост. — Посмотрел на второго пилота. — И ты давай в хвост. Леша, сядь на его место...

Машина приближалась к земле.

— Леша, приготовься выключить двигателя. Только не торопись. Я скажу.

— Понял, — сказал бортинженер.

Командир корабля подвел машину к самой земле, прикрылся креном. Он слышал, как левая тележка шасси чиркнула по бетону. И тут же крикнул:

— Вырубай!

Бортинженер отозвался, словно эхо:

— Двигатели выключены.

Корабль бежал по самой кромке бетона, высоко задрал нос. Хабаров выбрал штурвал на себя до отказа и ждал. Он знал: сейчас, когда начнет убывать скорость, нос станет опускаться, и тут важно не упустить момент.

Нос стал опускаться. Хабаров почувствовал — сию секунду передние колеса коснутся бетона. Ни мгновением раньше и ни мгновением позже он дал левую ногу и намертво зажал тормоза. Самолет пошел в разворот. А обезноженная правая консоль все еще держалась в воздухе, все еще летела. Это был точный, очень точный расчет...

Корабль выскочил с полосы, пропахал в снегу метров сто пятьдесят и тихо опустил плоскость в рыхлый сугроб.

Вмешательства пожарной команды не потребовалось.

Помощи санитарной машины тоже не потребовалось.

Даже тягач мог не особенно спешить к месту аварийной посадки.

МИСТЕР РИЧАРД

Ай ду ю ду! Вас ист хир лос? Же сью арриве... — таким невообразимым англо-немецко-французским коктейлем было ознаменовано появление мистера Ричарда на верхней палубе «Терека».

Все это выпаленное с яростью пулеметной очереди должно было означать: «Здравствуйте! Что у вас тут случилось? Я к вашим услугам».

А случилось вот что: во время выгрузки зерна по недосмотру одного из портовых рабочих в шестерни судовой лебедки попал трос. Вал подъемника основательно погнуло, машина вышла из строя.

По поводу этого неприятного происшествия грузополучатель принес извинения и прислал на пароход мистера Ричарда — лучшего ремонтного механика порта.

Мистер Ричард оказался крепким,

спортивного вида мужчиной. Его украшали коротенькие зеленые штанишки, такая же зеленая рубашка и смешная жокейская кепочка с целлулоидовым прозрачным козырьком.

Мистер Ричард разговаривал чуть не на всех языках мира одновременно, громко хохотал, хлопал всех по плечу и производил впечатление самого неунывающего человека на свете.

Мистер Ричард осмотрел лебедку и уверенно заявил:

— Чепуха. День работы. И все будет о'кэй! Аналогичный ремонт мне случилось делать на Формозе. Это было лет двадцать назад, но я как сейчас помню того клиента — итальянец «Джорджио». Постройка 1916 года. Водоизмещение 8200 тонн.

Мистер Ричард обернулся к двум сопровождавшим его слесарям и, быстро размахивая руками, вплетая в три европейских языка словечки из урду и хинди, объяснил им, что надо разбирать лебедку и тащить вал в мастерскую.

Потом мистер Ричард обернулся к старшему механику «Терека» и, продолжая говорить все в том же наступательном темпе, задал несколько неожиданный вопрос:

— Как у вас работает рефрижератор, сэр?

— Хорошо, — ответил Братченко.

И прежде чем старший механик успел поинтересоваться, какое отношение может иметь рефрижератор к ремонту лебедки, мистер Ричард понесся уже дальше:

— Хорошо. Приятно слышать! Значит, можно рассчитывать на глоток чего-нибудь холодного? Вери гуд! Я живу в колониях уже двадцать пять лет, и, если бы цивилизованные пароходы не посещали этих забытых господом богом мест, мне давно суждено было б забыть запах вина. Честное слово! Что мы выпьем, чиф? По стаканчику пива? Или, может быть, у вас найдется что-нибудь более внушительное?

Жара раскалила пароход. Ни за что металлическое невозможно было взяться.

В такое пекло даже воду пить тяжело. Но мистер Ричард был гостем «Терека», и старшему механику Братченко не осталось ничего другого, как пригласить мистера Ричарда к себе в каюту, откупорить бутылку кубанского красного и наполнить стаканы.

От предложенной легкой закуски мистер Ричард отказался. Он отхлебнул глоток и немедленно прокомментировал:

— О'кэй. Прекрасное вино! Нечто подобное я пивал на Цейлоне, когда туда занесло ваш танкер «Перекоп» с разво-

роченным ко всем чертям брашпилем. Как сейчас помню, ремонт продолжался два дня, и чиф инженер, кажется мистер Климоф, остался мною доволен. Впрочем, я им тоже: «Перекоп» ушел облегченный на пять бутылок вашего отличного вина.

Мистер Ричард громко расхохотался и, высоко подняв свой стакан, выкрикнул:

— Чериоп! Прозит! Будем здоровы!

Братченко с тоской поглядел на мистера Ричарда, поднял свой стакан, пригубил терпкое вино и поставил стакан на стол.

Братченко никак не мог сообразить, что ж ему делать с изуродованной лебедкой. На мистера Ричарда он не надеялся...

Через полчаса мистер Ричард уехал, пообещав, что на следующий день к обеду все будет непременно в полном порядке. Он долго и энергично тряс руку Братченко, хлопал его по плечу и вообще был настроен наилучшим образом.

Проводив разбитого механика до трапа, Братченко снова принялся думать: «Выгнуть вал на судне трудно, почти невозможно, но если даже и удастся выгнуть, как проверить вал? В судовой токарный станок вал не влезет... Что ж делать?» И оттого, что решение не приходило, Братченко мрачнел все больше и больше, а к вечеру, отводя душу, учинил такой разнос машинной команде, какого не помнили даже старожилы судна.

Мистер Ричард появился на пароходе на другое утро, задолго до назначенного срока. Он влетел в каюту как порыв тайфуна.

— Доброе утро, старина! Почему такая мрачность! А-а, понимаю — душа горит? У меня тоже. Видно, нам придется с утра немножко выпить? Нехорошо для здоровья, но что делать? Когда я работал на Танганайке, у меня день начинался маленьким стаканчиком виски. И ничего — выдержал.

Братченко, мрачный как туча, откупорил бутылку грузинского № 19. Мистер Ричард, отведав вина, пришел в полный восторг:

— О, мон дье! Такое славное вино мне довелось нюхать в Порт-Саиде. К сожалению, ваш «Адмирал Макаров» заскочил в порт с каким-то совершеннейшим пустяком в рулевой машине, и я проводил его через два часа, облегчив только на три бутылки...

— Как вал? — спросил Братченко.

— Какой вал? У «Адмирала Макарова» был поврежден золотник.

— Простите, мистер Ричард, но меня гораздо больше интересует сейчас вал лебедки «Терека». Что с ним?

— Все прекрасно, вал уже лежит в мастерской, и если вам хочется его проведать, пожалуйста...

— Когда вы его выправите?

— Мы же договорились, мистер Братченко, к обеду.

Мистер Ричард с минуту глядел в мрачное лицо старшего механика, потом ловко опрокинул стакан и предложил:

— Едем в мастерскую. Я сделаю всю операцию при вас. Эй-богу, вам будет полезно немножко проветриться. Долгое сидение на пароходе всегда портит нервы.

...Мистер Ричард отчаянно гнал свой разбитый, выдавший виды «оппель-капитан» по узеньким улочкам порта. Через пятнадцать минут машина была у цели, и Братченко очутился в дырявом, изрядно закопченном сарае, перекрытом ветхой крышей.

Человек десять полуголых рабочих возились около допотопнейших станков, собранных, казалось, со всех свалок мира. Здесь делалось все: ремонтировались автомобили, изготовлялись гвозди, отливались канализационные колена, сваривались садовые решетки...

Мистер Ричард хлопнул в ладоши, и тотчас перед ним возник маленький черноголовый мальчуган в красной клетчатой юбчонке.

— Два раза кофе, два раза бисквит, четыре раза коньяк. Быстро!

Осматривая мастерскую мистера Ричарда, этого международного механика, Братченко окончательно терял надежду на ремонт лебедки.

«Что делать? Что делать? Что делать?» — вопрос этот, как гвоздь, сидел в голове.

Тем временем мистер Ричард распоряжался. Он кричал, размахивал руками, отпускал подзатыльники, но в тот момент, когда все было уже готово для установки вала в станок, вернулся мальчик в красной клетчатой юбчонке, и хлопоты шумного хозяина были немедленно перенесены от станка к колченомому столу с замасленной, почти черной крышкой.

— Хелло, чиф! Глоток кофе перед работой. Коньяк, имейте

в виду, вполне приличный, почти «Мартель». О, «Мартель»! К нему я питаю пристрастие с тех пор, когда начал плавать третьим механиком на «Куин Элизабет».

Братченко угрюмо молчал. И это не ускользнуло от внимания хозяина мастерской.

— Мистер Братченко, вам, кажется, не нравится это заведение? Скажу по секрету — мне тоже. Но что делать? В Азии не ищут технического прогресса, здесь делают деньги. За деньги это можно терпеть. Через шесть месяцев я кончаю свой контракт, и тогда прощай, адъё и эта мастерская и вообще Восток.

— Вы вернетесь домой, в Европу? — спросил Братченко. Ему, в сущности, было совершенно все равно, что собирается делать мистер Ричард, но приличие не позволяло молчать, и он задал первый пришедший в голову вопрос.

— Вернусь, но не сразу. У меня еще контракт в Бразилии на два года. Построю там плавучие мастерские и уж тогда домой — в Бельгию, в Льеж, совсем!

Кофе был допит, и мистер Ричард приступил к делу.

Вал зажали в патроне токарного станка, его средняя шейка покоилась в люнете — специальной подвижной опоре, изогнутый конец свободно висел над станиной. Вал нагрели газовой горелкой, и мистер Ричард, лицо которого стало вдруг строгим, а глаза прямо-таки хищными, начал орудовать ломиком. Температуру он определял «на щеку», низко нагибаясь над пышущим жаром металлом, кривизну схватывал вприщур, на глазок. Ему подали рейсмус — прибор для измерения кривизны вала, но он недовольным жестом отбросил его и продолжал дело, ежеминутно наклоняясь к валу, щуя глаз, что-то прищипывая.

Через пятнадцать минут работа была закончена.

Вал закрепили в центрах, проверили, и оказалось, что мистер Ричард не ошибся, кривизна исчезла, биения не было.

— Вот и все. Финита ля комедия, мистер Братченко. А теперь признайтесь — сомневались? Думали, пришел красномордый пьяница, нахвастался, напумел...

— Ну что вы, мистер Ричард! — смутился Братченко.

Мистер Ричард перебил его:

— Двадцать пять лет собирал я по вонючим дырам свои франки. Вы понимаете, что это такое — двадцать пять лет? Может быть, это называется трагедия? Не знаю. Я простой человек и не люблю читать умные книжки. От книжек у меня

болит голова... Да-а, двадцать пять лет! Это не шутка, чиф. За это время дома, в Бельгии, у меня выросла дочь-невеста. А я все мотался по свету. Я растерял многое — друзей, идеалы, привычку к обществу, но одно — мое, мистер Братченко. Вот! Руки! Понимаете, руки! И не сомневайтесь, мистер Ричард настоящий механик. Пусть вас не смущает эта паршивая мастерская. Через два года я вернусь в Льеж и, будьте спокойны, там открою настоящее ателье. У меня будет приличный офис, и свой шофер, и пара расторопных боев. Конечно, Морган из меня уже не получится — поздно, но, если только не будет войны, я еще кое-что успею сделать на этом свете.

Братченко с нескрываемым удивлением смотрел на вдохновившегося мистера Ричарда, поражаясь силе, так внезапно преобразившей этого человека.

— Одно только меня тревожит, дорогой чиф, — продолжал мистер Ричард, — мне уже пятьдесят восемь лет. Видите, — он сорвал с головы жокейскую кепочку с прозрачным козырьком, обнажив совершенно неожиданную круглую, загоревшую до красноты лысину, опушенную легким венчиком седых редких волос, — пятьдесят восемь! И время нельзя остановить... А впрочем, что тут говорить, что думать! Давайте выпьем. Коньяк еще остался. Выпьем, чиф? За ваше здоровье, мистер Братченко!

— И за ваши руки, мистер Ричард!..

Вечером отремонтированная лебедка включилась в работу. Братченко смотрел на тугой, вздрагивающий трос, потом переводил взгляд на чужой темный город, он думал о мистере Ричарде: «Так вот и умрет человек, не узнав пути к настоящему счастью!» И ему было жаль мистера Ричарда. Такие руки! Ведь настоящий механик! И разменял жизнь...

Чужой ветер посвистывал в такелаже.

СЛЕДОПЫТ

Посвящается Аблямиту Умерову

С тех пор как Лешка стал красным следопытом, тихая, спокойная жизнь в доме кончилась. Кончилась начисто. Возвращаясь с заседания своего клуба или из очередной разведки, Лешка как полоумный размахивает руками, глотая слова и весь покрываясь красными пятнами, рассказывает о последней операции — состоявшейся, незавершенной или предполагаемой.

Больше всех домашних достается Лешкиному отцу, подполковнику запаса, бывшему начальнику штаба гвардейского артиллерийского полка. То Лешка требует, чтобы отец немедленно разобрался в обрывке полуистлевшей карты военного времени, то ему необходимо получить подробнейшую информацию о ходе наступательной операции одиннадцатой армии в 1944 году, то отец должен написать «строгий официальный» запрос в наградной отдел министерства.

С некоторых пор над Лешкиной кроватью висит штабная двадцатипятикилометровка, сплошь изрисованная таинственными, одному Лешке понятными значками. Читает Лешка теперь только военные книги, и в первую очередь маршальские и генеральские мемуары. Еще он собирает старые газеты и пишет невероятное количество писем по самым неожиданным адресам.

Лешкин отец, человек рассудительный, уравновешенный и строгий, не знает, как ему быть: сердиться или радоваться.

— Понимаете, какая штука, — говорит Лешкин отец, — ну, если бы он уроков не делал, двоек нахватал, школу бы прогуливал, тогда все было бы ясно. Прекратить! А так к нему не придерешься: занимается нормально, не безобразничает. Только все время возбужденный, какой-то наскипидаренный.

Впрочем, в этот день Лешка пришел домой тихий и озабоченный. Молча поел. Ничего не рассказывал. Родители даже переглянулись, недоумевая: что бы это могло значить?..

— Папа, мне надо с тобой поговорить, — сказал Лешка. — Вопрос очень серьезный. И дай мне честное слово, что пока об этом деле никто ничего не узнает.

— Ну-ну.

— Что ну-ну? Даешь?

— Если надо, даю.

— Тогда слушай. Ты Мусу знаешь, он ко мне приходил. У Мусы есть отец, он работает на комбинате бухгалтером. Понимаешь?

— Пока понимаю.

— Хорошо. Муса случайно — я вовсе не говорю, что это хорошо, но раз так уж получилось, теперь ничего не сделаешь — обнаружил у своего отца одну бумагу... Даже не документ... Муса снял копию с этой бумаги... Отец, конечно, ничего не знает. — Тут Лешка замолчал на некоторое время, покрутил свой рыжеватый чуб, потом полез в портфель. — Вот эта копия, прочти.

Отец надел очки, расправил листки из клетчатой школьной тетрадки и стал изучать бумагу, которая не была официальным документом. Мальчишеским торопливым почерком было написано:

25/X 1941 года немцы прорвали Перекопское укрепление. Под ударами превосходящих сил противника наши войска отступали. 9 ноября мы оказались в городе Керчи. 14-го с утра в городе шел бой. Наши подразделения были прижаты к берегу

Камыш-Буруна и Керченскому проливу. Последовал приказ: технику и транспортные средства взорвать и сжечь. Переправить технику на Тамань не было никакой возможности. Ничего плавучего не осталось. В этой ситуации началась переправа личного состава. Переправлялись кто как мог. На баржах, мелких катерах, на шхунах... 14 ноября к вечеру я, казначей левой кассы Госбанка, с наличными деньгами на сумму два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч рублей с чем-то, оказался без охраны, без бухгалтера и без начальника. Таким образом, вся ответственность за сохранность армейских денег легла на меня лично. Высыпав содержимое матраца, я наполнил чехол пачками банковских и казначейских билетов, обложил со всех сторон деньги канцелярскими папками, связал мешок и отправился к переправе.

Керченский пролив бушевал. Лодки и баркасы с военнослужащими тонули. Примерно к полуночи мне удалось взобраться на баржу и втянуть на палубу свой багаж. Через полтора часа я оказался на косе Чушка. Я шел со своим багажом вместе с другими. Меня спрашивали: «Чего это ты прешь, служивый?» Я отвечал: «Интендантские документы». Надо мной смеялись. Дескать, нашел что спасать! Некоторые, особенно любопытные, цупали мой мешок, но, убедившись, что там действительно папки, быстро отставали. «Штабная крыса!» — говорили про меня.

Так я шел четыре дня. Не буду описывать «неудобства», которые мне пришлось испытать в эти дни. Суть не в том. 18 ноября я добрался до станицы Тигоровки, где стоял штаб нашего стрелкового корпуса. Отчитался полностью. Недоставшую разменную монету, которую мне пришлось бросить в Керчи, я дополнил из своей зарплаты. Тогда я был героем дня. Меня поздравляли, обнимали, целовали... Больше всех радовался начальник финансового отдела корпуса.

Отец дочитал бумагу, снял очки и поглядел на Лешку. Лешка сидел за столом молчаливый и напряженный. Отец тоже молчал.

— Ты понимаешь, что это отец Мусы про себя писал? — сказал, наконец, Лешка.

— Возможно, — согласился отец.

— Что нам теперь делать?

— Как что делать?

— Ну, он же герой! Два с половиной миллиона спас, пони-

маешь? Не бросил! Тащил, рисковал... Но он ведь свой, и не может Муса про него доклад делать. Понимаешь? И потом эту бумагу Муса у отца тихонько вытащил. Тот ничего про это не знает, а если узнает, Мусе будет кисло. У него отец жутко строгий. — Лешка помолчал, вздохнул. — И так, знаешь, обидно, ни одной даже медали нет у него...

— В каком корпусе служил отец Мусы, вам известно?

— Нет. Но это можно узнать. Майор Рогач из военкомата мигом выяснит, он нам всегда помогает, — сказал Лешка.

— Так. Значит, корпус будет известен, время события есть. Так. Можно будет установить и фамилию начфина...

— Это запросто через отдел кадров министерства, — сказал Лешка, — там есть полковник Васильев, он на все наши запросы отвечает.

— Вот видишь. Дальше. Если начфин жив, можно запросить его, он подтвердит факт, и тогда дело сделано. Если начфина разыскать не удастся...

— Надо будет сразу и фамилии его заместителей запрашивать и начштаба корпуса заодно, — сказал Лешка и сразу ожил.

— Это по существу, — сказал отец, — только шерлокхолмство мне ваше не нравится. Что это за приемчики такие по чужим столам лазать? Бумаги тайно перлюстрировать. Слава богу, не в тылу у врага работаете.

— Вот в том-то и дело... Я Мусе говорил, но раз так печально вышло... Не могу же я сделать вид, что ничего не знаю, раз знаю? Все-таки два с половиной миллиона — не пять рублей...

— Верно, конечно. И отца твоего Мусы я знаю. Хороший он человек. Пишите! Только давай так договоримся: это в последний раз и в порядке исключения. Понял?

Письма были написаны. Письма были отправлены. Лешка на время успокоился.

Отцвел миндаль.

Вытянулся хлопок. Завязались тугие коробочки.

Ответа не было. Лешка не проявлял нетерпения: следопытская работа приучила его к выдержке. Он знал точно — бумаги ходят медленно.

И потом у Лешки было очень много дел: ребята напали на след прославленного разведчика Усманова, он оказался уроженцем их мест. В городе жили его дочь и двое внуков, а област-

ной музей ничего об этом не знал. Надо было ходить, ставить и решать вопросы. Удалось добыть фотокопию грамоты Героя Советского Союза Усманова, достать пять подлинных его писем и несколько сомнительных портретов. Ребята бегали, писали, разведывали... Словом, жизнь шла своим порядком.

Уже осенью Лешка ворвался в дом как с пожара:

— Ну, штука! Не поверишь! Во дал Васильев, во дал! — кричал Лешка и размахивал руками, как мельница. — Вызывают его в военкомат утром. Понимаешь?

— Кого вызывают? — сказал отец. — Ничего не понимаю.

— Ну, отца Мусы. И военком зачитывает: от имени и по поручению правительства... Знаешь, как это делается? И хлоп — Указ Президиума Верховного Совета: за личное мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, за спасение корпусной кассы и так далее наградить, — Лешка делает длинную паузу, — орденom Красной Звезды! Во! Понимаешь?

Отец улыбается сдержанно и хитровато, потом спрашивает:

— Ну, теперь-то вы доложите, кому он обязан?

— Ты что? Да отец Мусе голову оторвет, если только узнает... Ты смотри сам не проговорись. Ты мне честное слово давал.

— Молчу, — сказал отец. Подумал и прибавил: — Правильно. Слова — что? Слова — пыль.

«ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК»

Папа, ты мне мешаешь! Ну что у тебя за привычка сделалась приходиться каждое утро на кухню?

— Мешаю? Новое дело — мешаю. Теперь я всем мешаю. И матери, и тебе, и Косте — всем. Пожалуйста, я могу уйти.

— Чего ты обижаешься? Не понимаю! Тут мне и самой повернуться негде, что ты, не видишь?

— Вижу, прекрасно вижу. Только почему-то раньше тут всем хватало места и я никому не мешал.

— Между прочим, раньше у тебя не было привычки торчать по утрам на кухне...

— Торчать? Великолпно! Ты говоришь мне — торчать! Благодарю. Скоро я, кажется, доживу до того, что родная дочь будет говорить своему престарелому отцу: пошел вон, старый дурак...

— Ну, папа, перестань, пожалуйста!

— Перестань! Тоже великолепно. Может быть, ты еще ножкой топнешь? Перестань? Великопно! Ладно, я замолчал и ухожу.

Алексей Алексеевич, сутулясь, вышел из кухни и медленно побрел в свою комнату. Здесь он долго стоял перед окном и внимательно глядел на рыжие бесформенные крыши.

— Дожили, Алексей Алексеевич, достигли! Можете радоваться! — сказал он сам себе и безнадежно помотал головой.

Алексей Алексеевич раскрыл платяной шкаф, достал свой генеральский мундир, подумал, нахмурился и повесил мундир на место. Сорок с лишним лет носил он военную форму, привык к ней, врос, как в собственную кожу. Генерал-лейтенант авиации, точнее, гвардии генерал-лейтенант, вот уже неделю он вынужден был прибавлять к своему званию ненавистные ему слова: в отставке.

— Годы — ничего не сделаешь, — успокаивал себя старик. Но думал другое: характер! Еще бы, Фирсанов старше, и Мухин старше, и Любченко тоже старше, а служат и будут еще служить. И никто не посмеет сказать ни Фирсанову, ни Мухину, ни тем более Любченко: «Ты мне мешаешь, шел бы гулять, голубчик...»

Интересно устроена жизнь: когда в двадцать восьмом году он, молодой летчик, отказался поднимать в воздух боевую машину до тех пор, пока начальник штаба соединения не надеет парашют (в ту пору к парашюту относились еще подозрительно и летать без парашюта считалось особым шиком), характером его никто не попрекал.

Что сказал тогда командующий, узнав о стычке, происшедшей на Центральном аэродроме имени Фрунзе? Командующий сказал:

— Ну и характерец у тебя, товарищ Сухомлин! Самого начштаба переспорил. Трудно тебе будет карьеру делать. Правильно я говорю?

— Никак нет, товарищ командующий, неправильно!

— Ишь ты! Неправильно! А почему, собственно говоря, неправильно?

— Карьеру делать не собираюсь. Мое дело — летать.

— Хорош гусь! Его дело — летать, — не то удивился, не то передразнил Сухомлина командующий.

Алексей Алексеевич достал из гардероба штатский, давно

вышедший из моды двубортный пиджак, темные брюки в полоску и стал медленно одеваться.

Характер!

Разве люди выбирают себе характер? Шьют на заказ? Сухомлин всю свою жизнь был резок, прям, вспыльчив. Таким уж, видно, уродился.

Когда на больших учениях тридцатого года на него накричал старший начальник, он при всем честном народе заявил ему, еле сдерживая бешенство:

— На вашем месте, товарищ комкор, я бы не стал так обращаться с летчиком, во всяком случае прежде, чем сам не овладел бы техникой пилотирования, хотя бы учебной авиации...

Он верно рассчитал удар: комкор был назначен в авиацию из кавалерии, едва успел получить квалификацию летнаба и ужасно страдал от своей, так сказать, летной неполноценности.

Комкор задохнулся от злости и только повторял:

— Ну, так это вам не пройдет, не пройдет, не думайте, не пройдет...

И не прошло.

Сухомлина долго не продвигали по службе, не представляли к поощрениям, а потом против его воли откомандировали в академию.

Говорили, будто бы комкор по этому поводу заметил:

— Пусть поучится, пообломается малость, характер свой наукой разбавит.

Алексей Алексеевич долго возился с галстуком. Плетенный из какого-то волокна-заменителя, галстук никак не хотел затягиваться в ровный узел.

Характер!

С годами проклятый характер доставлял ему все больше хлопот и огорчений. Головой Сухомлин понимал: надо уметь сдерживаться, надо уметь преодолевать себя, надо учитывать обстоятельства. Но все трезвые, деловые рассуждения так почему-то и оставались рассуждениями. Теория никак не подкреплялась практическим опытом.

Когда в тридцать четвертом году его назначили (все-таки назначили!) командиром отдельной эскадрильи, он не поладил со своим заместителем. Надо признаться, заместитель его был старательнейшим человеком на свете, за плечами его числи-

лись годы безупречной службы, его анкеты и аттестационные листы можно было бы показывать на выставках, если бы такие выставки проводились. И началось все из-за пустяка. Сухомлин исправил красным карандашом с десяток орфографических ошибок в рапорте своего зама и сказал достаточно резко:

— Стыдно демонстрировать такую безграмотность. Даю вам шесть недель на ликвидацию этого безобразия.

Заместитель, далеко не мальчик, бойцом прошедший всю гражданскую войну, покраснел как бурак и севшим от обиды голосом сказал:

— Я человек простой, товарищ командир, университетов и академий не кончал...

— Этим не хвелятся, Фирсанов. Этого пора стесняться.

— В шесть недель не уложусь, товарищ командир.

— Захотите — уложите. Не уложите — тем хуже для вас. Предупреждаю совершенно официально.

Конечно, в полтора месяца Фирсанов не уложился. И был большой скандал. Политотдел считал, что Сухомлин превышает власть, отстраняя Фирсанова от должности (так оно, конечно, и было), а Сухомлин упорствовал и не желал отменить своего решения. Летчик должен быть грамотным, с пеной у рта доказывал Сухомлин, должен быть представителем технической интеллигенции, а не крылатым извозчиком...

В конце концов Сухомлина и Фирсанова развели. Фирсанова назначили в другую эскадрилью, и довольно скоро он обошел своего бывшего командира в должности и в звании.

Алексей Алексеевич остановился перед зеркалом. Навечно загоревшее широкоскулое лицо, нахмуренные седые брови, редкие волосы, зачесанные справа налево, крупный мясистый нос, широкий подбородок. Он брезгливо поморщился, поглядев на свое отражение, провел ладонью по щекам и достал электрическую бритву.

Брился он не спеша и основательно, думал.

Характер!

Одни неприятности видел он от своего характера. Всю жизнь, всю жизнь без передышки.

Когда в тридцать восьмом году он вернулся из Испании и написал обстоятельнейший рапорт на имя высшего авиационного командования, весьма бегло изложив успехи, достигнутые вверенным ему подразделением, и в ста шестидесяти двух пунктах перечислил недостатки стоявшей на вооружении

техники, слабость общепринятой тактики и просчеты всей господствовавшей в официальных авиационных кругах доктрины, друзья думали, что Сухомлину несдобровать.

— Неужели тебе больше всех надо? — говорили ему друзья.

— Воевал? Воевал! Хорошо? Хорошо! Кто тебя просит вмешиваться в заботы главкома?

— Людей наградили, и тебя наградили. Мало тебе? Для чего лезешь?..

Большей частью он старательно отмалчивался, а когда делалось совсем нестерпиво, огрызался:

— Или у меня совести нет, по-вашему? Или вы вообще не понимаете, что такое совесть?

Во время финской кампании он делал по три вылета на разведку в день. Командующий сказал ему недовольным тоном:

— Что, у вас в полку летчиков нет? Почему вы, Сухомлин, сами летаете, вместо того чтобы руководить подчиненными?

— Летчики молодые, погода паршивая, вот и приходится самому летать.

— Извольте это безобразие немедленно прекратить.

— Слушаюсь, — сказал Сухомлин и продолжал делать по три вылета в день.

Командующий объявил ему выговор в приказе. А в представлении к награде собственной рукой зачеркнул: «орденом боевого Красного Знамени» — и вписал: «орденом Красной Звезды».

Алексей Алексеевич кончил бриться. Еще раз внимательно поглядел на себя в зеркало. Отколол густую орденскую планку с пиджака и медленно побрел по коридору.

С порога он крикнул дочери:

— Я ушел, — и, не дожидаясь ответа, притворил за собой входную дверь.

Медленным шагом пересек Алексей Алексеевич широкую площадь, миновал новое здание кинотеатра — половина стекло, половина бетон — и вышел в тенистую аллею старинного липового сквера. Держался Алексей Алексеевич прямо, голову нес высоко, ступал твердо.

Характер!

Всегда, решительно всегда у него был очень неудобный характер.

В самом начале последней войны полк, которым он командовал, волею судьбы оказался в подчинении Фирсанова.

Сухомлин прилетел представиться своему новому начальнику.

Фирсанов встретил его подчеркнуто доброжелательно. Доклад Сухомлина выслушал со вниманием. Вопросов почти не задавал и перед тем, как отпустить, сказал:

— Ну что ж, Алексеич, повоюем, как положено, а кто старое помянет, тому глаз вон. Так, что ли?

Надо бы промолчать Сухомлину. Надо было просто улыбнуться. Надо было пожать протянутую Фирсановым руку, и все. Так нет. Не удержался Сухомлин, не принял фирсановского «Лексеича».

— Полковник Сухомлин, Алексей Алексеевич, — произнес подчеркнуто сухо, будто бы только что вошел в кабинет Фирсанова.

— Ох и трудный вы человек, Алексей Алексеевич, самому себе в тягость...

— Какой уж есть.

— Да-а, это я знаю. Ну ладно, ступайте, не смею задерживать.

Во время войны Сухомлин развелся с первой женой. Когда начальник политотдела (Сухомлин в ту пору командовал дивизией) попытался завести с ним разговор на эту тему, осторожно намекнув, что такой шаг старшего начальника должен быть хорошо взвешен и обоснован, а то какой пример молодежи, и вообще моральная устойчивость офицерского состава дело далеко не личное, Сухомлин резко перебил его:

— Вы, кажется, собирались сегодня писать политдонесение, Антон Григорьевич? Вот и не тратьте зря время. Пишите. Если сочтете нужным внести свои соображения по только что затронутому вопросу в этот документ, я лично возражать не буду.

Начальник политотдела вовсе не собирался «вносить свои соображения» в документ, но тут разолился (тоже ведь живой человек, тоже ведь нервы) и — внес. Потом Сухомлину пришлось давать множество объяснений — устных и письменных. И отношения его с Антоном Григорьевичем никогда уже не переходили рамок строго служебных. А были они до той стычки почти друзьями.

Один из лучших комэсков его дивизии, Герой Советского

Союза, прославленный на весь фронт разведчик, находясь в краткосрочном отпуске, напился и надебоширил.

Сухомлину об этом доложили.

— Судить. Трибунал, — не задумываясь, распорядился Сухомлин.

Его пытались отговорить от принятого решения:

— Человек всю войну на высоте был...

— Сорвался, конечно, но и обстоятельства надо учесть: дома разор, горе, одни, можно сказать, головешки...

— Золотой ведь комэска, наказать, спору нет, надо, но ведь можно и полегче...

Сухомлин молча выслушал всех заступников и сказал:

— В армии на строгость начальства жаловаться не положено. — Подумал и добавил: — А что касается золотых, то с золотых и спрос должен быть вдвойне. Сам во всем виноват, вот пусть и расхлебывает...

Алексей Алексеевич опустил на зеленую садовую скамейку, осмотрелся по сторонам. В песке возились ребятишки; прикрывшись газетной витриной, обнимались двое — долговязый парнишка и худенькая девушка; около будки телефона-автомата переминалась с ноги на ногу нетерпеливая очередь...

Алексей Алексеевич достал из кармана книгу и открыл ее на сто девятнадцатой странице. Это были военные мемуары генерала Любченко. Накануне Алексей Алексеевич уже прочел и сто девятнадцатую, и сто двадцатую, и все последующие страницы, посвященные его, генерала Сухомлина, командной деятельности в последнем, заключительном периоде Отечественной войны.

Любченко писал, в частности:

«Не знаю, как удалось генералу Сухомлину «вырвать» в этот напряженный момент дополнительный лимит на горючее, но факт остается фактом: бензин он получил. Получил для учебно-тренировочных полетов. И летчики вверенного ему соединения обучались бомбометанию с пикирования в промежутках, кстати сказать, весьма коротких, между боевыми вылетами на плановые задания.

Первым и самым придирчивым инструктором своих подчиненных был сам генерал Сухомлин. Всегда строгий, немногословный, требовательный, он делал в эти дни по 10—12 инструкторских полетов ежедневно, приучая экипажи к большим

углам пикирования, энергичным эволюциям в районе зенитного прикрытия и точному прицеливанию.

Я с удивлением наблюдал этого человека: откуда он находил в себе силы не только руководить действиями соединения, лично летать на боевые задания, но еще и исполнять обязанности инструктора?

Кое-кому такая активная деятельность генерала Сухомлина казалась, мягко выражаясь, не совсем своевременной, но в первые же дни весеннего наступления все поняли и оценили успехи генерала Сухомлина. Ни одно соединение в нашей воздушной армии не могло поспорить с показателями летчиков генерала Сухомлина. Под ударами натренированных экипажей фашистские переправы разлетались буквально в щепы, летели под откос эшелоны с живой силой и техникой противника, рушились мосты, тонули суда на реке...»

Алексей Алексеевич закрыл книгу.

Характер!

Характер всегда был у него один. Обстоятельства, верно, случались разные.

Нет, Алексей Алексеевич не радовался, не умилялся своему характеру, очень много ему хотелось бы изменить в себе, да, видно, теперь уже поздно — и время давно упущено, и потом самое главное — его все равно уже «ушли в отставку».

«Отставной козы барабанщик», — подумал Алексей Алексеевич о самом себе и расстроился еще больше, чем с утра на кухне.

Неожиданно на садовую скамейку рядом с ним плюхнулся молодой лейтенант.

Фуражка у него была сбита на затылок, галстук опущен, верхняя пуговица рубашки расстегнута, тужурка нараспашку.

Алексей Алексеевич покосился на неизвестно откуда появившегося соседа и молча приказал себе: «Молчи. Не твое дело. Теперь ты отставной козы барабанщик, а они — кадровый офицерский состав».

— Закуришь, папаша? — предложил лейтенант и протянул Алексею Алексеевичу надорванную пачку заграничных сигарет.

Алексей Алексеевич сделал над собой усилие и деликатно произнес:

— Благодарю вас, молодой человек, дорогие сигареты курите.

— Авиация, папаша, чего ж удивляться! Вообще-то я никаких сигарет не курю, так, под настроение иногда балуюсь.

— Здоровье, стало быть, бережете?

— Приходится. Если здоровье не беречь, на современной технике долго не пролетаешь.

— Это верно. Здоровье прежде всего.

— Точно ухватываешь, папаша, точно! Наш майор Големба любит данный момент особо подчеркивать. А Големба — это человек! Летчик первого класса — раз, душа человек — два, золотой характер — три... — Лейтенант лихо превозносил достоинства майора Голембы, а Алексей Алексеевич чувствовал, как в нем медленно закипает ярость.

«Мальчишка. Нахал. Хвастун. «Папаша»... Вот поставить тебя по стойке «смирно», отрегулировать зазоры, потребовать документы...»

Но тут Алексей Алексеевич вспомнил про свой штатский, вышедший из моды пиджак, про полосатые гражданские брюки и представил всю нелепость командирского окрика: «Встать! Как разговариваете со старшим, лейтенант?!» — и, казняя себя до конца, молча произнес: «Молчи, отставной козы барабанщик! Молчи!»

А сосед-лейтенант, ни о чем, разумеется, не догадываясь и ничего не замечая, с восторгом рассказывал Алексею Алексеевичу о неотвратимости перехвата воздушных целей на современных самолетах-истребителях, о губительном огне ракет системы «воздух—воздух», о всевидящей силе локаторных установок. При этом он то и дело ронял примерно такие фразы:

— По понятным причинам точных высот я тебе, папаша, назвать не могу, но будем считать — порядка шестидесяти километров...

Или:

— Скорость — имей в виду, это не для разглашения — можно принять больше двух М, то есть что-нибудь две тысячи шестьсот километров в час...

Или:

— Между нами говоря, на сегодняшний день американцам в этом вопросе нас удивить нечем.

Потом он все-таки что-то заметил, а может, и не заметил — почувствовал и спросил:

— А почему ты, папаша, какой-то невеселый?

— От пенсии никто еще не веселел, — сказал Алексей

Алексеевич и, сам того не ожидая, хмыкнул. — Дерьмо дело пенсия. Был человек, был и — нет человека. Нехорошо.

— Чего уж хорошего! — авторитетно поддержал лейтенант. — Только стоит ли так убиваться?

На вопрос Алексей Алексеевич не ответил, а подумав, спросил сам:

— Скажите, товарищ лейтенант, вы характером своим довольны? Вполне, скажем, довольны или, может быть, частично?

— Характер у меня ничего. Ребята не обижаются. За характер майор Големба ни разу еще не ругал, а он, знаете, мужик... — и лейтенант снова с превеликим удовольствием принялся расхваливать неведомого Голембу.

Алексей Алексеевич встал со скамейки, слегка поклонился своему неожиданному соседу:

— Извините, вы очень интересный собеседник, но мне пора.

— Ну-ну, — сказал лейтенант, — раз надо, идите. Счастливого. И особенно не расстраивайтесь. Все пенсионерами будем...

Сухомлин медленно зашагал вдоль липовой аллеи к выходу из сквера, к той большой площади, где недавно выстроили кинотеатр из стекла и бетона. И давно уже не было у Алексея Алексеевича такого хорошего настроения, давным-давно!

Пусть с опозданием в целых сорок лет, но сегодня он все-таки сумел одолеть свой несносный характер. Может быть, первый раз в жизни сумел.

«Ай бастрюк, ай мальчишка, ай трепло несчастное!» — думал Алексей Алексеевич, вспоминая лейтенантские сигареты и все, что успел наболтать ему сосед по садовой скамейке. Думал без злобы, без раздражения, даже без упрека.

ЛОВИСЬ, РЫБКА МАЛЕНЬКАЯ, ЛОВИСЬ, РЫБКА БОЛЬШАЯ...

Крепость была старая. Очень старая. Собственно говоря, настоящей крепости — с непременным оградительным рвом, романтическими подъемными на цепях мостами, узкими стрельчатыми амбразурами и обязательным, судя по рыцарским романам, сырым и гулким подземельем — не осталось вовсе. Был просто плоский песчаный мыс, глубоко врезавшийся в холодное северное море, были темно-серые полуобвалившиеся, но все еще высокие стены, сложенные из огромных грубых камней. Была осыпь, густо заросшая жирными (так и хочется сказать: развесистыми) лопухами. Было много подозрительных трещин, изрезавших серый камень вдоль и поперек. И еще была березка. Тоненькое создание, чудом взлетевшее на самую верхотуру и укоренившееся в расколоте надвое бойнице. Маленькая упрямая березка, словно флаг

неизвестной державы, трещалась на ветру. Березка росла. Росла наперекор жестоким северным ветрам, росла назло осенним тяжелым бурям, росла вопреки здравому смыслу и естественным законам леса.

Остатки крепости кто-то распорядился обнести колючей проволокой. И чья-то власть имущая рука начертала на косом дощатом щите:

**ПОСЕЩЕНИЕ КРЕПОСТИ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ!
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
ВОЗМОЖНЫ ОБВАЛЫ!!!**

Впрочем, любопытствующих в этих немагистральных краях было мало. А местные мальчишки — их-то не остановишь никакими предупреждениями — почти не интересовались крепостью. Мальчишки знали совершенно точно, что пиратский клад — тысяча шестьсот с чем-то бочонков золота и драгоценных камней — вывезен давным-давно, а подземный ход длиною в тридцать четыре с половиной километра, соединявший некогда крепость с районным центром, не удалось обнаружить даже экспедиции Академии наук. Ход, вероятно, завалило.

Словом, крепость пребывала в печальной безвестности, и старые ее стены не притягивали к себе туристов, не волновали исследователей и радетелей былого и, по-моему, даже не значились ни в каких путеводителях.

На заброшенный мыс я попал совершенно случайно. Забрел.

Было прохладно и пасмурно. Небо казалось неуютным, сырым, было вздохмачено серовато-сиреневыми тучами. Море вокруг мыса лежало тусклое, какое-то асфальтово-безразличное. Редкие чайки, поскрипывая, проносились над прибрежными камышами. Я увидел предостерегающую надпись на щите и, конечно, полез под проволоку. Знаю, это плохо, может быть, даже безнравственно пренебрегать запретами, но так уж устроена, видно, человеческая душа — противится всякому «воспрещается» и непременно бунтует против всякого «строго воспрещается»...

Я прошел по высокой, в пояс, траве до подножия крепости, постоял, задрал голову, у самой стены и, осторожно раздвигая колючие ветки шиповника, двинулся к пролому.

С близкого расстояния крепость показалась куда внушительнее, чем издалека. Стены были толстые — метра в четыре, высота главной башни, вернее, того, что осталось от главной башни, была никак не меньше метров двадцати пяти. Я подумал: и как только умудрились в старину складывать такие стены, подгонять валун к валуну, каменище к каменищу?..

Центральная часть крепости сохранилась лучше, чем можно было ожидать. Широкая прямоугольная площадка оказалась выложенной плитчатым гладким камнем, слева виднелись основания крутых лестниц, в неприкосновенности устояли переходы, целиковые, тяжеленнейшие. Только в темноватых углах этого внутреннего дворика пробивалась зелень — цепкая, ползучая, с колючими острыми шипами.

Я обошел дворик по кругу: слева направо, и сквозь второй провал, узкий, зазубренный по краям, вылез на террасу, нависшую над самой водой. Сначала я увидел только море — ровное, очень спокойное, хмурое. Где-то далеко, почти на самом горизонте, из воды торчало нечто постороннее, — может быть, тралец, а может быть, и сторожевой катер пограничной охраны, с такого расстояния разглядеть точно не удавалось. Потом внимание мое привлекла одна из стен. Шершавая, каменная, она была как все стены и все-таки — в чем-то неуловимом — отличная. В чем — я сообразил не сразу. Стену будто изрыли какие-то таинственные жуки-«камнееды» — вся-вся она была в дырочках, ажурных ходах, сколах... Я подошел ближе и примерно на высоте лица прочел неброскую черную надпись:

**ЗДЕСЬ РАССТРЕЛИВАЛИ
V.1942.**

И все. Больше ни слова.

Я достал нож и попытался выковырять из стены пулю, но у меня ничего не получилось. И тогда я присел на длинный плоский валун и стал думать.

Я не мог вообразить лица тех, кого уже давно нет в живых. Но я представлял себе, как все происходило.

На плоский песчаный мыс въезжали крытые машины. Смолкали моторы, и машины останавливались где-то там, около теперешнего щита «Посещение крепости строго воспрещается!».

Конвой растягивался в пещеру, отрезая ход назад — к лесу, к Большой земле.

Конвой стоял глухо: каски на головах, автоматы у груди. Короткие кованые сапоги крепко упирались в податливый грунт. Старший командовал: «Los!» И тогда открывались двери фургонов. Из машин по одному выводили приговоренных. Они шли, а может быть, их волочили мимо хозяйственной пристройки, сквозь провал, через внутренний дворик сюда, на террасу. Их ставили к стене.

Слева — море. Справа — камень. Впереди — взвод...

Я смотрю на старые камни, а в памяти происходит какое-то таинственное, самопроизвольное переключение каналов.

Вспоминается давнее, весьма давнее. Московский клубный зал. Кажется, зал «Каучука». Сцена без декораций. Накаленная рампа. В прямоугольнике белого света плотный рыжий человек в огненной рубашке. Он поет на чужом языке, и зал поет вместе с ним. Это Буш. Немец Эрнст Буш. И что делается с залом, когда Буш, закончив выступление, пытается уйти за кулисы, — зал бушует, протестующе орет, срывается с места...

Это было давно. До Испании.

А потом: прохладные залы музея, анфилада комнат быв-



шего Английского клуба, где, между прочим, бывал когда-то сам Пушкин. Я, сопливый еще мальчишка, член Общества юных друзей музеев революций (была такая организация), веду экскурсию по залам, посвященным восстаниям Степана Разина, Емельяна Пугачева, выступлению декабристов. Волнуюсь ужасно! Слова подбираю с великим тщанием. Шутка ли, мне доверили просвещать гамбургских портовиков! И когда я кончаю свой, наверное, безумно наивный, но очень искренний рассказ, ко мне подходит седоголовый человек. Старик достает из кармана бархатной куртки (почему-то запомнилась эта куртка — мягкая, поношенная, чернильного цвета) большой красный платок: скорее даже косынку, складывает ее по диагонали и, прежде чем я успеваю что-нибудь сообразить, завязывает поверх моего сатинового старенького галстука еще один — шелковистый, струющийся.

— Рот фронт! — говорит старик и вскидывает сжатую в кулак руку.

— Рот фронт! — еле слышно отвечаю я, и забываю сказать спасибо, и не догадываюсь узнать имени портовика из Гамбурга.

Давно это было. Тоже до Испании.

А теперь я сижу под стеной, изуродованной жуком-«камнеедом», и без всякой логической связи с предыдущим вспоминаю вдруг Харьков военных лет.

Наша авиационная дивизия прилетела в Харьков на второй день после освобождения города. Помню развалины, нелепые печные трубы в поле и обгоревшие остовы фабричных корпусов; помню временную церковь, устроенную почему-то в бывшей парикмахерской. (Краны остались, осколки зеркал тоже где-то еще держались. Пономарь звонил в треснутый, явное железнодорожного происхождения колокол. Звонил на балконе.) Помню голодных ребятишек, их землистые щеки и морщинки вокруг шестилетних глаз... Все-все помню, будто видел это не двадцать пять лет назад, а вчера...

Но если меня спросят, что было самым страшным, самым бессмысленным в Харькове, я скажу о другом.

В Харькове я видел заминированные игрушки. Ярко раскрашенные жестяные бабочки — желтые, как яичный порошок, зеленые, будто трава, красные, словно спелая вишня. Их сбрасывали с самолетов. И стоило взять такую бабочку в руки,

попытаться расправить ее полусложенные крылья — срабатывал взрыватель.

Не берусь утверждать, что на этих бабочках стояло клеймо: «Made in Germany», но знаю — изобретены и сделаны они были немцами...

Я гляжу на иссеченную пулями стену: «Здесь расстреливали».

И какими нелепыми, какими вздорными мне представляются причины, толкнувшие из дому — бродить, расстраиваться, огорчаться... Ну, застопорило книгу, не пишется... Ну, разошелся со старым другом, поспорили, наговорили всякого, хлопнули дверьми... Ну, не поладил с женой и заодно обиделся на детей... Можно ли все это, даже вместе взятое, хоть на секунду соизмерить с надписью на шершавой стене: «Здесь расстреливали»?

Я смотрю на хмурое небо, на лохматые дождевые облака и корю себя за вспышку невыдержанности, за душевную слабость, за мелочность. И пытаюсь думать о жизни в ином масштабе...

Откуда появляется мальчишка, не знаю. Не было — и есть. Как из-под земли поднялся. Стоит в трех шагах от меня, глядит в море. Вижу застиранные брюки, голубую в синих клетках ковбойку, закатанные рукава. И еще вижу охалку соломенных волос, крепкие щеки, розовые аккуратные уши. В руке у паренька самодельная удочка.

Мальчишка меня не замечает. Разглядывает что-то в море. Лицо у него сосредоточенное, напряженное: будто там, в море, видится ему чужой флот, и должен он решить, как действовать, чтобы противостоять десанту. Воображает себя адмиралом? Может быть, может быть... Или предводителем пиратов, захвативших крепость? Тоже может быть... Впрочем, безнадежная это затея — гадай не гадай, кем может вообразить себя тринадцатилетний человек, стоящий над морем, все равно не узнаешь...

Я свищу тихонечко. Мальчишка не вздрагивает, не подсакивает на месте, спокойно поворачивает голову, мгновенно разглядывает меня и вежливо здоровается (в этих краях принято здороваться с незнакомыми).

— Добрый день, — говорю и я. — Чего разглядываешь?

— А ничего. Просто смотрю, хватит лески до воды или не хватит...

— Значит, рыбак?

— Так, немного...

Видимо, решив, что лески должно хватить, мальчишка начинает не спеша разворачивать свою снасть. Рыбачок мне нравится: все, что он делает, делает основательно, неторопливо, с расчетом. Есть в нем какая-то хозяйская уверенная хватка. Вижу: приготовил камень. Это чтобы придавить удилище. Отколушнул ком земли — накрыть червяков в банке. Спустил поплавок пониже — видно, знает глубину. Размахнулся, закинул удочку. Присел...

Хорош рыбачок! Одно только смущает: мне кажется, нет в пареньке почтительности к месту, где он находится.

Ну камни, ну пусть старые камни, пусть даже исторические, так что? (Ничего подобного мальчишка не говорит, это я как бы читаю на его лице.) А впрочем, чему удивляться? Отец его наверняка вернулся с войны. Может быть, даже и не успел побывать там по молодости лет. Разве он, мой неожиданный сосед, мог видеть живого фашиста? Нет, не мог. И развалин военных лет он уже не застал и вряд ли сумеет представить себе тех разноцветных харьковских бабочек. Ну, а расскажи я мальчишке об этих бабочках, поверит ли? Маловероятно, чтобы поверил. И если даже поверит, непременно подумает: так это когда было — в древние времена...

И все-таки я спрашиваю:

— Ты местный?

— Местный.

— Когда эту надпись сделали, знаешь?

Не поворачивая головы, не отрывая взгляда от поплавка, мальчишка отвечает:

— Знаю.

— Когда же?

— Прошлым летом. Когда кино снимали. Из Таллина много машин тогда приезжало. Долго снимали, наверное, целый месяц.

Я смотрю на рыбачка с полным недоумением: значит, никаких фургонов, никаких приговоренных не было вовсе; вот почему я не нашел пуль в щербатой стене. И никто не командовал тут: «Los!», и карательный взвод не выстраивался в том дальнем углу террасы.

Я все напридумывал. Напридумывал зря...

Парнишка коротко подсекает леску и вытаскивает на тер-

расу трепыхающуюся серебряную рыбешку. Ловко ссаживает ее с крючка и бросает в большую жестянку из-под консервов. С неторопливой основательностью меняет червяка и все тем же ровным голосом говорит:

— А расстреливали не тут. Расстреливали у причала, там, где теперь колхозная контора. Видели камень — большой, как будто ржавый? Вот около него и расстреливали.

«Господи, значит, все-таки было? Было», — думаю я. И сам не знаю почему спрашиваю с подозрительностью:

— А ты откуда знаешь?

— Об этом все знают, — говорит мальчишка и длинным округлым движением забрасывает поплавок в море...

Я поднимаюсь со своего валуна и, кивнув на прощанье рыбачку, медленно ухожу из старой крепости.

«Ловись, рыбка маленькая, ловись, рыбка большая, ловись, рыбка всякая...» — повторяю я про себя. Так, кажется, в детстве мы желали друг другу рыбацкого счастья.

«Ловись, рыбка маленькая, ловись, рыбка большая, ловись, рыбка, всегда...»